

КОНТИНЕНТ 4

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕHT KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕHT

**Список советских «благодеей»
самого последнего времени :**

Сергей Ковалев
под следствием

Михайло Михайлов
7 лет заключения

Вячеслав Игрунов
под следствием

Владимир Осипов
под следствием

Анатолий Марченко
4 года ссылки

Мйлан Даниэль
под следствием

Оксана Попович
8 лет лагерей
и 5 лет ссылки

Андрей Твердохлебов
под следствием

СПАСИТЕ ИХ!

Главный редактор: Владимир Максимов
Ответственный секретарь: Игорь Голомшток

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу
Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский
Милован Джилас · Вольф Зидлер
Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Виктор Некрасов · Людек Пахман
Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Андрей Синявский · Странник
Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская
Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

4

**Издательство «Континент»
1975**

Ярослав Сейферт

ПРАГЕ

ВЕНОК СОНЕТОВ

(из неизданных стихов)

Перевел с чешского
Василий Бетаки

1

О, Прага, ты — вина глоток!
Стократ повторено и спето,
Не потускнеет имя это,
Как вздох любимой, как зарок.

Снимите каменные шлемы,
Сирены — прочь привычный вид!
Ведь все равно, хоть мы и немь,
Сирена совести гудит!

Но если рухнет Прага в прах,
А я один на черепках
Останусь, неутешным сыном,
Я буду эту пыль глотать.
Оставь хоть на душе печать,
Когда пожрут тебя руины!

2

Когда пожрут тебя руины,
И ветры вступят в спор с водой

За пепел красоты былой,
За всё, что страх оставит, сгинув,

Ты станешь песней на волне,
Рисунком на струе воздушной,
Письмом для вечности грядущей,
В моей неясной глубине.

И если мне — стоять у края,
А смерть нависнет, отмеряя
Секунду за секундой срок,
Не выйду я за стены эти,
Пусть голод с ног собьет, как ветер,
И кровля рухнет на порог!

3

И кровля рухнет на порог,
А мне — блуждать среди туманов
Вокруг Собора... Без каштанов
Я б выжить все равно не мог...

Мне все твои ветра знакомы.
Весной, подняв засохший лист,
Фиалку — влажный аметист —
Открою у любого дома...

Ты — облако: ты каждый миг
Являешь мимолетный лик
Изменчивой, как дым, картины...
Стой, хоть на сводах катакомб,
Стой, если хлынет ливень бомб
И кровь размочит комья глины.

4

И кровь размочит комья глины —
Казалось мне, когда броня
Гремела, площадь накренья,

А переулки возле Тына*)
Хрипели сдавленно, когда
Орудия ревели в Летне,**)
И, защищая башню, ветви
Ломались, рвали провода...

Но все-таки надежды слово
И крест на фоне пепла злого
Взгляд на челе твоём найдет,
И Влтава под стеной твоею —
Косой, лежащейся на шею...
Не выйду из твоих ворот!

5

Не выйду из твоих ворот,
Как вышли те, которых страхи,
Отчаянье иль призрак плахи
Или неверие ведет.

Благодарю за ломоть хлеба,
За ржавый нож, за вкус беды,
За каплю той святой воды
Что из кропильницы — как с неба.

Здесь и платка случайный взмах
Мне больше даст, чем чей-то флаг...
Стихи бессонными ночами
Читаю четверем стенам.
Но даже Время — в тягость нам:
Ждать буду вместе с мертвецами.

6

Ждать буду вместе с мертвецами
Пока не порастет травой

*) Ты н — готический собор в старой части Праги.

**) Летна — район Праги, богатый парками. Расположен на холме.

Синь, наспех сшитая весной
Стиха мгновенными стежками.

Друзья мертвы и дом мой пуст,
Но я покинуть их не в силах:
Клочки травы на их могилах
Расскажут больше чьих-то уст.

Во мне — их сны, их боль и смех...
Поблекли платья женщин тех,
Что где-то танцевали с нами.
Но в ложе вдруг — бинокля блик...
Плащ на углу... О, я привык
Под зноем ждать и под дождями!

7

Под зноем ждать и под дождями,
Что Прага вынырнет из тьмы,
А ветер кружево зимы
Иными сменит кружевами.

Апрель. И солнце льет опять
Молочный отсвет из кувшина.
Возьми же ветку розмарина,
Скажи мне, где свиданья ждать?

Когда на старой башне Тына
Часы ударят половину,
Она перчатку расстегнет...
Под выщербленной аркой этой
Я жду, как тени жаждут света,
Как тот, кто у калитки ждет.

8

Как тот, кто у калитки ждет,
Терпением смиряя муку,
Кому в протянутую руку
Лишь дождь за каплей капля бьет, —

Жду. Ветер сдует покрывало.
Едва заметная заря
Блеснет в окне монастыря,
Утонет в глубине квартала...

Сирены, разве — не весна?
И снова серые тона?
Зачем вы зонтики раскрыли?
Иль Прагу суждено опять
На чей-то произвол отдать?
Пусть гибель вновь пророчит филин?

9

Пусть гибель вновь пророчит филин,
И по ступеням в темный храм
Мы ощупью идем, но там
Лампаду мы не угасили.

И в эти роковые дни
Нам станет близок небывало
Холодный камень у портала
И гвозди, вбитые в ступни...

Но если б к небу не дошла
Молитва Той, что так светла,
И взор поник бы, обескрылен,
И все ж не смиловался Бог —
То значит, мы — чертополох!
И пусть! Господень гнев — всемогущ!

10

И пусть Господень гнев всемогущ,
Когда бы вдруг Он захотел,
Чтоб грифы нашу плоть когтили,
Предать наш город туче стрел —
Возьми себе их! Вот стрела
В плаще булавкою нестрашной
Блестит, пока с высокой башни
Не рухнули колокола!

Одно боюсь лишь увидеть я:
Среди руин обрывки платья.
Отринь же этот страх от нас!
Ведь нас могла б спасти от битвы
Твоя улыбка и молитвы,
Одна слеза из этих глаз!

11

Одна слеза из этих глаз
Нам станет крепкою стеною,
И снова дерево сухое
Распустится в урочный час!

Мотив неведомой весны
На чашечки цветов прольется,
И цвет и запах к ним вернется,
И звон блаженной тишины...

Ты, жизнь принеся с собой,
Как, наступив ногой босой,
Ты крылья сатане сломала?
А те, кто слаб... Молись за них:
Одна слеза с ресниц Твоих
Проклятье смоем с крыш усталых!

12

Проклятье смоем с крыш усталых
Весенней Праги новый шум,
И бомбам не придет на ум,
Что город мой когда-то знал их...

Жить не по каплям! В полный вздох!
С врожденным ощущеньем воли!
Быть — не для страха, не для боли,
Жизнь, а не смерть вписать в итог!

Спать на мече — не лучший сон.
Но безоружный обречен
Не спать совсем. И так случилось,

Что в безопасной тишине
И это я кричал во сне,
И всё, что на сердце осталось.

13

И все, что на сердце осталось,
С тех рваных дней, когда позор
О совести твердил, как вор,
Грязь в благородство наряжалась,
Когда обрушивался свет,
И разделив добычу, нечисть,
Над бездной вдруг вочеловечась,
Смеялась, что отчизны нет,
Когда людей, вдавив друг в друга,
Одним ремнем связали туго,
Чтоб груз тройной взвалить за раз,
Всё, что тогда во мраке давнем
Твердил слепым, оглохшим ставням —
Я в песне сохраню для вас.

14

Я в песне сохраню для вас
Её отчаянье ночное:
Мне ветер, без суфлера воя,
Твердил, что вновь фонарь погас...
Но — хоть в огонь, хоть в темноту!
Я, как дитя, при ней повсюду,
Я это имя не забуду,
Как имя женщины, как ту,
Что так капризна и старинна —
(В руках луна, как мандолина),
Как ту, что знает час и срок
На страже, в каменном покое,
Куранты придержав рукою...
О, Прага, ты — вина глоток!

О, Прага, ты — вина глоток!
 Когда пожрут тебя руины
 И кровля рухнет на порог,
 И кровь размочит комья глины —

Не выйду из твоих ворот,
 Ждать буду вместе с мертвецами,
 Под зноем ждать и под дождями,
 Как тот, кто у калитки ждет.

Пусть гибель вновь пророчит филин
 И пусть Господень гнев всемогущ —
 Одна слеза из этих глаз
 Проклятье смочит с крыш усталых,
 И всё, что на сердце осталось,
 Я в песне сохраню для вас.

СЕЙФЕРТ Ярослав — известный чешский поэт. Родился в Праге в 1901 году. Начал писать стихи под влиянием революционных настроений, в 1921 году опубликовал первый поэтический сборник («Город в слезах»). Вскоре перешел к чистой лирике и занял видное место в чехословацкой литературе. После установления в Чехословакии просоветского режима (1948 г.) отходит от официальной литературы и почти не публикуется. В начале 1968 года Сейферт становится председателем комиссии по реабилитации ранее репрессированных чехословацких писателей. Он принимает самое активное участие в событиях так называемой «Пражской весны», а после вторжения советских танков, в целях противостояния идеологическому нажиму, становится председателем Союза чехословацких писателей. На этой должности он оставался вплоть до ликвидации последнего в 1970 году. В настоящее время живет в Праге, лишенный возможности работать и печататься.

Виктор Некрасов

ЗАПИСКИ ЗЕВАКИ

ЗЕВАКА — (разг., фам., пренебр.) человек, праздно, с тупым любопытством на все глазающий, разиня, бездельник. («...За слонем толпы зевак ходили». И. Крылов).

Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.

ЗЕВАКА — человек, праздно засматривающийся на что-либо, ротозей. («Лица не видно, но зрителю ясно, что это зевака, который ни за что не пропустит интересного зрелища». В. Гаршин. «Заметки о художественной выставке».)

Толковый словарь русского литературного языка. В 17 томах. Изд. Академии наук СССР.

Решительно становлюсь на защиту зевак и категорически протестую против тенденциозности и пренебрежительного тона определений Ушакова и составителей 17-томного словаря. Разиня, бездельник и ротозей — это разиня, бездельник и ротозей, а вовсе не зевака. Зевака — это действительно человек, глазающий или засматривающийся на что-либо. Но почему обязательно с тупым любопытством? А если не с тупым? Праздно? Пожалуй. Человеку по каким-либо причинам некуда торопиться, вот он и «глазеет», «за-

смачивается». А люди, у которых нет на это времени (так говорят они, а мы добавим «и охоты»), глядя на него, говорят — «делать ему нечего, вот и раззявил рот». Но так можно сказать и о старом, на первый взгляд свихнувшемся, бездельнике, гоняющемся с сачком за бабочками, а он оказывается энтомологом, или о человеке, «тупо» следящем за полетом чаек, а он просто крупнейший специалист по планерам.

Нынешняя жизнь сложилась так, что у среднего, нормального гражданина нет времени глазеть и на что-либо засматриваться — он всегда занят. А когда не занят, в лучшем случае, читает, ходит в театр, занимается спортом, в худшем — смотрит телевизор, поучает детей, как надо жить, или пьет. Конечно же, быть зевакой, то есть, на его взгляд, быть бездельником, у него нет времени, да и охоты, и поэтому зевак он презирает. Я же не только не презираю, но защищаю и утверждаю, что зеваккой быть надо, то есть быть человеком, который, как сказал Гаршин, «не пропустит интересного зрелища». А интересное зрелище вовсе не слон, которого водят по улице (его можно увидеть и в зоопарке, и рассматривание его там почему-то не считается «зевачеством»), — интересное разбросано буквально на каждом шагу, оно у нас под ногами, пред глазами, над головой, но мы его просто не замечаем. Не замечаем потому, видите ли, что мы люди дела, люди занятые и на пустяки терять время не хотим. Поэтому мы не знаем, как выглядит фасад дома, в котором мы живем (Химки—Ховрино и им подобные московские окраины не в счет), что изображено на барельефе над правым входом в МХАТ или стенах Казанского вокзала. А ведь сделано это для вас, серьезные, занятые люди, именно для вас, и именно для вас я, зевака, и написал эти записки.

Но тут же оговариваюсь и предупреждаю — если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета,

завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканые из деталей романы или, наоборот, сжатые как пружина новеллы — сразу предостерегаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, не прочь, просто так, без дела, походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе без плана нравится бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину — тишине прославленных музеев, — если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички.

Тогда беру тебя в спутники. Условие одно: пока мы гуляем, ты молчишь, а говорю я. Ты заговоришь потом, и тогда, может быть, завяжется диалог. Пока же — монолог. И второе: не удивляйся, если, выйдя с тобой, например, из московского Центрального телеграфа и свернув налево, мы попадем не на улицу Герцена, а на площадь Тертр возле собора Сакре-Кёр на Монмартре или начнем вдруг выбирать пудовые арбузы у мечети Биби-Ханум в Самарканде... И третье: прости, буду иногда, даже довольно часто, растекаться мыслью (мыслью, белкой — до сих пор идут споры среди ученых) по древу — отвлекаться в сторону, вспоминать прошлое, говорить иногда о пустяках, а иногда и не о пустяках, etc. Если это небольшое условие тебя удовлетворяет, приглашаю в спутники.

Я не гонюсь за последовательностью и хронологией, но начну все-таки с самого начала.

Известный киевский детский врач возмущался моей матерью:

— Вы что, решили сразу же заморозить ребенка? На дворе 15 градусов мороза, а вы его на балкон. Немедленно убрать!

Но меня не убрали. Первые месяцы своей жизни я провел на балконе — большом, просторном, какие в новых домах теперь не увидишь. Это были мои первые прогулки. Без участия, правда, ног. Вероятно, больше спал, но иногда, возможно, и глядел. На что? А было на что.

Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. И если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом. Возможно, даже там, где жили, а потом замучены были язычниками и принесены в жертву Перуну двое варягов, христиан — Иоанн и Федор. В честь их соорудили церковь. Называлась она Десятинной, так как на ее постройку пошла десятая часть княжеской казны. При Батые церковь рухнула — хоры не выдержали толпы людей, спасавшихся от татар. Построили на том же месте другую, в XIX веке, тяжелую и некрасивую, но и она не дожила до наших дней. С моего балкона ее хорошо было видно.

А родился я на тысячу лет раньше, с моего наблюдательного пункта (вознесись он столь высоко) виден был бы Перунов холм, где стоял гигантский идол, сброшенный при крещении Руси князем Владимиром в Днепр. А еще раньше, по преданию, здесь же воздвигал свой крест Андрей Первозванный. Позднее, уже не по преданию, а по указанию Елизаветы Петровны, Растрелли на этом же месте вознес к небу одну из изящнейших в нашей стране церквей — Андре-

евскую, легкую, ажурную, рококошную, над крутым, заросшим кустами обрывом, по которому катились в Днепр изваяния богов — «Перуна Деревянна, а голова его серебряна, а ус золот, и Хорьса и Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла и Мокошь».

Где-то тут же, в треугольнике между Перуновым холмом, княжеским теремом и моим НП*, находился «Бабин торжок» — рынок и в то же время форум, — Владимир вывез из Херсонеса и воздвиг здесь античные скульптуры — «дивы». Отсюда и древнее название Десятинной церкви — «Богородица у Дивов», отсюда же, очевидно, и «Бабин торжок».

Знали ли мои родители, снимая квартиру в большом, угловом доме № 4 по Владимирской улице, сколь «исторично» место, ими выбираемое? Не думаю. А вот Костомаров и Врубель, жившие в доме напротив, но несколько раньше, очевидно, все же знали, но, думаю, выбрали этот уголок не потому, что здесь когда-то в великокняжеских златоверхих теремах лился рекою мед, а просто потому, что тут красиво, и рядом Андреевская церковь, и вид на распластавшийся внизу Подол, и на Днепр, и на заднепровские дали...

Вот в таком месте я и родился. И крестился. И начал расти, хотя поп из соседней Десятинной церкви, будучи не слишком трезв, чуть не утопил меня в купели. Мать говорит, пришлось применять искусственное дыхание.

С тех пор прошло шестьдесят три года, но я до сих пор почему-то не решаюсь ступить ногой на балкон, сыгравший столь существенную роль в деле познания мною внешнего мира. Почему? А Бог его знает почему. Я и в школу свою после окончания не заходил, и в квартиру довоенную, сожженную немцами, хотя там тоже балкон и с детства любимый красивый вид на Лавру, Печерск, Голосеевский лес... Остерегаюсь как-то встреч с прошлым. Боязно...

* НП — наблюдательный пункт

Впрочем, я неточен. Я не захожу в дома, в квартиры, но по местам своего детства часто брожу. Вот и недавно совершил такую мемориальную экскурсию. Зашел купить «аэрозоль» от тараканов в хозяйственный магазин на углу улиц Горького и Толстого (на месте нынешнего большого дома в «мои» дни стоял маленький, одноэтажный, в котором когда-то была редакция антисемитского «Киевлянина») и, увидав каштаны бульвара, того самого, по которому шестнадцать лет ходил в школу, профшколу и институт, решил что-то восстановить в памяти. Начал спускаться.

Улица моя — Горького, а до этого Пролетарская, а до этого Кузнечная — была булыжной с кирпичными или плиточными (такие плиты сохранились еще во Львове) тротуарами, и было на ней в нашем квартале всего три фонаря. Сейчас асфальт и фонарей не меньше полусотни.

У большого шестиэтажного дома остановился. Здесь, как пишут в биографиях, он прожил свои юные годы — в общей сложности двадцать пять лет.

Так же я стоял перед этим домом в декабре 1943 года, заехав на недельку к матери, по дороге из госпиталя в свою воинскую часть. Стоял и, задрав голову, смотрел на узенький трапецеидальный балкон на пятом этаже. Там мы жили. В квартире № 17. Школа, профшкола, институт, театральная студия... Шесть комнат, когда дом принадлежал домовладельцу Гугелю, и две, когда нас «уплотнили». Сейчас ни одной — все сожжено, только стены закопченные, провалы окон, искореженные, чуть ли не в узлы завязанные железные балки. Но на балконе, на нашем балконе, все тот же повзрослевший за два с половиной года, растущий прямо из бетона тополек. А рядом с тополеком — о чудо! — пощаженные почему-то огнем несколько вязанок дров. Я долго стоял и соображал, как бы снять их оттуда — лестничная клетка сохранилась, а перекрытия все рухнули. Достань я их, и мамина

«буржуйка» спокойно могла бы просуществовать недели две, не меньше. Мечтам моим не суждено было осуществиться: на следующий день дров уже не было, меня опередили. Но как? До сих пор ломаю голову.

Прожил я в этом доме двадцать пять лет — с 1915 по 1940. В 1941 г. заезжал на несколько дней, менять паспорт — работал тогда в Ростове-на-Дону, в театре. Когда вспыхнула война, я оказался за сотни километров от дома. Немцы окружили Киев, но телефонная связь поддерживалась, и я ежедневно говорил с матерью по телефону. Голос у нее, как всегда, был бодрый, интонации оптимистические, но я знал, что мы, если и увидимся, то не скоро.

Когда меня взяли в армию, в августе сорок первого, я сразу же сообщил об этом матери.

— Ну и правильно, и хорошо, — услышал я в трубке ее веселый голос. — Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать.

Не всякая мать скажет такое своему сыну. А моя сказала. Правда, в свое время, она произнесла, не помню по какому поводу, совсем уж не педагогическую фразу: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благодарным». Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнять.

Итак, двадцать пять лет. Как говорят, лучших. Двадцать пять лет я выходил из этой дубовой, с зеркальными стеклами, в виде какого-то узора дверью (сейчас она сосновая, и никакого узора) и куда-то отправлялся. Сначала с лопаткой в Николаевский парк, потом с тетрадками, а зимой и с тремя поленьями в школу, потом в профшколу, потом с рулонами ватмана в институт, иногда с плавками на пляж или вечером в кино.

В Николаевском парке были солдаты и домработницы, тогда они назывались прислугами. Солдаты всех национальностей — русские, украинцы, осетины,

немцы, поляки. Все без исключения любили нас, детей, а заодно и наших нянь. Няни подсаживались к солдатам, а детвора полировала своими задами поверженного Николая I, бронзового, длинноногого, слегка лысеющего, лежащего у собственного постамента, или бежала к «Черному морю» — маленькому бассейну его очертаний, и гонялась там друг за другом, лихо прыгая через Босфор и воюя за Крым. Сейчас наше милое море густо обсадили цветами и никто из ныне резвящихся детей даже не подозревает, что эти цветы от них скрывают.

Но кончилось золотое детство, началось образование. Сначала одна гимназия — Хорошиловой — тут же на Кузнечной, младший приготовительный, потом вторая — Сороколовой — на Пушкинской, старший приготовительный. Это единственное учебное заведение моего прошлого, в котором я не очень часто, но все же бывал. Там редакция журнала «Радуга», членом редколлегии которого я был двадцать лет, пока меня оттуда не изгнали. И возможно, точно уж не восстановишь, мне на собрании выносили строгий партийный выговор в том самом «классе», в котором батюшка преподавал нам Закон Божий.

В 1919 году меня перевели на Большую Подвальную в гимназию Науменко, которая вскоре стала 43-й Единой трудовой школой. С тех пор начались мои прогулки (правда, вынужденные) по одному и тому же маршруту — в школу, профшколу, институт, — до бульвара Шевченко все эти маршруты совпадали. И за все шестнадцать лет ничто на моем пути не менялось. Только вырастали деревья да один раз университет из красного (стены и колонны красные, капители и базы колонн черные — цвета ордена святого Владимира, имя которого было присвоено университету) стал кремовым, но, слава Богу, не надолго.

Во все свои учебные заведения я всегда опаздывал. В приготовительные классы — потому что по

утрам долго молился. Стоя в кровати на коленях и сложив по-католически руки ладошками, я просил у Николая-чудотворца, святого Пантелеймона-целителя (откуда они в нашей атеистической семье появились — одному Богу известно) простить мне мои прегрешения — вчера раздавил в ванной таракана и долго плакал над судьбой осиротевших «тараканкиных детей». Мой старший брат Коля невероятно возмущался моей религиозностью и даже написал маме длинное послание, требуя удаления бонны, дурно влияющей на мое мировоззрение, — кроме веры в Бога, она, эта же бонна, привила мне еще и верноподданническое отношение к престолу. Лет до восьми я был ярым монархистом и консерватором. Научившись читать и писать, я выражал свой протест против нового режима тем, что на всех афишах приписывал твердые знаки и менял, где надо, «и» на «і»... Мать ко всему этому относилась спокойно и на Колин меморандум ответила тремя словами: «Не беспокойся, пройдет». И прошло.

Итак, в первые два класса я опаздывал по соображениям идейно-религиозным. Потом — потому, что до школы было далеко и путь туда был небезопасен. Наш двадцать четвертый двор воевал с двадцатым, и почти каждое утро противник подстерегал меня, чтоб избить, что иногда, правда не часто, и удавалось ему. Я отчаянно сопротивлялся, но Надежда Петровна, классная наставница, разглядывая очередную синяк, почему-то не очень верила, что я «случайно ударился о шкаф».

В профшкольские и институтские годы я опаздывал потому, что поздно ложился спать и утром еле продирали глаза. В силу этого мне пришлось подделывать подпись профессора Ярина в матрикуле, так как его лекции по железобетону начинались всегда в восемь часов. Много лет спустя на литературном вечере в том же институте я публично признался про-

фессору Ярину в своем жульничестве, и, представьте себе, он ничуть не обиделся, только смеялся, сидя в президиуме.

Короче, во все свои учебные заведения я всегда мчался как угорелый, иногда вскакивал на ходу на завороте в 8-й номер трамвая. Но я не часто им пользовался, ходил он редко, набит был всегда так, что даже на подножку стать было невозможно, а висеть два квартала, держась за чье-то пальто, было утомительнее, чем бежать.

На пути моем было двое часов — в крайнем левом окне на втором этаже университета и у Управления Юго-Западных железных дорог — большие, над входом, на кронштейне, с надписью «Точное время. Проверка по радио». Надпись эта внушала определенное уважение, хотя каждый раз я убеждал себя, что часы, наверно, спешат. Сейчас, проходя мимо университета и никуда не торопясь, я машинально поворачиваю голову в сторону окна с часами, хотя лет тридцать их уже нет. И мне становится чуть-чуть грустно — удобные были часы, хотя, ей-Богу, всегда спешили, так же как, не сомневаюсь, и у школьного нашего сторожа Варфоломея Степановича.

В самом центре Киева, над Крещатиком, высится 200-метровая телевизионная башня. Почему бы на ней не соорудить громадные, видные со всех концов города часы? Вот было бы удобно! Свой, киевский Биг-Бен, Спасская башня, только еще выше, а главное, оригинальнее — нигде, по-моему, такого нет.

Прости, читатель, вспоминая детство, становишься иногда ребенком...

Обо всех этих часах, трамваях 8-й номер, мальчишках из враждебного двора я вспомнил, глядя на свой балкон, уже без тополя, в день своей мемориальной экскурсии. Постоял, повспоминал и пошел дальше.

Пересек улицу Саксаганского (когда-то Жандарм-

скую, Марино-Благовещенскую, Пятакова, а когда Пятакова посадили, то Леонида Пятакова, его брата, вовремя умершего), зашел в продмаг, купил «Беломор». Когда-то здесь был «Сорабкоп» (почему-то через одно «о»), и лет сорок тому назад я, трепеща и волнуясь, именно в нем купил свою первую поллитровку. Я мог позволить себе такую мужественную роскошь, зарабатывая старшим рабочим на Вокзалстрое сто рублей. Было мне тогда девятнадцать лет. Тогда же я впервые и побрился в парикмахерской, тут же, рядом с Сорабкопом. Брить было нечего, я очень волновался, потел, боялся, что парикмахер сострит что-нибудь по поводу моего гладкого, как колено, подбородка, но он оказался деликатным и даже дважды намылил меня. В эту же парикмахерскую я зашел в 1944 году, вернувшись в Киев после ранения (кстати, Николай Митясов из повести «В родном городе» — тоже), но старого Давида уже не было, сохранилось только его зеркало с двумя амурчиками наверху. Я спросил парикмахершу о Давиде. Она грустно посмотрела на меня. «В Бабьем Яру...»

Бабий Яр... Одна из наиболее трагических страниц истории Киева, мимо которой никак не пройдешь. И мы не пройдем, побываем там. Но это потом.

Сейчас же — я вышел из парикмахерской, пересек улицу и остановился у дома № 32. С этим домом, вернее с одной из его квартир, у меня многое связано. И довоенное, и военное, и послевоенное. И веселое, юное, и трагическое, и горькое, и уютное, милое, а все вместе очень значительное, на всю жизнь. Но об этом в другой раз. Скажу только, что «В окопах Сталинграда» в основном писались именно здесь, в большом старинном кресле, у окна, сквозь которое был виден столетний вяз на противоположной стороне улицы, весь усеянный гнездами...

В тот последний военный и первый послевоенный год мы все заново увлекались Хемингуэем, много

о нем спорили, и, вероятно, именно поэтому маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя...»

Вот с этого самого «Хемингуэя» и началась литературная деятельность автора этих строк. Но на самом деле, скажу по секрету, все это началось значительно раньше.

Как-то, роюсь в старых бумагах, я обнаружил несколько тетрадных страничек, испещренных крупным детским почерком. Это оказалось, ни более и ни менее, как либретто оперы (!!!) «Карл и Мария», которое и осмеливаюсь робко вынести на суд читателей. Думаю, что для любителей стремительно развивающегося сюжета это, безусловно, находка, если предлагаемые «Записки зеваки», по моей просьбе, не отложены в сторону.

Вот это либретто. Привожу его полностью, текстуально, позволил себе только запятые вставить.

«КАРЛ И МАРИЯ»

Опера в 5 действиях, 9 картинах, с балетом.

Действующие лица:

Мария — дочь богатого графа

Карл — офицер

Граф Люис — отец Марии

Генерал Гамлет — генерал

Александр — богатый барон

Графиня Люция Люис — мать Марии

Солдаты, гости, священник, слуги, бандиты и другие.

АКТ I. КАРТИНА 1-я

Бал у графа Люиса. Оркестр. Танцы. Среди гостей офицер Карл. Входит Мария — очень красивая.

Она танцует с Карлом. Карл поражен ее красотой, влюбляется в нее. Он ей тоже нравится. Во время бала они сидят вместе, обнявшись, и Мария говорит Карлу, чтоб он к ней пришел этим вечером. Бал продолжается.

КАРТИНА 2-я

Комната Марии. Мария с нетерпением ждет Карла и поет. Вдруг из балкона выходит Карл. При виде Карла Мария бросается ему в объятия. Они начинают разговаривать, причем Карл говорит Марии, что хочет на ней жениться. Мария согласна, но говорит, что отец хочет ее выдать за знатного барона Александра, которого она не любит. Во время разговора Карл говорит, что он состоит в тайном обществе. Вдруг за дверью слышны шаги. Карл выпрыгивает в окно. В дверях появляется Александр. Он ухаживает за Марией, но она к нему относится презрительно.

КАРТИНА 3-я

В комнате Карла собрание тайного об-ва. Они обсуждают вопрос об убийстве царя. Вдруг появляется в дверях отряд жандармов, которые после короткой битвы связывают заговорщиков и уводят в тюрьму.

ДЕЙСТВИЕ II. КАРТИНА 1-я

В тюрьме. Пленные сидят и говорят. Карл предлагает выпилить решетки в окне и убежать. Все начинают пилить. После долгой работы окно освобождается и пленные убегают. Входят сторожа и никого не находят.

КАРТИНА 2-я

В комнате Марии. Бедная Мария грустная сидит и вспоминает о Карле. Приходит отец и утешает, но

она не утешается. Отец уходит. Вдруг в окне появляется фигура Карла. Мария при виде его поднимается и, подняв руки, медленно идет к Карлу. Потом узнает его и с криком радости бросается ему в объятия. Они долго стоят в этом положении, потом садятся рядом на диван, и он ей рассказывает, как спасся. Она говорит ему, что у нее завтра свадьба с нелюбимым Александром. Карл говорит Марии, что он ее похитит перед свадьбой. Потом, последний раз обнявшись, Карл уходит в окно.

ДЕЙСТВИЕ III

Большая зала. Много гостей. Александр радостный и грустная Мария сидят рядом. Вдруг Мария говорит, что у нее болит голова, и она пойдет напиться воды. Уходит. Александр сидит один. Начинается балет. Наконец, приходит священник, ищут Марию, не находят. Переполох. Александр падает в обморок.

ДЕЙСТВИЕ IV. КАРТИНА 1-я

Большое поле. Вокруг лес. Карл и Мария приходят. Они садятся на бугорке и засыпают. Вдруг появляется погоня в лице 3 человек (в том числе Александра). Карл убивает 2 противников и дерется с Александром. После дуэли Александр падает мертвым. Начинается утро. Карл и Мария обнимаются и смотрят на труп, потом берут свои вещи и уходят.

КАРТИНА 2-я

Маленькая хижина, в которой живут Карл и Мария. Карл пошел за дровами, Мария копает огород. Вдруг она в земле находит железный сундучок, это клад. В нем золото. Мария радуется. Входит Карл. Мария бросается ему в объятия и с радостью сооб-

щает о кладе. Карл берет сундучок, открывает его и видит, что он полон золота. Оба поют от радости.

ДЕЙСТВИЕ V

Действие происходит через один год. Большая, светлая, красиво убранная комната. Там сидят разбогатевшие уже и поженившиеся Карл и Мария и вспоминают прошлое. Потом смотрят друг на друга, медленно подходят и, обнявшись, целуются.

К о н е ц

По-моему, прекрасная опера. Лаконичная, действенная, с чудесным оптимистическим концом. Непонятно, правда, куда девался анонсированный в начале, в списке действующих лиц, генерал Гамлет, но вопрос этот надо решать уже с режиссером, так же как о роли и месте появления бандитов, тоже объявленных в начале пьесы.

С возрастом появились новые увлечения, но с «литературой» не рвал. Кое-что из тех дней мать сохранила. Перечитываю, смеюсь. Другим не читаю.

Напечатался же впервые через десять лет, в 1932 году, в журнале «Советский коллекционер». В те годы я уже не так увлекался собиранием марок, как рисованием их. Когда Наркомпочтель (так называлось тогда Министерство связи) объявил всесоюзный конкурс на марки, посвященные дирижаблестроению, я послал несколько своих эскизов. Премии никакой, конечно, мне не дали, но предложили, зато, сделать несколько заставок для журнала. Я был на седьмом небе от счастья. Сделал. Послал. Напечатали.

А дальше? Дальше была моя статья о коллекционировании. В том же журнале. В конце статьи несколько слов об оформлении самого журнала. По-критиковав в меру обложку и еще что-то, я, из де-

ликатности или скромности, покритиковал и заставку «Библиография», автором которой был ни больше и ни меньше, как я сам. (Дело в том, что я послал два варианта, один «левый», другой достаточно банальный — книжки на полке, — его я и критиковал). Журнал не без юмора отметил в своей заметке «от редакции», что автор статьи по непонятным для редакции причинам оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекала...

Вот так я начал.

О дальнейших своих шагах на этом поприще я уже где-то упоминал. Писал что-то «заграничное», с мягко шуршащими шинами «роллс-ройсами», детективы с поисками кладов (вместо этого мальчишки находили запрятанное диверсантами оружие), сногшибательные шизо-фантастические истории (конференция памятников в московском Музее Пушкина, куда героя по знакомству приводит влюбившаяся в него леонардовская Монна Лиза), любовные псевдогамсуновские рассказы, а в 1940 году (мне было уже почти тридцать!) — даже военный рассказ на материале финской кампании, о которой знал только по газетам. Все это усердно куда-то посылалось, но, к счастью, очень скоро возвращалось. Я обижался, дулся, но «пера не бросал».

Но оставим пока литературу в стороне и, минуя столь существенный в моей жизни Сорабкоп и парикмахерскую, свернем за угол на родную мою Кузнечную. Метров сто вниз — и мы у тридцать восьмого номера. Сюда перебрались мать с теткой после того, как немцы сожгли двадцать четвертый. Седьмая квартира... О, что это была за квартира! Шесть лицевых счетов. И шесть счетчиков в квартире. И шесть лампочек. И в кухне тоже шесть и в уборной шесть. Кто-то из моих друзей, глядя на это лампочное созвездие, дал меткое ему определение — «гроздь гнева». Электропроводка в коридоре тоже достойна бы-

ла внимания. Не только пожарников, но, пожалуй, и художников. Замысловатое переплетение проводов, будь над ним соответствующая надпись («Композиция 101») и окажись оно на какой-нибудь венецианской «Биенале», безусловно, было бы отмечено художественной критикой. Думаю даже, что со знаком плюс.

Больше ничем тридцать восьмой номер не знаменит, а остановил я тебя, читатель, у этого дома только потому, что именно в нем, на четвертом этаже, в упомянутой седьмой квартире я впервые обнял и поцеловал мать после двух с половиной лет разлуки. Она стояла в заставленной незнакомой мебелью комнате с черным, закопченным потолком, склонившись над печуркой, и варила суп из концентратов. Было это в декабре 1943 года. В августе 1944 я вторично и окончательно вернулся в эту комнату, в которой прожили мы еще шесть лет и без всякого сожаления в пятидесятом году расстались.

Вот и все об этом доме. Сюда мы больше не вернемся, а свернув налево за угол (как видишь, читатель, само собой как-то получилось, что ты стал моим спутником), выйдем на Красноармейскую (бывшую Большую Васильковскую). Здесь, на углу, против здания оперетты, высится 16-этажный, так называемый «точечный» дом. Когда-то на его месте стояла маленькая, незавидная Троицкая церковь, с которой у меня связаны грустные воспоминания. Именно сюда приходил я в «вербное воскресенье» и возвращался назад, закрывая ладонями горящую свечку, чтоб ее не задудло ветром. И именно здесь я в первый (кстати, и в последний) раз причащался. Я хотел по всем правилам до утра поститься. Но не вышло — меня заставили съесть котлету. Это было святотатство. Я ревел весь вечер...

Потом церковь снесли (в одну ночь) и на ее месте выросла шашлычная. Столики на открытом воздухе,

напротив — продуктовый магазин. Излюбленное место футбольных болельщиков — в трех минутах ходьбы от шашлычной — Центральный стадион. Прозвана шашлычная «Барселоной». Почему — неизвестно. Поэтому же, почему диетический «Гастроном» на Крещатике со столиками для кофе (только ли кофе?..) на втором этаже называется «Ливерпуль», а открытое на свежем воздухе кафе на том же Крещатике, против улицы Ленина — «Мичиган», хотя настоящее его название, горящее неонм над столиками, — «Грот»... Крещатицкий жаргон, что поделаешь.

Сейчас «Барселоны» уже нет, вместо нее — «точечный» дом с магазином строительной книги на первом этаже. Тут же неподалеку — остановка троллейбуса. Если ехать дальше по Красноармейской, попадем в Голосеевский лес и на выставку передового опыта, если в другую сторону — попадем на Крещатик. Выберем этот, второй маршрут.

**
*

Нет, мы не сядем в троллейбус и не поедем на Крещатик. Поедем позже, но не сейчас, не сразу... Настало время поговорить о другом...

Все, что тобою, читатель, прочитано до сих пор, написано более трех лет тому назад. И многое из того, что тебя ждет впереди, написано тогда же. Но...

Написано-то было написано, и после последней фразы (можешь заглянуть в конец, она сохранилась) «до следующей встречи!» поставлен был восклицательный знак и аккуратно перепечатанное на машинке отнесено в любимый журнал «Новый мир», где все принесенному обрадовались и сказали «наконец-то!», и что-то там потом было исправлено и добавлено (без этого нельзя), и опять принесено, и опять прочитано, и написано, наконец, в левом углу рукописи «в набор», и...

На этом все кончилось.

Нет, не кончилось, началось нечто новое. Все изложенное несколькими строчками выше: все эти «принес, исправил, добавил, опять принес» происходило не так молниеносно, как в той фразе — длилось оно не меньше года! И год этот был далеко не самым уютным в моей жизни. Но поскольку уж я выбрал ту спокойную, неторопливую манеру изложения, я не внес в рукопись никаких существенных корректив, а принес и положил ее на стол редактору. Тогда-то, через два или три дня, была поставлена долгожданная надпись «в набор». Набрали, дали почитать, а потом набор рассыпали. Есть такое странное слово, вернее действие — рассыпать набор. Вот и рассыпали.

Почему?

Конечно, главный редактор журнала, человек не злой и к автору относящийся со всей симпатией, мог сказать: «Дорогой мой Виктор Платонович! Не сетуйте на меня, я здесь абсолютно ни при чем. Просто позвонили мне и сказали... Ну, вы сами понимаете, не ребенок...» и тут развел бы руками и улыбнулся бы той самой улыбкой, которая в данном случае обозначала бы: «Все мы под ЦК ходим, что поделаешь...» Ну, и автор в ответ улыбнулся бы той же понимающей улыбкой и, поговорив еще о том, о сем, собеседники расстались бы, убедив друг друга, да в общем-то и не убеждая, — не маленькие, не дети, — что лучше подождать, время покажет...

Но редактор избрал другой путь: «А не поработать ли вам еще над этим местом, а? С вашим умением и талантом...» Местом этим он избрал главу о Бабьем Яре, а так как главу эту я уже сократил и перерабатывать ее больше не хотел (ох, уж этот Бабий Яр!), то я просто обиделся и расставание наше вышло куда менее теплым, чем встреча. Кстати, о том, что набор рассыпан, мне сообщили по секрету и просили не выдавать.

На этом моя двадцатилетняя дружба с самым либеральным журналом, как называется на Западе «Новый мир», кончилась (через полгода мне рукопись вернули и даже заплатили 100% гонорара), и я понес свое неродившееся дитя в другой журнал — «Москва». Журнал этот считается куда менее либеральным, но редактор его в силу причин, я сказал бы, сентиментально-фронтовых (оба мы в свое время воевали в Сталинграде, и оба — простыми офицерами), рукопись принял тут же и даже 60% гонорара заплатил.

В этом журнале никаких поправок и дополнений у меня не требовали, но почти сразу же после сдачи рукописи на меня в Киеве заведено было очередное партийное дело, потом из партии исключили и, само собой разумеется, ни о каком печатании не могло быть и речи...

За неделю до моего отъезда за границу я зашел в редакцию — там мы поахали, поахали, чего только в жизни не бывает... — и расстались. Рукопись я им подарил на память, положенные 40% в бухгалтерии получил, так что никто ни на кого в обиде не остался...

К чему я обо всем заговорил, не дав войти в растворившиеся двери троллейбуса?

А просто для того, чтобы поговорить о том, как пишутся книги. И эта, в частности.

У Синявского, в одной из его статей, сказано — настоящая, большая литература может появиться только в стране, где писать запрещено. Это писателя ожесточает, собирает в кулак и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны.

Но это только в том случае, если писатель решил-ся на все.

Но есть тысячи писателей — я говорю о нашей стране, — которые, по тем или иным причинам, на

это не идут. Одни — потому, что им хочется быть признанными, отмеченными и восхваление они ставят себе только в заслугу (известный режиссер Ровенских написал даже статью «Трудное искусство восхваления»!), другие — просто потому, что иначе не напечатают, а писателю нужно печататься, с этого он живет. Так родилась литература «социалистического реализма», литература не обязательно лживая, но не позволяющая себе перешагивать определенные пределы. Пределы эти, границы — то расширяются, то сужаются. Разного рода общегосударственные кампании — то против низкопоклонства перед всем западным, то против алкоголизма или «дегероизации», то за «бесконфликтность» — борьба хорошего с еще лучшим, то вдруг оказывается, что мало пишут о рабочем классе, а надо больше — одним словом, писатель должен внимательно читать газеты и, не отрываясь от действительности (а был и «историзм», за который тоже доставалось), идти все время в ногу...

Я относился к этой, второй, категории писателей и, если не всегда шел в ногу (это мне не раз давали понять), то писал все-таки для того, чтобы печататься, а не «в стол».

Иными словами, я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с образованием у меня было и неважно — «Что делать?» Чернышевского не читал и «Капитала» К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить не по лжи» — на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах, а однажды, как-то, в одном номере рядом с «Иваном Денисовичем».

Скажем прямо — это не легко. С годами к тебе приходит опыт, к тому же многолетний тренаж набивает руку и с помощью умного редактора тебе удастся

сказать то, что хотел сказать, иногда даже так, что цензорский комар и носа не подточит. Но увы, это не всегда удается. Тогда начинают бить! Как ни парадоксально, но не меньше, а часто даже больше, доставалось писателям не второй, а именно первой категории. Наиболее шумно били (даже со специальными решениями ЦК) Эйзенштейна, Пудовкина, Эренбурга, даже таких уж правоверных и «без мыла лезущих», как Софронов и Корнейчук.

Меня тоже били. Сначала не очень больно, так, пошлепывали, потом все больше и больше, пока не перестали вообще печатать.

Забавно, что первые шлепки (а они начались сразу же после выхода моей первой книги) пресек сам Сталин. Мне присудили премию его имени и, как выяснилось, присудил ее он сам. «Вы знаете, — сказал мне Всеволод Вишневский, редактор журнала «Знамя», где я был напечатан, закрыв дверь и выключив телефон, — вас сам Сталин вставил. В последнюю ночь. Пришлось срочно переверстывать газеты». И это похоже на правду — на последнем заседании Сталинского Комитета Александр Фадеев, председатель его, «В окопах Сталинграда» из списка вычеркнул — отсутствие, мол, масштаба, узость горизонта, взгляд из окопа, дальше бруствера ничего не видит...

И тут у всех читающих (и издающих) невольно возник вопрос. Что ж это такое? В книге одни солдаты и офицеры, никаких генералов, никаких политработников и об отступлении рассказывается — кому это нужно? — и ни слова о коммунистической партии, и главное — глазам не верилось! — почти нет Сталина, так, в двух-трех местах, мельком... Загадка!

Да, многое в поступках Сталина было загадочным. Известно, что спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Мих. Булгакова Сталин смотрел... 17 раз! Не три, не пять, не двенадцать, а семнадцать! А человек он был, нужно думать, все-таки занятой и театры не так уж

баловал своим вниманием (он любил кино, ночью, и несколько фильмов подряд — в частности, все серии «Тарзана» — и чтоб все Политбюро сидело рядом), а вот что-то в «Турбиных» его захватывало и хотелось смотреть, смотреть, скрывшись за занавеской правительственной ложи. Верность престолу, долгу, присяге — этого, что ли, ему не хватало, ему, человеку, не верившему никому и никогда, кроме Гитлера!

Такова судьба первой книги. С легкой руки самодержца она заняла подобающее место на библиотечных полках и в курсах истории литературы. Вторая, третья, четвертая и все последующие, каждая имела свою судьбу — об этом когда-нибудь, в другом месте, — но, как ты, читатель, уже увидел, избранный мною, как и многими другими, литературный путь (писать и печататься) — оборвался. Оборвался на этих самых «Записках зеваки», которые сейчас у тебя в руках.

Битый и перебитый, в повязках и наклейках, я взялся за них в надежде, что все предложенное мною во вступлении — давайте гулять, глазеть и вспоминать — никого не заденет, и все мои экскурсии в детство и юность, размышления о том, о сем, миновав все рогатки, доберутся до читателя...

Не вышло. Не добрались.

И вот сейчас, сидя уже не на своем киевском диване, где все это писалось, а в большом кресле у окна, за которым черепичные крыши и увитые плющом каменные ограды, я опять взялся за то, что три года тому назад было написано и так неудачно отнесено в редакцию.

Нет, ничего из написанного я не выкинул. Все, что я писал для того читателя, до которого эти строки доберутся теперь только через Сциллы и Харибды таможен и прочих рогаток, и читая которые он будет многим рисковать, все это я оставляю нетронутым. Но за эти три года, особенно за последний, появилось

столько новых маршрутов, а в голове столько новых мыслей, что не поделиться ими я не могу.

И читатель-то, кроме старого, привычного, любимого, появился сейчас у меня новый, который с полуслова-то и не поймет, ему объясни, растолкуй. И рождается из-под карандаша какое-то странное существо, с глазами и спереди, и на затылке, какое-то переплетающееся, с налезаящими друг на друга членами своими. Вот в каком я положении оказался, сидя в своем кресле и поглядывая на французские крыши и плющи... Но, стоп! Интермеццо мое несколько затянулось. Пора и на троллейбус. Вот он подъезжает — первый номер, как раз наш.

**
*

...Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские. Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считая звезды и прислушиваясь к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Так вспоминал Киев, Крещатик лейтенант Керженцев «В окопах Сталинграда», лежа под дождем в лопухах на берегу Донца, в ожидании, пока его саперы заминируют берег...

Разметало нас тогда, киевлян, по всем фронтам, от Петсамо до Севастополя, и никто из нас не знал, встретимся ли мы когда-нибудь с киевскими каштанами и будем ли считать звезды, лежа на днепровских откосах, и возвращаться по затихшему ночному Крещатику...

Мне повезло. Я вернулся. И квартира моя (моя ли?) в самом центре, самом сердце города, на Крещатике.

Встретился я с ним еще до встречи с мамой в том же декабре 1943 года, через месяц после освобождения города. Выскочил из грузовика у Крытого рынка, там, где кончается Крещатик и начинается Красноармейская. Я сказал *к о н ч а е т с я*. Это неверно. Его просто не было. Горы битого, занесенного снегом кирпича, искореженные, торчащие из этих груд железные балки, и узенькие, протоптанные в сугробах тропинки. Вот и все. И цепочкой, как муравьи, спешащие куда-то люди — на работу, за пайками, на толкучку...

А каким он был, Крещатик...

Скажем прямо, глядя сейчас на довоенные открытки, в особый восторг не приходишь — улица как улица, ну, чуть пошире других, дома как дома, четырехэтажные, зелень довольно жалкая, посередине трамвай...

Скажи нам это в 20-е — 30-е годы, мы бы глотку перегрызли. Улица как улица? А где вы видели такие тротуары, такой ширины? Незавидные дома? А в начале улицы три 8-этажных дома, бывшие банки? А Бессарабка, Крытый рынок? А трамвай? Первый в России, и вагоны длинные, четырехосные, с тремя площадками, сиденья плетеные. Да что вы, ума лишились?

Да, мы влюблены были в свой Крещатик. И если не было в нем особой красоты, то какой-то шарм южной улицы был. По вечерам не протолкнешься. «Пошли на Крещик?», — говорили мы друг другу и слонялись по нему взад и вперед, толпясь у кинотеатров (пойти или не пойти на четвертую серию «Акул Нью-Йорка» или отложить на субботу?), грызя семечки, поглядывая на девиц. Красивые, чёрт возьми, киевлянки... А киевлянки ходили в каких-то ситцевых платицах, ни помады, ни бус, ни колец, ни сережек

(упаси Бог, из комсомола выгонят!), а мы, мальчишки, в юнгштурмовках (военного образца, а-ля Тельман) и кепчонках, задранных «по-ленински» назад. Серенькая, в общем, толпа, ничего яркого, броского. Появившиеся в тридцатых годах клетчатые ковбойки поражали своей сногшибательной пестротой и экстравагантностью.

Сейчас он другой, совсем другой... На месте взорванного (кстати, нами, а не немцами, как писалось раньше, чтоб еще больше очертить захватчиков) вырос новый (по кирпичику, по кирпичику — писатели и академики вносили свой вклад...) — безвкусный, шикарный, намного шире прежнего, а теперь — о счастье! — заросший каштанами и липами (сажали сразу взрослые), заслоняющими своими кронами все эти башенки и арочки «обогащенной» архитектуры сталинских времен. С надеждой и упованием смотрю я на первые признаки плюща на Крещатке (о! французские домики!) — годик-другой и станет он красивейшей улицей в мире.

Я люблю деревья. Они всегда мне что-то говорят, что-то напоминают. На одной из киевских улиц, с забавным названием Кругло-Университетская, росло дерево — гигант. Разросшимися своими стволами и ветвями оно точно опекало, благословляло улицу. Когда его срубили — а его срубили, боясь, что оно упадет на прохожих, с годами оно все больше и больше склонялось, — улица осиротела, стала беспомощной и безликой. Раньше я ее любил, сейчас обхожу стороной.

Было и на Крещатике такое дерево — уникум, — если не ошибаюсь, американский клен, — он растет всегда как-то валясь в сторону, нелепо изгибаясь и, наверно же, вызывая у городских садовников ненависть. Оно чудом сохранилось от бывшего Крещатика (вернее, от одного из его дворов) и бесцеремонно нарушая ранжир новеньких лип и каштанов, просуществовало, нелепо и трогательно, тыкая во все стороны

свои змееобразные ветви, почти четверть века. Совсем недавно его срубили — у нас не любят ярко выраженную индивидуальность.

Кроме этого дерева-индивидуалиста, сохранилось на Крещатике еще десятка полтора довоенных деревьев — в самом его начале, возле тех самых дореволюционных банков. На открытке двадцатых годов это жалкие саженцы, обнесенные деревянным штакетником. Никакой солидности. А теперь под ними и от дождя укрыться можно. Правда, их замечают и пользуются их услугами только в этом случае. Вообще же, кроме крещатицких старожилов, если они дожили до наших дней и что-то еще помнят, никто и не подозревает, что это тоже старожилы, тоже свидетели многого...*

Вообще, глядя на деревья, особенно чувствуешь бег времени. Как-то, на заре своей юности, как всегда торопясь в школу, я на минутку задержался у Николаевского парка. Вдоль его решетки по Караваевской улице сажали тополя. Тоненькие, озябшие веточки. Тогда это была редкость. Я минутку постоял, посмотрел и побежал дальше. Недавно, проходя по тому же месту, я встретился у входа в парк с громадным, высотой в четырехэтажный дом, раскидистым тополем, который сейчас и двумя руками не обхватишь. Да, это был один из тех юнцов, которых на моих глазах сажали миллион лет тому назад. Впрочем, зачем гиперболы, сажали их лет пятьдесят тому назад и, глядя сейчас на него, единственного выжившего и пережившего, я как-то очень ясно ощутил, что мы ровесники и оба не первой молодости.

Ох-хо-хо...

* «Кто такие старожилы?» — спросили как-то меня. «Старики, прожившие много лет», — ответил я. «Нет, это люди, которые ничего не помнят. Даже старожилы не припомнят таких морозов, такой жары, такой теплой зимы... Вот кто такие старожилы...»

Так кто же сменил нас, в кепочках и тапочках, на Крещатике? Мальчики в джинсах и девочки в мини. И браслеты у них, и цепочки. И попытки встречаться в кафе...

В общем-то культа кафе, как везде на Западе, у нас нет. Больше на скамеечках, в саду, во дворе, а у счастливых с отдельной комнатой — в этой комнате. Но иной раз хочется выпить и на людю, на западный манер...

Таких мест на Крещатике — могу по пальцам сосчитать — пять. Три из них, собственно говоря, даже не кафе, а закусочные, но есть столики, а в двух шагах и «Гастроном» — можно и сбегать. В «Ливерпуле» за столиками с разноцветными пластмассовыми стульями распивают «тракию» и «мельник», ставя бутылки под стол, откуда их выволакивают уборщицы или «недоперепившие» всем тут известные старики. («Ну, как, дядь Петя, дела?» — «Да, ничего, помаленьку. За ваше здоровье...»).

Чуть в стороне от столиков вьется длиннющая очередь. Это за «Киевским тортом». Без него немисливо приехать из Киева домой — в Москву, Ленинград, Свердловск, Иркутск. Сходите как-нибудь на вокзал и посмотрите — по два, три, а то и четыре торта везут. Психоз! (Из очередей, кроме этой, меня всегда поражали две их разновидности: за кормом для рыбок и на почтамте — чисто мужская — в погоне за юбилейными штемпелями на марки). Кафе «Ливерпуль» — место встреч друзей осеннее, зимнее. Летом же — «Морозиво» («Мороженое») у входа в Пассаж, «Мичиган» (он же «Грот») и «Бульонная» рядом с входом в метро. Публика во всех трех одна и та же, преимущественно студенты, художники, актеры, киношники, кое-кто из пописывающих. Чашечек с бульоном и так называемых «кремовок» (на языке официанток) для мороженого не так уж много, граненых стаканов побольше. Большинство посетителей друг друга зна-

ет. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в «Гастроном»...

В кафе «Крещатик» надо платить за вход, там эстрадные номера, здесь больше приезжих и любителей потанцевать. Рядом прилепился бар «Стекляшка», где знакомые «всему Крещатику» бармены (а они, в свою очередь, знают не меньше трех четвертей «всего Крещатика») разливают коктейли всех цветов и градусов. В гостинице «Дніпро» три бара — один над другим — самый верхний — любимое место киевских негров-студентов, но нас, грешных, туда не пускают — нужна валюта...

С приближением одиннадцати «Ливерпули» и «Мичиганы» постепенно пустеют, зато набиваются «Гастрономы» — до закрытия осталось пятнадцать минут... После одиннадцати толпа на Крещатике редет, определенная часть ее переселяется во дворы и окрестные скверики. Дворы в Киеве особенные — там и зелень, и скамеечки, и столики (днем на них режутся в «козла»), и всякие детские площадки с качелями и какими-то горками для катания. Ну, а летом — трава... К сожалению, все эти дворы и столики известны милиции и дружинникам — дружеская беседа часто заканчивается в отделении милиции.

К часу ночи расходятся по домам с песнями под гитару или без гитары последние веселые компании, и Крещатик затихает до утра, до первых дворников.

Увы, все это было... Сейчас этого нет. «Ливерпуль», главное место встреч, разогнали, «Мичиган» обнесли забором, что-то строят, «Бульонная» сама по себе как-то выдохлась, в «Стекляшке», очевидно, проворовались бармены и коньяка, хоть и дорогого, но не продают... Остались дворы, да подъезды, да редкие те случаи, когда кто-нибудь из холостяков пригласит к себе...

Усложнилась жизнь. Раньше часам к восьми-девяти в «Ливерпуле» всегда кого-нибудь найдешь, а

сейчас только и осталось, что «Гастроном», у винного отдела или возле него — сидят на заборчике скверика, глазют по сторонам, авось кто из друзей появится. Выпить-то хочется. И мыслишками поделиться...

Мыслишками поделиться... Вот это-то самое сложное.

В «Ливерпуле», выпив рюмочку-другую, позволяли себе кое-какие вольности. Не ахти какие — поругать арабов, поиронизировать над вставной челюстью Брежнева, рассказать парочку анекдотов — дома же, за чайным столом... Поразительно, до чего все уверены, что каждое слово подслушивается. В большинстве, я бы сказал, даже в подавляющем большинстве, известных мне московских, киевских, ленинградских домов достаточно только заговорить о «политике», как на телефон наваливается подушка или втыкается каким-то особым образом карандаш. Идеализация технической оснащенности определенных органов поразительна. И никто почему-то не задается вопросом — сколько же миллионов, миллиардов магнитофонной ленты должно прокрутиться в одном, допустим, только Киеве, если все («ну, не все, но твой и мой, поверь мне...») телефоны подслушиваются, а магнитофоны (сколько их и сколько этажей они занимают!) не отсыхают.

В том, что у меня во всех углах подслушивающие аппараты, не сомневался никто. Даже я стал верить. Это резко сократило количество посетителей. Приходить стали только отчаянные смельчаки — считалось, что я слишком вольно себя веду (это у себя-то дома!). Мои попытки убедить друзей, что все самое страшное я уже выговорил в свое время в кафе и ресторанах, никого не убеждали («то — тогда, а это — теперь»). Те немногие «не смельчаки», которые отваживались иногда все-таки забежать ко мне, за чаем старались не проронить ни слова, а когда я в самых невинных выражениях касался, допустим, ближневосточных собы-

тий, делали круглые глаза и указывали куда-то наверх, в угол.

Думаю, что основное, чего удалось добиться советской власти за годы своего существования — это страх, который она вселила в людей, и точную уверенность, что КГБ все знает и все может.

До сих пор не могу понять, почему самые страшные тридцать седьмые годы в моей жизни, в жизни моей семьи не вызвали никаких осложнений. Загадка...

Читая Н. Я. Мандельштам, видишь, как совсем по-иному жила в те годы московская и ленинградская интеллигенция. Вернее, мы жили по-иному. Те — не спали ночами, прислушивались к каждому шагу на лестнице, считали светящиеся окна в соседних домах («неделю уже не горит свет у таких-то — забрали...»), мы же о всех страшных событиях узнавали только из газет и то о тех только, о которых писали. И не скажу, чтоб родители мои (не говорю о себе, для меня тогда существовал только театр) так уж скромно себя вели. Тетка — правоискатель и человек бесстрашный — протестовала и писала в ЦК по поводу всяких арестов и увольнений, другая же тетка, жившая в Швейцарии, в письмах своих (а писала она регулярно, и все письма доходили) позволяла себе весьма неодобрительно отзываться о нашей системе, а когда бабушка сообщила ей о смерти А. В. Луначарского (моя семья с ним дружила в Париже), та ей лаконично ответила — «ну, что ж, одним бандитом меньше...». Думаю, этого было вполне достаточно.

Поразительно и другое — оторванность, в частности, моя, от той жизни, которой жила в те годы Москва. В 1938 г. мне было 27 лет. Работал я во Владивостоке, в театре Красной Армии, и считался одним из самых интеллигентных, культурных, начитанных молодых актеров. Но если б мне тогда сказали, что где-то совсем рядом, в нескольких километрах от моего

дома, моего театра во Владивостоке, пригороде Вторая речка (а сколько раз мы ездили туда с выездными спектаклями) умирает за колючей проволокой великий русский поэт Осип Мандельштам, я бы только вылупил глаза — «Кто, кто?». Пристало ли мне после этого удивляться, когда мой друг, военный инженер, живущий, правда, не в Москве, а в Вольске, неподалеку от Саратова, таким же «кто, кто?» отреагировал на какое-то мое высказывание о Синявском и Даниэле. Правда, в мои годы не было никаких Би-Би-Си и Голосов Америки, что, не очень, но все же как-то оправдывает меня.

Но мы заговорили о страхе.

С улыбкой вспоминаю я сейчас свое пламенное, всех взбудоражившее выступление в стенах Строительного института на какой-то из дискуссий (тогда они еще допускались). «Страх... Вот главное, что нами сейчас руководит! — так начал я свою речь. — Страх перед дурной отметкой! Страх от одной мысли, что тебя лишат стипендии! Страх перед профессором, от которого зависит и то и другое! А он — страх — ведет к предательству и измене...». Ну, и т. д. Поводом для этой пылкой речи двадцатилетнего студента (осужденной, кстати, потом секретарем ЦК товарищем Гансом — кто его помнит сейчас? и фамилия моя попала в центральную газету — я был в восторге, как чеховский герой) послужило решение высочайших органов, осуждающее конструктивизм в архитектуре — событие, на многие годы повергшее нашу архитектуру в состояние растерянности и упадка.

Думал ли я тогда, задиристый забияка, что эта тема — страх (о, если б перед отметками и профессорами...) — станет главной в те невеселые дни, когда я расставался с Родиной, и явится одним из тех толчков, которые вынудили меня принять столь нелегкое решение.

Страх...

Самое грустное это то, что я со всех сторон слышу: «Надо понимать... Поймите же, что ему..., что ей, что им..., что у них...» Стараюсь понять, но не понимаю.

Не понимаю, как человек, жена моего самого близкого, самого дорогого, ныне уже покойного, друга может после тридцати лет самых близких, самых дружеских отношений, вдруг, эти самые отношения пресечь навсегда. Так было и сказано: «Я с ним встречаться больше не буду». Конечно, если когда-нибудь ему что-нибудь от меня будет надо, он может... Но он не смог. Черта была подведена слишком решительно.

Не понимаю, как можно отправить назад пришедшие на твой адрес лекарства с просьбой передать их моей жене — мы были в отъезде. По телефону было сказано: «Ты сама должна понять... Я не могла иначе... И проститься с тобой я тоже не могу... Мне очень тяжело, но...» С этим человеком моя жена дружила даже не тридцать, а сорок лет. Можно сказать самый близкий друг — совместная работа в театре, эвакуация, последние годы...

Не понимаю, когда оправдывают моего друга, с которым мы учились в одном институте, и ближайшего моего соседа (его окна видны из моих окон), забывшего вдруг ко мне дорогу (он попрощался со мной телеграфно), словами: «Пойми же, ради Бога, что ему надо объект сдавать... Зачем ему рисковать?» А друг этот в свое время любил прибегать по вечерам ко мне, усталый и раздраженный — «Дай чайку... Хочется как-то всех послать к чертовой матери, дергают со всех сторон, сил нет...» И делился со мной всеми сложностями и перипетиями своей работы. Потом предпочел не делиться — там же, мол, все прослушивается. Может, он прав, объект-то сдавать не мне, а ему...

И еще один друг... И еще... И еще...

И стало пусто. И телефон умолк. И я перестал звонить. Старался понять. До сих пор стараюсь. Но не выходит.

Вечерний Крещатик натолкнул на мрачные размышления. Может, утренний или дневной немного успокоит нас? Вряд ли. В дневные часы он одержим. Магази́нная и лотошная вакханалия. Моя квартира в самом центре, и вся толчея перед моими глазами. Когда-то, до войны, Пассаж был тихой улочкой с художественными салонами, книжными магазинами. Сейчас это «Детский мир», где меньше всего детей и с избытком взрослых.

Что происходит со взрослыми, когда где-то «выбросили» кофточки, босоножки или апельсины, — говорить не приходится. С ужасом и великим сожалением думаю о тех, чьи окна выходят в этот самый «Детский мир»... Наши, слава Богу, выходят в противоположную сторону, которая шумна только по утрам, когда разгружают ящики в тылах магазинов. И только по воскресеньям в Пассаже тишина. Магазины закрыты. Бродят голуби, да во дворе «Гастронома» единственная на весь Пассаж очередь — сдают бутылки.

Бывает время, когда Крещатик меняет свое обычное лицо. Это — праздники и дни футбольных матчей. Население его тогда увеличивается в десятки раз. В дни футбола не рекомендуется заходить в «Гастроном» — все равно ничего не добьешься, — а в дни праздников и салютов прекращается движение транспорта и улица во всю свою ширину и длину отдается во власть пешехода, если это спокойное слово можно применить к топчущейся на месте или протискивающейся куда-то толпе. Это не лучшее время для посещения Крещатика.

Мы с мамой выходим гулять обычно под вечер. Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Днепром или по Петровской аллее и назад. Идем себе под руч-

ку, тихонько, не торопясь. У подземного перехода высаживают продавщицы цветов, они нас хорошо знают. «Возьмите ландыши бабуся, только из леса...» Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета гладиолусы, осенью георгины, астры... «Вы только побрызгайте их сверху, долго стоять будут...» Иногда наших баб нет, их разгоняет милиция. Зачем? Почему? Кому они мешают? Кто-то объяснил: «Безобразие! Замусоривают только Крещатик лепестками!» Действительно, безобразие, того и гляди утонет Крещатик в лепестках роз...

Так, здороваясь направо и налево, — мы ведь тоже неотъемлемая часть предвечернего Крещатика, что-то вроде его достопримечательности, — доходим до громадного плаката на глухой стене дома: «Пийте, друзі, вітаміни, натуральні свіжі соки і рум'янцем неодмінно запалають ваші щоки». Мама каждый раз возмущается: «Зачем надо, чтоб у меня пылали щеки? Кто придумал, что это красиво?» А на площади Калинина на доме всю ночь вспыхивает и гаснет: «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Мать тоже пожимает плечами: «Всю жизнь ем мороженое и никогда этого не замечала».

О, киевская реклама, мигающая, вспыхивающая, переливающаяся! Она далеко обогнала примитивные московские призывы Аэрофлота и сберкасс пользоваться их услугами и, пожалуй, даже Бродвей. У нас она в изысканной стихотворной форме.

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому, в цукрі рафінованім» (качества наилучшие сконцентрированы именно в нем, в сахаре рафинированном).

«Кришталь, скловироби, термоси виробництва Київського склозаводу художнього, хай будуть в квартирі у кожного» (хрусталь, стеклянные изделия,

термосы, производства киевского стеклозавода художественного, пусть будут в квартире каждого).

«Піаніно, баяни, бандури не треба шукати довго. Адреса точна — в магазинах Київкультурторга». (Піаніно, баяны, бандуры не надо искать долго, адрес точный — в магазинах «Киевкультурторга»).

И так далее, в том же духе. Разве плохо?

Погоуляв по вечернему Крещатику, ты не будешь больше мучаться в поисках бандуры, обставишь, наконец, квартиру хрусталем и термосами, а чай будешь пить только вприкуску.

Зацепившись за рекламу, никак не могу обойти вниманием еще один вид информации — так называемую наглядную агитацию. Ничуть не оспаривая ее полезность в принципе, приведу только один пример.

Прошу уважаемого читателя, не подглядывая вперед, ответить на вопрос: «В какой газете, книге, журнале, Парке культуры и отдыха, клубе или кинотеатре могло быть помещено нижеследующее?»:

«К 1980 г. будет полностью удовлетворена потребность народного хозяйства и населения в перевозках путем согласования развития всех видов транспорта».

Где? Нет, не в газете, не в Парке культуры и отдыха, не в клубе, а... на почтовой марке! все это размещено на крохотном кусочке бумаги размером 3 x 5 см и изданном Бог знает скольким миллионным тиражом. И такая марка не одна, а целая серия.

Ах, милая ты наша наглядная агитация. Как привыкли мы к тебе, бессмысленной и никем не читаемой — ко всем этим «Партия и народ едины» и «Выполним решения XIV пленума», ко всем этим потокам и колонкам цифр, диаграммам, и молодым парочкам с развевающимися волосами и спутниками или атомами в протянутой руке, как уже даже не раздражаемся — просто глаз наш аккомодировался и сет-

чатка не воспринимает, не отпечатывает в мозгу определенный набор слов и изображений...

Но однажды сетчатка у меня не сработала, сдала. Дело было в Чернобыле, маленьком и очень симпатичном украинском городке на берегу Десны. Как-то вечером мы с друзьями гуляли по прибережным лугам и добрели до старой лесопилки. Кругом — ни души. Две на длинных веревках козы щипали траву. Где-то далеко в лесу, за речкой куковала кукушка. Заходило солнце. Тоненький месяц над лесом. Тишина и покой. И только легкий ветерок трепал выцветший, ставший из красного розовым, лозунг над воротами лесопилки: «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала». Интересно, есть ли в Чернобыле хоть один человек, который мог бы пальцем указать на карте, где этот Непал находится.

**
**

Лучшее время прогулки по Крещатику — это, конечно, раннее-раннее утро. Летом, часиков этак в пять-шесть. Редкие, непонятно откуда и куда идущие — то ли с дежурства, то ли с затянувшихся именин прохожие, первые дворники, волочащие по тротуару кишки для поливки улиц. Троллейбусов еще нет. Вихрем проносятся одиночные, плюющие в этот час на светофоры, машины. На магазинах, с обязательными любезными «Добро пожаловать» (по-украински, «Ласкаво просимо»), висят еще замки на каких-то железных коробках с всунутыми в них картонками... Идешь по такому Крещатику, еще прохладному, с длинными тенями, и замечаешь то, мимо чего проходишь, когда он тороплив и многолюден. Именно в это утро ты обратишь внимание на то, как выросли довоенные деревья, как хорош виноград на балконах, переползающий по стенам с одного на другой, как мощно разросся плющ на лестнице, ведущей к па-

вильону «Чай-кофе» (расти, расти, плющ, разрастайся по всем фасадам Крещатика — ты сделаешь большое дело!), как не нужны, безобразны и не вяжутся со старым Пассажем скульптуры у его входа и еще парочка возле лестницы к кинотеатру «Дружба». Для чего они, эти унылые мужчины и женщины с какими-то чертежами, планами и снопами в руках? Ох, как повезло бы Крещатику, если бы скульптуры могли оживать — взяли бы они свои чертежи под мышки и ушли куда-нибудь подальше...

Да, именно в это тихое, безлюдное утро ты все увидишь и заметишь. Остановишься посреди пустынного тротуара и начнешь рассматривать фасады. Ты никогда не занамался этим? Тогда — советуем!

В Киеве есть дом, который знают все, даже не киевляне. «Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом, — говорят они, — на котором много...» Да, есть, отвечаем мы, дом Городецкого, дом с русалками.

В. Городецкий, в свое время известный в Киеве архитектор, отнюдь не был новатором. Он подражал Древней Греции (в Музее украинского искусства, «со львами», как его называют киевляне), готике (в новом костеле), чему-то восточному (в караимской кенасе на Большой Подвальной, сейчас там кино «Заря»). Сделано все умело, добротное, со знанием дела, но в общем-то, копии чего-то. Но вот в жилом доме на Банковой (ныне Орджоникидзе) Городецкий нашел самого себя. В этом доме он приближается не на очень, правда, близкое расстояние к вдохновенному певцу архитектуры «модерна» — Антони Гауди, автору знаменитого собора Ла Саграда Фамилия (Святое Семейство) в Барселоне. Неудержимая фантазия, стремление и умение из камня и цемента вить веревки, лианы, сети, уничтожать камень как таковой, превращать его в цветы, растения, животных — одним словом, создавать архитектуру, уничтожая ее устоявшиеся принципы, вот что сближает этих двух

архитекторов — русского и испанского. «Дом Городецкого» — это, конечно, не просто дом, это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в канелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке дома дикий барс (или что-то ему сродни) сражается с могучим орлом...

И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны, и рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот...

Но, стоп! Я сказал «антиархитектурность» — и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен, в нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет двадцатого века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остального — пример, скорее, положительный, чем отрицательный.

Конец XIX, начало XX века — не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн, Сандуновские бани, Елисеевские магазины, особняки Рябушинского, Кшесинской, Grand Palais в Париже. Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов, строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется «оффисами» — банков, контор, страховых обществ и т. д. И вот этим-то домам было тогда нелегко, а архитекторам и подавно.

Земельная рента в начале века (особенно на центральных улицах) росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в 90-х годах усадьба Меринга (в самом центре города, там, где театр И. Франка,

бывший Соловцова), размером в десять десятин, продана была за 300 тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера (нынешний «мой» Пассаж) площадью в один гектар была приобретена страховым обществом «Россия» за полтора миллиона рублей.

Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальное — либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы.

Так расцветало фасадничество.

Правда, и ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него стогнялось все — и колонны, и пилястры, и сандрики, и карнизы. Но стиль в то время создавали, в основном, не жилые дома, а уникальные сооружения — дворцы, замки, соборы; в двадцатом же веке — именно жилые дома и «оффисы».

И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую, единственную, выходящую на улицу стену. Задача не из легких, с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Щуко, Фомин, Жолтовский, Таманян, Бенуа удалось создать здания, безусловно украшающие город. Пример тому — Каменноостровский (ныне Кировский) проспект в Ленинграде, одна из красивейших улиц города.

Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. Четыре здания на Крещатике (Зекцера и Торова, Бенуа, Андреева и Лидваля) плюс Пассаж, непосредственно на Крещатик не выходящий, ну, еще от силы десяток-другой домов — и все. Остальное мало интересно. Пяти-шестиэтажные из желтого киевского кирпича, в большинстве неоштукатуренные здания с достаточно безвкусной лепниной и обязатель-

но куполами — вот типичная архитектура Киева, его лицо. Ну, еще обязательный «стиль рюсс» — пузатые колонки, теремочки, кокошнички.

Спасает эту безвкусицу рельеф города и буйная зелень, скрывающая фасады. Одно в этих домах хорошо — балконы. Широкие, просторные, со специфической киевской «пузатой» решеткой из каких-то листьев и ветвей. На таком именно балконе я и начал свои прогулки — дом № 4 на Владимирской — типичный киевский дом.

Двадцать пять лет я прожил в Пассаже. О нем стоит поговорить особо, так как огромный дом этот — один из наиболее ярких образчиков нелегкой, я бы даже сказал трагической, судьбы «фасаднической архитектуры».

Пассаж — это, так сказать, внутриквартальная, совсем не широкая улица с большими магазинами на первом этаже и бесчисленным количеством квартир на остальных четырех. Думаю, что население Пассажа (вся эта улица — один дом № 15) не уступает по количеству жителей любому современному районному центру или дореволюционному уездному городу. Строил его архитектор П. Андреев. Осуществить до конца свой проект ему не удалось (строительству крепатицкой части помешала мировая война), но и то, что сделано, свидетельствует о большом мастерстве автора. Да, о мастерстве и в то же время, повторяю, о трагичности его мастерства.

Даю голову на отсечение, что ни один из многих тысяч жильцов этого дома не знает, что же изображено на его фасадах. Более того, смею утверждать, этого не знает ни один киевлянин, даже ни один житель земного шара, кроме, разве что, авторов проекта (если они еще живы) и... меня. Сужу по тому, что, прожив в Пассаже двадцать пять лет, я только сейчас обнаружил на его фасаде, вернее, фасадах, массу интереснейших вещей. Обнаружил, например, кроме

мужских и женских голов, молодых и пожилых, несметное количество гербов, гирлянд, поддерживаемых летящими гениями, ангелочков, орлов, бычьих черепов, ночных сов с распростертыми крыльями, факелов, жезлов Меркурия, бараньих голов с подвешенными к рогам ананасами и множество барельефов — детей, играющих со львом и львицей, обнаженных мужчин и женщин, из которых я точно узнал одного только Нептуна по трезубцу в руках, какие-то обнимающиеся пары... И все это я, киевлянин, человек, любящий разглядывать фасады, открыл для себя совсем недавно, начав писать эти заметки.

И тут-то и возникает вопрос: не зря ли потратил всеми уважаемый архитектор время на прорисовку всех этих ангелочков, сов, орлов и прочей живности? Ведь никто этого не видит, не замечает. Я вот совсем недавно только обнаружил, что женская голова в замочном камне над моим парадным отличается от других таких голов тем, что она прикрыта тигровой шкурой. А сколько раз я входил в эту дверь? Тысячу, две, пять, десять тысяч раз! Непостижимо! И обидно. Столько труда потрачено. Неужели напрасно?*

В студенческие годы мы много говорили и спорили о синтезе искусств. Примерами положительными считали Афинский Акрополь, капеллу Микеланджело во Флоренции, где архитектура и скульптура настолько спаялись, слились, что просто не могут существо-

* Уже после обнаружения тигровой шкуры я хвастался знанием фасадов собственного дома перед другом-скульптором. И, к великому моему удивлению, разобрал вдруг, что детишки на барельефах вовсе не играют со львом и львицей, они просто-напросто... спаивают их. Да, спаивают! Одни раскрывают ему пасть и подносят чашу с вином, наливая его из амфоры. Другие же малыши с гроздьями винограда в руках готовят вино. А двое даже дегустируют его. Вот о каких интересных вещах рассказал нам Андреев...

вать друг без друга. Синтез архитектуры с живописью признавался, правда, с оговорками, в домах Помпеи, а в более поздний период в архитектуре Мексики — Диега Ривера, Сикейрос и другие. Нарушителями, врагами синтеза считались Сикстинская капелла того же Микеланджело (живопись разрушает архитектурную форму) и, конечно же, барокко, где для нас, юных конструкторов, ревнителей чистых объемов и плоскостей, всего было слишком много.

С годами вкусы несколько изменились — стало ясно, что конструктивизм отнюдь не панацея от всех бед (это понял раньше всех нас великий Корбюзье), а барокко далеко не самый плохой период в истории искусств. Стил (если можно говорить о нем, как о чем-то имеющем начало и конец) рождается в определенную эпоху и не на ровном месте. Он отвечает требованиям своего времени, своих заказчиков (от императоров прошлого до государственных мужей последних десятилетий) и в то же время является отображением состояния умов и вкусов.

Но я не собираюсь читать сжатый курс истории архитектуры, я просто пытаюсь уяснить себе (а потому и залез в дебри), что и положительного и отрицательного дала человечеству архитектура начала века, а заодно разобраться в том, что можно считать ее трагедией.

Если, вспоминая прошлое, мы заговорили о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи, то на примере андреевского Пассажа и его собратьев мы видим весьма любопытное явление — вмешательство в архитектуру книжной графики и, в свою очередь, архитектуры в книжную графику.

Сравните, например, фасады первого десятилетия XX века с графическими работами «мирискусников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Добужинского — с обложками «Аполлона», «Золотого руна», «Столицы и усадьбы», и вы увидите много общего. Те же маски, купи-

доны, гирлянды, бараньи головы. Виньетки на стенах домов, колонны и архитектурные детали на книжных страницах.

И это вполне закономерно. И у архитектора, и у графика перед глазами плоскость, прямоугольник — у первого стена, у второго лист. И плоскость эту нужно заполнить. И заполняя ее, архитектор и график протянули друг другу руки, как позже, в двадцатые годы, сделали это архитектор и инженер. Но если во втором случае архитектура открывала нечто новое и дала миру таких мастеров, как Ле Корбюзье, Гропиус, Райт, Леонидов, Мельников, бр. Веснины (список этот можно продолжить), то в первом случае дело обстоит несколько сложнее.

Книгу, взяв ее в руки, ты рассматриваешь, а мимо дома проходишь, не очень-то обращая на него внимание, если это не памятник архитектуры и о нем не написано в путеводителях и книгах об искусстве.

Такие крупные мастера, как Щуко, Лидваль, Рерберг, тот же Андреев (Щусев несколько в стороне, у него были свои поиски — от церквей и Казанского вокзала до Мавзолея Ленина), оформляли свои фасады с большим вкусом и знанием дела, но мы, прохожие, не успеваем, не умеем это оценить. И виноваты в этом не архитекторы, а мы. И именно потому предпочтительно гулять по городу ранним утром, когда магазины и учреждения еще закрыты, а тебе некуда торопиться.

Дома нужно рассматривать как книжки. И тогда тебе многое откроется. Хотя бы то, что Пассаж при симметричности своих фасадов несимметричен в своем построении — у него есть излом, создающий некую очень нужную в искусстве неправильность (тонкость, придающая такое совершенство Акрополю), тогда ты испытываешь то наслаждение, которое хотел доставить тебе архитектор. И тогда ты поймешь, что труд его был не напрасен — воздвигнутое им (даже

если не все детали до тебя дошли) создает в целом определенный архитектурный образ, настроение, то есть то, без чего архитектура существовать не может.

И тут я возвращаюсь к Городецкому, к его дому. Пусть в нем, в этом доме, слишком много носорогов и наяд, но он сделан рукою художника. И художника, не побоявшегося выбрать сложнейший рельеф — крутой обрыв. Это дало ему возможность вырваться из строчечной застройки, а значит, и избавиться от фасада — дом одинаково интересен со всех сторон. И, пожалуй, именно это дает нам право отнести его к примерам скорее положительным, чем отрицательным того стиля, которому трудно дать название — модерн, неоклассицизм, декаданс, стиля, который не принято считать стилем, а принято осуждать, увы, не всегда с основанием.

...7 июня 1926 года на одной из центральных улиц Барселоны из-под трамвая было вытянуто тело неизвестного бродяги. Через несколько дней бродяге этому были устроены торжественные похороны, на которые стеклась чуть не половина города. Безвестным бродягой оказался 74-летний Антонио Гауди, архитектор, которому Барселона, а вместе с ней и все человечество, обязано одной из интереснейших страниц истории архитектуры. Строил он только в Барселоне, больше нигде, у нас в России почти неизвестен, если не считать знатоков, так же неизвестен, как и «почтальон Шеваль» (во Франции знаменитый примитивист Руссо именуется не иначе, как «таможенник Руссо»), тем не менее, имена обоих упоминаются во всех энциклопедиях, о них пишут монографии, а творения их изучаются всеми, кого интересуют судьбы архитектуры.

Оба они считаются представителями модерна. Но считают это, главным образом, специалисты, которым нужно втиснуть творчество того или иного художника в рамки определенного течения, стиля. Нет, ни тот,

ни другой не втискиваются в эти рамки. Они не модернисты, они «кошки, которые гуляют сами по себе». Подобно Гоголю, который считал, что современную ему унылую архитектуру надо убить городом, в котором сочетались бы стили всего мира и всех веков, «почтальон Шеваль» построил свою собственную усыпальницу (!), используя в ней все лучшее, что дали миру неизвестные архитекторы Индии, Бирмы, Тибета, Японии, Китая, Рима. Гауди, напротив, избегал стилей и модерна, оперировавшего своими штампами, в том числе.

Венец его творчества — собор Ла Саграда Фамилия. Строить его он начал еще тридцатилетним молодым человеком и так и не закончил, дожив до семидесяти четырех лет. За сорок три года строительства (1883-1926) ему удалось осуществить только грандиозный по размерам фасад — портал и четыре башни. Человеку, не выдавшему его в натуре, трудно, конечно, судить о впечатлении, которое производит собор (вернее, его лицо), но даже рассматривая фотографии, видишь, что перед тобою нечто незаурядное. Взмывающие ввысь веретенообразные стометровые башни, вырастающие из портала, поражают не только своим силуэтом, они сотканы из бесконечного количества деталей, которые уловить и оценить можно, очевидно, только вооружившись биноклем и временем. Фантазия автора не знает предела. Он оперирует любыми формами — готики, романских донжонов, дворца Снежной королевы, песочных замков, вылепленных детьми на пляже, затейливостью растений и придуманных самим автором форм. Он использует цвет, майолику, скульптуру, даже надписи, игнорируя только одно — прямую линию, прямой угол и плоскость. Эти последние Гауди считал началом человеческим, кривую же — божественным, что, правда, не мешало ему и в жилых домах избегать «человеческих» прямых.

В Гауди мирно уживались (а может, и не мирно) самые противоположные начала. Художник и инженер, мистик и калькулятор. Его любили и чему-то учились у него Корбюзье и Сальвадор Дали. А он своим учителем считал природу. «Дерево — наш учитель», — говорил он. «Парабола не придуманная, вычисленная кривая, это растопыренные пальцы». Его эмблемой были роза и дракон — эмблема святого Георгия, покровителя Каталонии, — прекраснейший из цветов и чудовищное порождение фантазии.

Любимое изречение Гауди: «Архитектура не должна придерживаться своего времени». И еще одно: «Трамваи должны останавливаться, а не пешеходы»... Увы, этого изречения не знал водитель трамвая, который переехал его.

В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни «почтальон Шеваль» (он, действительно, был почтальоном, как и Руссо — таможенным чиновником) не вписываются. Их архитектура не дружит с современной. Что ж, тем хуже для современной архитектуры, добавим мы, в чем-то разделяя точку зрения Гоголя.

Талант даже в сложные времена выходит победителем.

Ну, а Городецкий?

Только сейчас, и то совершенно случайно (поднес старушке тяжелую корзину, она мне и поведала), узнал я, что автором самого любимого моего дома был тоже Городецкий. Это «замок Ричарда Львиное сердце», как прозвали мы его еще в детстве, воюя на его лестницах и мостиках — чудесный, загадочный, ни на что не похожий дом на Андреевском спуске, круто петляющем от Андреевской церкви вниз, на Подол. Городецкий, очевидно, любил замки (я вспомнил его, гуляя сейчас по созданной для дуэлей, погонь и Фанфан-Тюльпанов крыше замка...) и в нашем «Ричарде»

это особенно чувствуется — даже сейчас, попав в его дворы и дворики, хочется скрестить с кем-нибудь шпаги...

Имя Городецкого не упоминается ни в одной энциклопедии, о нем не пишутся монографии и над «домом с русалками» кое-кто посмеивается, а другие просто от него отворачиваются — стоит ли о нем говорить, — но не зря все-таки приходят к этому дому люди, разглядывают его, фотографируют... А новые «башни» на Русановке ли, или в Химки-Ховрине, при всей их разумности и рациональности что-то совсем не хочется фотографировать.

Киевляне рассказывают легенду о дочери Городецкого, которая утонула где-то в озере Чад или Виктория-Ниянца, и в память о ней, мол, построен дом с русалками и носорогами. А где-то я читал, что, напротив, никакая там не фантазия, просто архитектору заказала этот дом какая-то фирма по производству цемента — проверить в самых сложных лепных формах качество цемента. Бог его знает, что было на самом деле, важно другое — перед нами произведение художника, у которого было свое лицо, не банальное, не стереотипное, а свое собственное. Без этого не может существовать искусство, будь это храм Василия Блаженного, капелла Роншан или хотя бы «Замок Ричарда Львиное сердце».

«Замок Ричарда Львиное сердце» — № 15 по Андреевскому спуску, а ниже его под горой — № 13, «дом Турбиных», в котором жил и автор пьесы, М. А. Булгаков. Теперь он стал вроде одной из достопримечательностей Киева. Почитатели Булгакова, из разных городов, сразу находят его — большое, черное «13» на ярко-белом квадрате видно издалека. Многие заходят во дворик, фотографируют, наиболее отважные рискуют познакомиться и с Инной Васильевной, дочерью Василисы...

Весь последующий раздел интересен только тем, кто любит Булгакова «Белой гвардии», кто выстаивал длиннющие очереди в Камергерском, чтоб попасть на «Дни Турбиных», кто замирал, переживая вместе с героями пьесы все перипетии этой такой милой, такой дружной семьи.

О своих поисках, о доме, в котором жили придуманные и не придуманные Булгаковым герои романа и пьесы, я как-то написал в «Новом мире» и для тех, кто прочитал этот маленький очерк, и написаны निжеследующие строки.

Скажу прямо — писать о живых людях или их прототипах — дело неблагодарное, а, возможно, даже не всегда нужное.

Надежда Афанасьевна Булгакова, сестра писателя, в одном из писем писала:

«Несколько человек, знающих нашу семью, осуждают Вас за неточность информации. Говорят, что Вы, мол, от Инны Васильевны узнали, что есть в Москве родные писателя, надо было бы обратиться к ним. Но представьте, я так не думаю. Болезнь помешала мне вмешаться в это дело до напечатания очерка, значит, судьба: пусть будет так, как получилось».

Несмотря на столь мягкое и деликатное замечание Надежды Афанасьевны, позволю себе истины ради кое-что с ее слов все же уточнить и дополнить.

«Не знаю, — пишет она, — стоит ли утруждать Ваше внимание исправлением ошибок, но кое-что скажу.

Варя, самая веселая (это верно), четвертая в семье, на гитаре не играла, она кончила Киевскую консерваторию по классу рояля, была пианисткой. Вера, старшая из сестер, вторая после Михаила, пела, училась пению; замужем за офицером никогда не была; ее муж никогда не был выслан. Мой

муж был филолог, русский. Ни у кого из сестер Булгаковых мужей немцев не было.

Варю — прототип Елены Турбиной, Миша прекрасно, тонко уловил черты ее характера, ее облика, рисуя Елену Турбину. Но Вы же сами написали о героях Булгаковых: «...может, и выдуманных наполовину, на четверть выдуманных... И муж Елены — Тальберг — тоже выдуман на сколько-то».

По этому поводу пишет и племянница Надежды Афанасьевны, дочь ныне покойной Варвары Афанасьевны (Елены Турбиной):

«Моя мать, действительно, вышла замуж за офицера (моего отца); фамилия у него немецкого происхождения — Карум, но он был русским. Мать его уроженка Бобруйской губернии — Миотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер, свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему 78 лет, но он много работает над иностранной литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве.

Моя мать в ссылке никогда не была, мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков».

Оба письма, отрывки из которых я привел, — Надежды Афанасьевны и И. Л. Карум, ее племянницы, — дополнений и разъяснений, само собой разумеется, не требуют. Как никто другой понимаю, как досадно обеим было читать все эти «неточности», касающиеся близких и дорогих им людей (я тоже огорчился бы). Но я, оправдываясь, хочу сказать, что свое

посещение дома № 13 рассматривал скорее как некую живую сценку, вплетшуюся в историю «Дома Турбиных», а не как исследовательскую работу по биографии М. А. Булгакова. Я не исследователь и не биограф — просто мне дорого все, что связано с именем писателя, и каждое слово, каждый, пусть далекий, детский отрывок чьих-то воспоминаний о нем, о вымышленных или невымышленных его героях, мне интересен. Да думаю, не только мне.

Вот несколько из этих дошедших до меня отрывков.

Алексей Турбин...

Одна из читательниц пишет:

«Моя мать в 1918 году жила в Киеве (кстати, на Андреевском спуске в доме кн. Урусова, который Вы называете «Замком Ричарда») и была близко знакома с артиллерийским офицером (в чине полковника) Алексеем Петровичем Турбиным.

Еще в 1933 году, посмотрев пьесу Булгакова, она считала, что Алексей Турбин очень похож на того человека, которого она знала, и хотела узнать у Булгакова, действительно ли Булгаков «списал» его с живого человека. Но, с одной стороны, она стеснялась написать, с другой — даже боялась... Вы пишете, что полюбили этих людей, полюбили «за честность, благородство, смелость, за трагичность положения». По рассказам матери, Ал. Петр. Турбин был именно таким — благородным, очень интеллигентным, но — увы! — белым офицером. Теперь, после Вашей статьи (очерк? новелла?) я уверена, что Алексей Турбин и есть тот самый человек, конечно, не в абсолютно «чистом» виде, как и всякий литературный прототип.

Последний раз моя мать видела его в Севастополе перед бегством белой армии за границу».

Это — о самом Турбине. А вот догадка одного из читателей по поводу «происхождения» этой фамилии. Булгаков — Турбин. По Ушакову — булгачить, зна-

чит, «беспокоить, будоражить», по Далю — турбовать — тоже «беспокоить, тревожить», — по-моему, любопытная, о чем-то говорящая «раскопка».

Шервинский...

Письмо от читательницы из Горьковской области:

«Было это так. Лет 10 тому назад я ехала из Москвы домой. В купе со мной оказалась только одна пассажирка — немолодая, некрасивая женщина, разговор с которой не сулил ничего интересного. К счастью, я ошиблась. Попутчица оказалась завзятой театралкой, и мы с увлечением проговорили всю летнюю ночь.

Конечно же, вспомнили «Дни Турбиных». И хотя обе мы видели их в тридцатых годах, впечатление было настолько великое, что спектакль запомнился во всех деталях.

Вот тут-то моя собеседница мне и сказала: «А знаете, я ведь киевлянка, и в 1918 году жила в Киеве. Я немного знаю человека, которого Булгаков вывел под фамилией Шервинского».

Передаю то, что запомнила из ее рассказа.

«...1918 год. Ранняя осень. Я в гостях в одной скромной семье, состоящей из матери старушки и 2-х дочерей-девушек. Бедная квартира, тусклый свет, неинтересный, вялый разговор. И вдруг ворвался солнечный вихрь — в комнату влетел молодой офицер — родственник старушки. Высокий, стройный, с великолепной русской шевелюрой. От его белозубой улыбки, прекрасного голоса, смеха, шуток сразу все ожило. Я сидела в уголке и следила и слушала, как он говорил, смеялся, ухаживал за девушками, целовал руки старушке, пел, играл на скрипке...

Когда я смотрела спектакль — выход Шервинского поразил меня — да ведь это же Евгений! Актер дал очень верный образ, будто знал его.

Уходя из гостей, я спросила у старушки, кто этот офицер, старушка ответила, что это ее родственник,

что он служит адъютантом у одного высокопоставленного лица, чуть ли не у «самого».

В последний раз я видела его в элегантной коляске, запряженной парой вороных. Он сидел на переднем сиденье — откидной скамеечке — и что-то оживленно говорил каким-то важным особам, сидевшим в экипаже.

Потом в городе произошла смена власти, и он исчез.

После мне рассказывали, что он обосновался в Москве. Одаренный человек, он увлекался электротехникой, сделал ряд изобретений в области гальванопластики, много и плодотворно работал, а теперь доживает свой век, окруженный почетом и уважением.

Он был женат. Жену он обожал и рыцарски служил ей. На меня, как на женщину, произвел большое впечатление такой факт: 30-е годы, карточки, с товарами трудно, предметов роскоши совсем нет. А он, чтобы доставить удовольствие своей жене, обшаривает всю Москву и достает флакон духов «Коти». Жена их любит...»

Вот и все, что я запомнила из рассказа моей попутчицы. Помнится, мы тогда еще потолковали, не на «Елене» ли он женился, но у моей собеседницы никаких определенных данных не было.

Так ли это? Не знаю. И не проверяю. Зачем проверять? Пусть это останется «тайной» неизвестного артиллерийского полковника Турбина и не более известного Евгения...

А вот строчки из письма, ничего нам не открывающего, но настолько трогательного, что не могу их не привести:

«...«Дом Турбиных» возвратил меня к событиям сорокалетней давности, о которых хочу рассказать Вам.

Лет мне было в те поры 5-6, но кое-что запомнилось отчетливо, совершенно фотографически.

Так вот, у моей матери была приятельница, звали ее Леля. Внешность ее совершенно изгладилась из памяти. Кроме синего костюма (как Василисин зять запомнил только форму булгаковских зубов). Меня в те времена могли интересовать зубы разве что серого волка. Помню, как-то раз мама, тетя Леля и я шли по Тверской (в Москве). Остановились у круглой афишной тумбы — были когда-то такие в Москве, летом в них ночевали беспризорники. Мама и тетя Леля разглядывали афиши и вели какие-то свои, взрослые разговоры, мне неинтересные. Вдруг мать сказала, обращаясь к тете Леле: «Миша Булгаков!» Сказано это было таким радостным, таким особенным тоном, что я невольно спросила, кто это — Миша Булгаков? — «Миша Булгаков — брат тети Лели».

И обе они, мама и тетя Леля, как-то очень тепло и радостно улыбаясь, стали говорить о Мише — Лелином брате.

Я уже умела читать и прочла на афише какого-то спектакля (тогда мне было совсем безразлично, какого именно) «М. Булгаков».

Безусловно, у М. А. Булгакова и его родственников было (и есть сейчас) великое множество знакомых, друзей, приятелей, могущих рассказать о семье Булгакова много интересного.

Читать, как я уже сказала, умела. Прочла разные сказки — Андерсена, братьев Гримм и т. д., что обычно читают детишки. Но всех этих авторов уже на свете-то не было. И вообще, никому ничего не было известно, скажем, о братьях Гримм, чьи они, собственно, братья? А вот о Мише Булгакове все было известно доподлинно — он был брат тети Лели. И жил в Москве. И его имя было на афише. Правда, пьесы, которые он писал, были для взрослых. А коль мама и тетя Леля так этому обрадовались, значит, Миша

Булгаков хороший писатель. Иначе, чему бы радоваться?

Так вошло в мое сознание: Булгаков — писатель, радующий людей.

Что было с Лелей Булгаковой дальше — не знаю. Мать моя тяжело заболела и вскоре умерла. Приятельницы ее у нас уже не бывали».

Николай Турбин... Любимый мой Николка — Кудрявцев...

Почему-то мне казалось, что прототипом его должен быть самый младший брат Михаила Афанасьевича — Иван. Один — в Киеве на гитаре, другой — в Париже на балалайке... Потом подумал: а не Николай ли, второй брат Михаила?

Иоанн Сан-Францисский (в миру Шаховской) в предисловии к заграничному изданию «Белой гвардии», так и озаглавленном: «Судьба Николки Турбина», не сомневается, что Николка — это Николай Булгаков. Ссылается при этом на свидетельство одного священнослужителя, который сидел с Николаем Афанасьевичем в одном лагере во Франции во время немецкой оккупации.

Что же о них известно — о Николае и Иване?

Оба они после гражданской войны оказались в Югославии, затем во Франции. Николай Афанасьевич, получивший высшее образование в Загребе, работал в Париже ассистентом профессора д'Эффеля, всемирно известного ученого, открывшего в свое время бактериофаг. После смерти своего шефа возглавил институт его имени. За труды свои удостоен серебряной медали. В годы оккупации попал в немецкий концлагерь. Многие заключенные обязаны ему своей жизнью. Вдова М. Булгакова Елена Сергеевна показывала мне трогательный благодарственный адрес, по-детски украшенный виньетками, который преподнесли Николаю Булгакову бывшие заключенные после освобождения. Среди них и был, кстати сказать, тот самый

священнослужитель, о котором упоминал Иоанн Сан-Францисский. Летом 1966 года (а не зимой) Николай Афанасьевич умер — простудился, схватил воспаление легких и не перенес его. Похоронен он на русском кладбище в Париже.

Судьба Ивана Булгакова сложилась иначе. Чуткий, чистый, очень ранимый, он бесконечно тосковал по России. Люди, знавшие его, находили в нем что-то от Феди Протасова... Последнее время о нем ничего не было известно. Елена Сергеевна, ездившая в Париж, привезла только маленькую фотокарточку, где он снят в группе хора балалаечников одного из русских ресторанов в Париже. Он стоит вторым слева, моложавый, несмотря на свой возраст (1901 года рождения), невысокий, крепко сколоченный блондин в шелковой косоворотке, шароварах, сапогах...

Разглядывая эту фотографию, я невольно подумал: а не встречался ли я с ним в Париже в 1962 году? В той же группе вторым справа снят молодой человек, лицо которого мне показалось знакомым. Не Марк ли это Лутчек из ресторана «У водки», с которым мне так и не удалось вторично встретиться? Я спросил Елену Сергеевну, не знает ли она, кто это такой, и не цыган ли он? Да, цыган, но имени его она не знает...

Вернувшись в Киев, я ринулся на поиски. Написал в Париж своей знакомой, русской по происхождению, и попросил ее, если не трудно, сходить в тот самый ресторан на бульваре Сен-Мишель и, если там еще работает Марк, разузнать у него об Иване Афанасьевиче, которого, если и не работает с ним вместе, он, наверное, знает.

Вскоре получаю ответ и — о, чудо! — оказывается, моя знакомая прекрасно знает Марка и всю его семью. Знала его еще совсем мальчиком. Сейчас он женился на русской и вместе со своим ансамблем гастролирует в Ливане, в Бейруте, в казино «Бейрут». Туда и пишите!

Я написал. Через сколько-то времени — письмо от Марка. Не из Бейрута, а уже из Парижа. Очень милое письмо. Извиняется, что сразу не ответил («с русским у меня неладно, сейчас помогает жена»), и сообщает, что через друзей узнал нынешний адрес Ивана Афанасьевича, который и прилагает. Значит жив! Забавная мелочь. Я сравнил фотографию бала-лаечников, где вторым справа стоит Марк, с присланной мне самим Марком («представляю тебе мою жену Ольгу. Снято в день свадьбы») и... Что за чёрт! Совсем разные люди! Второй справа — вовсе не Марк Перепутал!

Но не все ли равно? Важно, что и Марк, а через него и Иван, обнаружились.

И вот, в который раз убедился я, как важно писателю записывать адреса. И только для этого — уверяю вас! — только для этого придумана пресловутая «записная книжка писателя». Только для адресов. А мысли придут потом. А если не придут, то значит, и не заслуживали быть записанными.

**
*

И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя домами, в которую Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то его спилили, кому-то оно мешало, затемняло. Мемориальной доски нет. Впрочем, на доме, где жил Л. Н. Толстой и К. Г. Паустовский, тоже нет.

Андреевский спуск — лучшая улица Киева. На мой взгляд. Крутая, извилистая, булыжная. Новых домов нет. Один только. А так — одно-двухэтажные. Этот район города, говорят, не будут трогать. Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лест-

ницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися грамофончиками, именуемыми здесь «кручеными панычами», с развешенными простынями и одеялами, с собаками, с петухами. Над бывшими лавчонками, превратившимися теперь в нормальные «коммуналки», кое-где изпод облупившейся краски выглядывают еще старые надписи. Это Гончарные, Кожемяцкие, Дегтярные, когда-то район ремесленников...

Это и есть Киев прошлого, увы, минуемый альбомами, открытками, маршрутами туристских бюро — напрасно, ох, как напрасно.

Если спуститься по Андреевскому спуску вниз и свернуть направо, попадешь на единственную сохранившуюся на Подоле после пожара 1811 года Покровскую улицу с Покровской церковью и Nikolay-Dobrym, с уютными ампириными особнячками, которых становится все меньше и меньше. А свернешь налево — попадешь во Фроловский монастырь.

Это один из двух киевских женских монастырей. Очень чисто, прибрано, подметено, сияет новой краской. Монахини все в черном, неприветливые, на тебя не глядящие. В церкви расписано все заново. Херувимы, серафимы, архангелы и очень, очень много румяных, благодетельных святых. На подмостях двое молодых ребят, измазанных краской — не из Художественного ли института?

Был когда-то в Киеве и мужской монастырь — Киево-Печерская Лавра. Еще совсем недавно тебя водили по пещерам словоохотливые монахи, вступавшие в дискуссии с молодыми атеистами. В пещерах было темно и жутковато, освещалось все тонюсенькими восковыми свечками, которые ты приобретал у входа в пещеры. В пещерах покоились мощи святых отцов и великомучеников — Нестора Летописца, Ильи Муромца, святого Кукши. Под стеклом маленькие, ссохшиеся ручки.

Сейчас все это залито ярким электрическим светом. Вместо монахов — бойкие, незадерживающиеся экскурсоводы, над местами захоронений — таблички: «Кости молодого человека, приписываемые церковниками якобы св. Вирсанавию». В специальном музее у входа в пещеры те же мумии и объяснения, почему они мумифицировались — в этих местах такая, мол, почва. И если и вас здесь захоронят, вы тоже сохранитесь на многие-многие годы.

Печерск — самая высокая часть города. Подол — самая низкая. В сильное половодье его даже заливают. В 1932 году вода дошла до самой Александровской улицы и нас, студентов, освободили даже от занятий, чтобы что-то выкачивать. Разъезжая по затопленным улицам на хлюпающих плоскодонках, мы казались себе гондольерами на Канале-Гранде.

Подол — это свой особый мир. Как и все сейчас, он, конечно, нивелировался. О, Одесса — уже не та Одесса, говорят старые одесситы. И Подол — уже не тот Подол. Не те базары, не та торговля, не тот Днепр... Но все-таки здесь больше тельняшек, «крабов», «морских волков». Здесь своя речь, свои повадки, свои обычаи. И, конечно же, именно поэтому здесь жил А. Куприн. Много бы он здесь уже не узнал, но, наверное бы, пил пиво с Акимом Петровичем Меньшиковым, днепровским капитаном, умершим только в прошлом году на 108 году жизни.

Да, Днепр уже не тот, нет плотов, снуют «ракеты», «кометы». А были плоты. Еще совсем недавно были. С будками, баграми, развешенным бельем, с лающими собаками, дымящимися над огнем котелками. С них прыгали, под них ныряли. Сейчас их нет. Плотины, шлюзы...

Подол, в отличие от Старого города, совсем плоский. Но за Житним базаром опять горы. Олеговская, например, или Мирная окунет вас опять в стихию двориков и садов. Здесь же старое Щекавицкое клад-

бище, запущенное, заброшенное, заросшее, покосившиеся кресты, тишина, покой и только где-то высоко в небе — жаворонок.

По этим кладбищам, по этим улочкам только и бродить. Весной сирень, море сирени, заборы от нее валятся. Черемуха, жасмин... Не добрался еще сюда город со своими башнями и панельными домами.

Так, садами, садами, огородами по булыжной мостовой попадаем мы с вами на Лукьяновку.

Лукьяновка. Вера Чибиряк. Дело Бейлиса...

Бабий Яр. Черные дни Киева.

**
*

Небольшой холмик цветов. Венки. Большие, маленькие, средние, просто букеты цветов. На венках ленты с надписями: «Отцу, матери, деду — от сыновей, дочери, внуков». «Детям, которым не суждено было стать взрослыми». «Жертвам фашистских палачей».

Под венками — его сейчас не видно — серый, гранитный камень. На нем написано, что здесь будет сооружен памятник. Вокруг лужайка — трава, елочки, березки, очень чисто, прибрано. За камнем роща, от камня к дороге — дорожка из бетонных плит, несколько ступенек, два столба с прожекторами.

Мимо по асфальту проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес «остановка троллейбуса Щербаковский универмаг». По другую сторону новая телевизионная мачта. За асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону тоже.

Сейчас Яра нет. Он замыт. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет назад этой дороги

не было. А был глубокий, до пятидесяти метров Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Куреневки. Это была окраина Киева — Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.

Тридцать лет назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления о том, что «все жидаы города Киева должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и прочим».

Ни заглавия, ни подписи на серых афишках не было.

Развешены они были по всему городу.

Моя мать тоже читала. У нее было много друзей евреев. Она ходила по этим друзьям и упрашивала, умоляла их никуда не ходить. Бежать, скрыться, хотя бы у нее.

Мне непонятна магия этого объявления. Считали почему-то, что евреев стонят в гетто. Или увозят куда-то. Куда? Не важно, куда-то...

Никто из маминых знакомых не послушался ее. Пошли. Мама их провожала. Лизу Александровну, маленькую, большеглазую еврейку и ее родителей стариков. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...

Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть — это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться — там было убито

до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.

Бабий Яр — это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди покрепче, помоложе, и не только евреи, нашли здесь свой удел уже позже — немцам понравился этот Яр.

Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставляли военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь.

Потом овраг замыли.

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбу, сдерживавшую намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте прорыва — широкая автомобильная дорога, где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.

Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом и зимой. Мы тоже положим свой букетик. Каждый год, 29 сентября сюда приходят люди с венками и цветами.

**
*

...Так трогательно-идиллически заканчивался мой рассказ о Бабьем Яре в рукописи, отнесенной в «Новый мир».

Да, до 1966-го все, действительно, происходило так — приходили, плакали и разбрасывали вокруг себя цветы. Венков никаких — куда их положить, куда прислонить? Ни памятника, ни обелиска — кругом кустарник, бурьян.

С сентября 1966-го все приняло иной вид. Появился камень. Серый, полированный гранит с надписью, отредактированной и утвержденной всеми положенными инстанциями, гласящий, что на месте расстрела «советских граждан в период временной немецко-фашистской оккупации 1941 - 1943 гг.» будет сооружен памятник. И теперь каждый год в день 29 сентября («День памяти жертв временной немецко-фашистской оккупации») возле камня воздвигается трибуна и с нее секретарь Шевченковского райкома партии произносит речь, в основном, посвященную достижениям вверенного ему района в области строительства и выполнения плана в разных областях. Потом выступают несколько передовиков производства и среди них обязательно один еврейской национальности (просто еврей — теперь не положено говорить) и рассказывает о зверствах сионистов в Израиле. Потом исполняется гимн и митинг объявляется закрытым. Вот тут-то и появляются люди с цветами и венками. Но возложить их не так-то просто. Милиция и дублирующая ее когорта в штатском тщательно проверяют надписи на венках и, если что-либо вызывает подозрение («А на каком языке у вас написано? Переведите.»), к услугам несущих эти венки молодых людей стоящие неподалеку «воронки». Людей постарше и с маленькими букетами двойное оцепление пропускает беспрепятственно. Ну, может, кое-кого и сфотографируют...

Вот так происходит сейчас — организовано и четко, даже с заметкой на четвертой странице «Вечернего Киева».

Что же послужило толчком к тому, что появился вдруг камень, а рядом с ним раз в год и трибуна, охраняемая не менее чем сотней людей, для этого созданных во главе с майорами, полковниками, а возможно, даже и генералами.

А случилось так, что одному из них, точнее, начальнику Киевской милиции в 1966 г. вклеили выго-

вор за то, что он, потеряв положенную ему бдительность, допустил массовое сионистское собрание в этом замкнутом и недозабываемом Бабьем Яру.

До злополучного 1966-го года все шло чужаком, без всяких эксцессов. В первые послевоенные годы задачи были и поважнее Бабьего Яра, только какие-то темные личности ползали по его дну в поисках то ли бриллиантов, то ли золотых коронок («с документами, деньгами, ценностями...»). Потом — просто свалка. Покосившийся столбик с лаконичной надписью: «Мусор сваливать строго воспрещается, штраф 300 руб.» ничуть не мешал окрестным жителям избавляться от ненужных им старых кроватей, консервных банок и прочего хлама. Потом Яр замыли. Кажется, можно было бы о нем и не вспоминать. Так нет, в один прекрасный день 1966-го года собралась здесь многотысячная толпа (двадцать пятая, мол, годовщина!) и несколько человек, среди них один даже коммунист, обратились к этой толпе с речами, нигде не проверенными, нигде не утвержденными. Коммунистом этим был я. Поэтому могу со всей точностью восстановить картину происшедшего.

Речь моя, действительно, никем не проверялась. Родилась она на месте, среди плачущих и рыдающих людей. И вообще это была не речь, просто захотелось сказать несколько слов о том, чего нельзя забывать, о случившемся здесь 25 лет назад, о том, что на этом месте, конечно же, будет памятник, не может не быть.

Говорил в тот день и Иван Дзюба, человек, о котором в двух словах не скажешь — писатель, умница, из тех, кто никого не боится, а поэтому и нелюбимый начальством всех сортов. Одна из наиболее ярких фигур Украины 60-х годов.

Его речь, на мой взгляд, это образец того истинного интернационализма, за который потом Дзюбе досталось (5 лет лишения свободы!), хотя в обвинениях

против него он стал именоваться «украинским буржуазным националистом».

Начал он со слов: «Есть предметы, есть трагедии, перед безмерностью которых любое слово бессильно и о которых больше скажет молчание — великое молчание тысяч людей. Может быть, и нам подобало бы тут обойтись без слов и молча думать об одном и том же. Однако молчание много говорит только там, где все, что можно сказать, уже сказано. Когда же сказано еще далеко не все, когда еще ничего не сказано — тогда молчание становится сообщником неправды и несвободы. Поэтому мы говорим, и должны говорить, где можно и где нельзя, используя всякий из случаев, которые представляются нам так нечасто.

И я хочу сказать несколько слов — одну тысячную часть из того, о чем сегодня думаю и что мне хотелось бы тут сказать. Я хочу обратиться к вам как к людям — как к своим братьям по человечеству. Я хочу обратиться к вам, евреям, как украинец — как член украинской нации, которой я с гордостью принадлежу.

Бабий Яр — это трагедия всего человечества, но произошла она на украинской земле. И поэтому украинец не имеет права забывать о ней так же, как и еврей. Бабий Яр — это наша общая трагедия, трагедия прежде всего еврейского и украинского народов».

И закончил словами:

«Мы должны всей своей жизнью отрицать цивилизованное человеконенавистничество и общественное хамство. Ничего более важного, чем это, сейчас для нас нет, ибо иначе все общественные идеалы утратят свой смысл.

Это наш долг перед миллионами жертв деспотизма, это наш долг перед лучшими людьми украинского и еврейского народов, которые призывали к взаимопониманию и дружбе, это наш долг перед украинской

землей, на которой нам вместе жить, это наш долг перед человечеством».

Так закончил свою речь Дзюба. А вскоре появилась милиция и вежливо попросила всех разойтись. Не за эту ли вежливость и досталось потом начальнику милиции? Между прочим, кроме него, не поздоровилось еще и другому человеку, сном и духом не ведавшему о происшедшем, — директору киностудии документальных фильмов. Несколько моих друзей из этой самой студии на «сионистском сборище» присутствовали и даже попытались кое-что зафиксировать на киноплёнку. У них тут же ее отобрали. А директора сняли с работы.

Меня же, коммуниста, вызвали на партбюро... Бог ты мой, сколько раз вспоминали мне потом этот Бабий Яр. И у бесчисленных партследователей, с которыми свела меня судьба, и на парткомиссиях, и на бюро райкомов, горкомов, обкомов... «Расскажите, что у вас там произошло, в Бабьем Яру!» А ничего не произошло, просто я сделал то, что должны были сделать вы — райкомы, горкомы, ЦК — в день 25-летия гибели ста тысяч, как вы теперь говорите, «советских граждан», прийти и сказать то, что вместо вас сказал я — будет здесь памятник! — что сказал Дзюба — пора положить конец этой позорной вражде. Вы не пришли — не захотели, забыли — пришли и сказали мы...

Через две недели после «сборища» на месте расстрела появился камень, тот самый, что и по сию пору стоит и, думаю, простоят еще многие, многие годы.

Приблизительно тогда же (будем объективны) кому-то наверху стало все-таки неловко и решено было объявить конкурс на «памятники жертвам фашизма», в том числе в Дарнице, где был лагерь для военнопленных, и в Бабьем Яру.

Я видел представленные на конкурсе проекты.

В условиях к нему было сказано, что монументы

должны художественным образом отражать героизм, непреклонную волю, мужество, бесстрашие наших людей перед лицом смерти от рук немецких палачей, должны показать зверское лицо гитлеровских захватчиков, а также должны выражать всенародную скорбь о тысячах незаметных героев.

Принимай я участие в этом конкурсе и прочитай эти условия, я, откровенно говоря, стал бы в тупик. Я не говорю в данном случае о Дарницком памятнике, я говорю именно о Бабьем Яре — это памятник трагедии. Памятник в Варшавском гетто — памятник восстанию, борьбе и гибели, в Дарнице — зверски расстрелянным солдатам, бойцам, людям, попавшим в плен, сражаясь, людям в основном молодым, сильным. Бабий же Яр — это трагедия беспомощных, старых.

Я не случайно упомянул слово «трагедия». И подчеркнул его. Вполне сознательно.

Многие из участников конкурса пошли по пути выражения протеста. «Нет! — говорят их памятники. — Это не должно повториться! Это не может повториться!» Перед нами группа расстреливаемых со сжатыми кулаками и воздетыми к небу руками, матери и прижавшиеся к ним дети, и опять руки, вытянутые вперед — не допустим! Перед нами кричащие все то же «нет» головы. Довольно! Хватит крови!

Но, как ни странно, стоя перед этими памятниками, начинаешь чувствовать какое-то смятение, неловкость. Кажется, что тебе кричат: «Нет!», что тебе не подпускают. И ты пятишься назад... Тебе страшно.

Вот и хорошо, что страшно, возразят мне, здесь и дела были страшные. Согласен, страшные, но нельзя все же забывать, что здесь, кроме того, и кладбище, а на кладбище как-то не положено кричать, хочется сосредоточиться, уйти в себя, подумать, вспомнить.

И вообще, я не хочу, чтобы мне подсказывали эмоции. Они должны возникнуть сами.

Я просмотрел около тридцати проектов. Передо

мною прошли символы и аллегории, протестующие женщины, вполне реалистичные, полуголые мускулистые мужчины и фигуры более условные, и вереницы идущих на казнь людей... Я увидел лестницы, стилобаты, мозаику, знамена, колючую проволоку, отпечатки ног... Увидел много талантливого, сделанного сердцем и душой (это, пожалуй, один из интереснейших конкурсов, которые я видел), и мне стало вдруг ясно: места наибольших трагедий не требуют слов. Дословная символика бледнеет перед самими событиями, аллегория бессильна.

Мне, пришедшему сюда поклониться праху погибших, не надо рассказывать, как эти люди умирали. Мне все известно. И кричать тоже не надо. Я сам знаю, где и когда надо крикнуть. Я просто хочу прийти и положить цветы на братскую могилу, и молча, в одиночестве постоять над ней.

Я видел много памятников жертвам фашизма. Плохих и хороших. Кричащих и безмолвных. Но ни один не произвел на меня такого впечатления, как памятник в Треблинке. Там только камни. Сотни, тысячи камней. Разной величины и формы. Острые, тупые, оббитые, покосившиеся. Одни камни. Точно выросшие сквозь землю. Мороз проходит по коже...

Ближе всего к тому, о чем я говорю, что сам для себя пытаюсь решить, приближается проект памятника неизвестных авторов под девизом «Черный треугольник»: две исполинские призмы, одна чуть-чуть наклонившаяся к другой. Больше ничего. Я не могу объяснить сейчас в силу чего — а может быть, это и есть самое главное, — но я вдруг представил себя у подножья этих возвышающихся над всей местностью призм-долменов, услышал, как они, лишенные дара речи, кричат мне о чем-то страшном и незабываемом.

А может, и не кричат, а говорят шепотом. А может, это я сам кому-то говорю:

Остановись и склони голову.

Здесь расстреляны были люди.
Сто тысяч.
Руками фашистов.
Первый залп был дан 29 сентября 1941.

**
*

Нет, не надо памятника!

Лучший памятник — нынешний камень. В нем есть все — и тридцатилетнее забвение, и скромность, и длинная, лишенная каких-либо эмоций, заштампованная газетная надпись, и обещание («будет памятник, куда вы торопитесь?..»), и никакого крика и экзальтации, а главное, — есть куда положить цветы. Положить и молча постоять...

А в Дарнице — трое здоровенных парней, полуголые, сплошные мускулы, полны гнева и ненависти. Непонятно только, почему они, такие сильные и сытые, не порвали свои путы и не ринулись на немцев. Да от таких ребят весь конвой разбежался бы по кустам.

**
*

И еще одна трагедия.

Может быть, даже более страшная, чем смерть. Надругательство над ней. Дикое, постыдное, ужасное, непонятное...

Я иду по тенистой аллее. Тихо, пустынно, шуршат под ногами листья. А кругом... Кругом тысячи, десятки тысяч поверженных, разбитых, исковерканных памятников...

Старое еврейское кладбище...

Сворачиваю в другую аллею, третью, четвертую... Та же картина. Многотонные гранитные, мраморные памятники в пыли, в осколках. Маленькие овальные портреты разбиты ударом камня. И так на протяжении... Не знаю, что сказать. Все памятники, все до

единого, уничтожены. А их тут и не сочтешь. Пятьдесят, сто тысяч... Город мертвых. В мавзолеях, склепах содран мрамор, на стенах надписи — лучше не читать...

Известно, что немцы в порыве слепой злобы уничтожили центральную аллею. На остальные не хватило сил и желания. Остальное совершено потом.

Кем?

Никто не знает или молчат.

Пьяное хулиганье? Но оно, вооружившись, допустим, ломami и молотками, могло справиться с десятком-другим памятников. Они сделаны добротнo, на века, на свинцовом растворе.

Нет, это не хулиганье. Это работа планомерная, сознательная. С применением техники. Без бульдозера или трактора, а то и танка, не обойдешься.

Иду дальше... Хоть бы один сохранился. Нет — все! И на дне оврага груды осколков. Но поленились подтащить и сбросить. За день, за два этого не сделаешь. Недели, месяцы...

И не в пустыне. В городе. Совсем рядом троллейбус, а в конце улицы Герцена (Герцена!), в полукилометре от кладбища, дача, в которой жил Хрущев...

Все это я обнаружил в конце пятидесятых годов. Случайно, гуляя... И онемел. Никто ничего мне об этом не говорил. А вот прошли годы. И у скольких людей там были похоронены отцы и деды. Значит, сюда приходили. И не только приходили. Некоторые из памятников, немного, может быть сотня или две, были зацементированы в поверженном, лежащем положении, чтоб больше не сбивали...

Никто об этом не говорит. Молчат. Я спросил у жильцов домика при входе на кладбище. Возможно, бывшие сторожа. «Не знаем, не знаем... Ничего не знаем...» И глаза в сторону.

Я задаю себе вопрос. В сотый, тысячный раз. Кто они? Кто разрешил? Кто дал указание? Кто испол-

нил? И сколько их было? И когда они это совершили? И откуда эта лютая злоба, ненависть, хамство? Или наоборот — спокойный, хладнокровный расчет: сегодня — отсюда досюда, завтра — отсюда до того вот памятника, к 20-му чтоб было закончено...

И все это во второй половине XX века, в славном городе Киеве, на глазах у всех...

Я побывал там сейчас. Перед самым отъездом. Через 15 лет... Заросло кустарником. Поверженные памятники куда-то вывезены. Но не все. То тут, то там белеют среди бурьяна и зарослей недобитые пьедесталы, ступени, обломки мрамора и лабрадора.

И бульдозеры. Скрежеща и урча, пробивают на месте главной аллеи куда-то дорогу... Людей нету. Пусто. Мертво... И страшно.

**
*

Пожалуй, лучше всего бродить одному, где бы это ни было. В Киеве, Москве, Париже, Самарканде. Тогда-то и рождаются в голове какие-то мысли, мысли, которые никак не получают туда доступа в другое время, в другом месте. Что-то вдруг придумывается, рождается, разрешаются конфликты твоих героев, не решавшиеся, когда ты сидел с карандашом в руке. Это — когда ты бродишь один по знакомым тебе местам. А незнакомые, впервые увиденные улицы, кроме всего остального, возбуждают еще какие-то параллели, ассоциации, сравнения.

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно. Улицы прямые, пустынные, какие-то глухие стены. Хороши только верхние этажи небоскребов. Эмпайр-стейт-билдинг — он первый, освещенный восходящим солнцем. Пытался выходить к Гудзону, но всегда напарывался на какие-то бесконечные заборы с гро-

мадными буквами и тощих, пугливых кошек. В Сен-трал-парке тоже скучно, а на Вашингтон-сквер, где собирается молодежь, хотя и не скучно, но это уже не прогулка, а нечто другое, и кончается она обязательно кафе или рестораном.

Один только раз мне удалось хорошо побродить. Я шел ночью по пустому Бродвею. Рекламы горели, но людей не было. Даже ни одного пьяного я не встретил, что, правда, в Нью-Йорке явление редкое. Иногда проносились машины, безмолвные, темные.

Дойдя до нашего сколько-то там этажного «Говернор-Клинтон-отеля», я поднялся в лифте почему-то на самый верх и каким-то чудом оказался на крыше отеля. Какая-то дверь, лестница и вдруг — крыша. Никто меня не задерживал.

Нью-Йорк спал. Или делал вид, что спит. Светились окна только в небоскребе редакции «Нью-Йоркер», неподалеку от нас, светились ущелья улиц и красные фонари Эмпайр-стейт-билдинга. И факел на статуе Свободы — маленькая мигающая точка. Было зябко — конец ноября.

И вдруг я увидел нечто необыкновенное. Гнездо аиста. Самое настоящее гнездо аиста у высокого, затянутого решеткой парапета. Сначала я даже не поверил. Я был уверен, что аисты — это наша украинско-среднеазиатская прерогатива. Ну, может быть, еще в Африке, Индии, Японии они водятся. Но там скорее цапли. А тут настоящее «лелекино» гнездо, как на соломенной «стрихе» полтавской хаты. Большое, метра полтора, из веток, все честь-честью. И в нем яйцо. Одно-единственное яйцо — большое, белое, такое одинокое. Бывает же такое... Я положил его в карман.

Я вспомнил это гнездо потом, в Бухаре, сидя у прозрачного, как в Тадж-Махале, бассейна Лаби-Хауз, в котором отражалась древняя мечеть и совсем такое же гнездо на верхушке столетнего тополя.

Аистиха сидела на яйцах, а может, уже и цыплята вылупились, и изредка поглядывала на нас, сидящих внизу за обязательным пловом с зеленым чаем. И я подумал: хорошо тебе, бухарская аистиха, взмахнула крыльями и полетела за кормом для своих детенышей. А нью-йоркской? Куда та летала за обедом? В Сентрал-парк?

В Бухаре этих гнезд несметное количество. На всех без исключения минаретах. И на куполах мечетей. И на тополях. Их не меньше, чем телевизиорных антенн, оцетинивших собой весь этот бело-глиняный, сказочный, точно из сказок Шехерезады, город.

Я много бродил по Бухаре. Тесные, кривые улочки как будто похожи одна на другую, но в каждой из них свои особые старухи, старички, чумазая ребятня. И вдруг улица эта упирается во двор, вросший в землю тысячелетней мечети. И под сенью чинары сидят бородатые старики в чалмах и что-то едят или чем-то торгуют. А рядом чего-то ищет в расселинах меж древних плит меланхоличный ишачок. «Салям», — говорю я старикам, и те тоже говорят «салям». Я подсаживаюсь к ним, и они угощают меня дыней, полутораметровой бухарской дыней. И мы молча сидим в тени чинары под бирюзовым азиатским небом, и я разглядываю красивый орнамент арабской вязи на зеленых изразцах входа в мечеть, и спрашиваю стариков, что там написано. Они не понимают меня — я их, но слово «аллах» я все-таки улавливаю.

Мне жаль, что только старики еще могут разобратъ эти надписи. Они так красивы. Мне жаль, что нынешняя молодежь редко читает Коран. Коран — это не только скрижаль ислама, это великое искусство, это история народа.

Не мне судить, нужно ли было менять орфографию в республиках Средней Азии (в Грузии и Армении она сохранилась), но то, что арабский шрифт — шрифт, которым писали Улугбек и Навои, из кото-

рого сотканы неправдоподобно прекрасные узоры мавзолеев Шах-и-зинда в Самарканде, Гур-Эмира, Биби-Ханум, Регистана — что эта вязь сама по себе произведение искусства — это ясно, по-моему, каждому.

Неизвестно для чего я поведал все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами — хоп, хоп, хоп...

Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник — ветер был пронизывающий, — я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка — Вулворт — и так и не нашел его, и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я там оказался — не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот, Пэна-Стейшн, как его называют нью-йоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей.

Громадный, с уходящими ввысь сводами, уснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст. Ни души. Ни носильщика, ни полицейского, не говоря уже о пассажирах. Я поклонялся по безлюдным, гулким залам, наткнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму — просто так, чтоб получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежнейшего хлеба с куском мяса, непонятного мне происхождения.

Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя и пия неизвестные мне кушанья, я удивлялся тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» или «Липш», «Лила», «Де маго»,

«Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо»... Там-то они взяли бутылку «флери» или «сансерра» и закусывали «кассонэ» — рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «марсала» или «бона» и ели плоские дорогие устрицы «маренн» вместо обычных, дешевых «портьез», или вермут «шамбери касси» с толстыми сосисками «сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве у входа в Ближние Лаврские пещеры на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей, и вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно, человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно, со знанием дела поесть, — это для меня теперь ясно.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэйских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побачив торчащу в вас з кармана газету «Українські щоденні вісті», от і все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное

яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед, — аїстине яйце... Відкіля воно у вас?

Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та й на хмарочосі...

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки и ее будущего птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завиніть його в щось тепле, і ось побачите, в Москві у вас запищить щось в чемодані. Їй бо...

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в западном полушарии, но он хорошо помнит, что когда был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привез домой. Когда раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком (мне все-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогало, и теперь, глядя на на-

ших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «свое» нью-йоркское гнездо.



Пена-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных мною тем — вокзальную. Я с детства равнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам semaфоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать, ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Манэ.

Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!». Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде, чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному ходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архи-

текторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен был быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обрамив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нем было не ахти как много, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого Мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашел середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуйста, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты без исключения, но поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь» на двадцать восьмые сутки, разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Все это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи, и внутри,

— и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с 45-метровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далекой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг трогательными незабудками.

Потом леса сняли и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобожденных от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время все было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, без всяких украшений — XX век...

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддавался — только стекла повывлетали и кое-где закоптилась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили...

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Все, что есть безвкусного, лишнего какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звездочками, в залах

ожидания на стенах производственно-идиллические пейзажи, вместо светящихся плафонов — тяжелые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какой-то ресторан на берегу Днепра. Дружбы у нас не получилось. Александр Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаюсь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннолицый, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-проекте, который нужно сделать не выходя из аудитории за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и неплохо, не мне судить, но до аспирантуры надо все-таки малость восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектно бюро, а потом милости просим».

С горя я напился и устроился в газету.

**
*

Когда во Франции меня спрашивают, какие газеты я читаю, ожидая, что я скажу «Le Monde» или, на худой конец, «Quotidien de Paris», я огорашиваю кратким: «Ici-Paris»... Ну и «France-Dimanche». Парижане шокированы. Самые пошлые, бульварные листки, чтиво для консьержек, и вдруг...

Да, вдруг...

Парижанам невдомек, что такое «Правда». А нам после постной сухомятки так хочется убийств, ограб-

лений, прелюбодеяний, любовных походов кинозвезд и экзотических принцесс.

В Женеве меня попросили выступить на семинаре русского факультета. Тема — «Журналистика в СССР». Как человек объективный я рассказал об «Отделе писем» советских газет, отделе, в основном, консультативном и, действительно, много помогающем «трудящимся» в борьбе с житейски-бытовыми сложностями и безобразиями. Я имел касательство к одному из таких отделов и знаю, как много они могут сделать. Но если говорить о прямом назначении газеты — об информации... Ох и доставалось мне в свое время от итальянских газетчиков-коммунистов за наши газеты. «Правда» для них должна служить примером, но как этому примеру следовать?

В Женеве я предложил студентам такую игру. Пусть кто-нибудь сбегает на угол за «Правдой» (в Женеве она продается), а я тем временем расскажу примерное ее содержание.

— Итак, — начал я, выпроводив студента, — на первой полосе вверху справа будет несколько улыбающихся физиономий в касках. Что точно и на сколько процентов они перевыполнили план, сказать точно не могу, но что рекорд поставили — ручаюсь! Внизу справа — сообщение о дружеской встрече (с фотографией или без, в зависимости от ранга и значения гостя) на Внуковском аэродроме. Если высокий гость в этот день не ожидается — приветствие Живкову или Кадару, или еще кому-нибудь с очередным юбилеем и обязательными пожеланиями «крепкого здоровья, новых больших успехов в Вашей деятельности на благо трудящихся... республики, во имя торжества мира и социализма». Слева передовица — «К еще большому...», «К дальнейшему увеличению...», «В закрома родины...», «Глубже вникать...». Кроме корректоров, дежурного по номеру и еще десятка-двух лиц никем не читается. Внутренность газеты — 2-я, 3-я,

4-я страницы тоже, в основном, пропускаются. Задержимся на пятой — международная информация и шестой — спорт, искусство, погода, телевидение.

Пятая — слева сверху «Вести из стран социализма» — улыбающиеся лица, на этот раз венгра или поляка (текст не читается), справа «колонка комментатора» (не читается никогда), посредине доводящая до колик от смеха карикатура Абрамова или Фомичева — залатанный, печальный английский лев или маленькие, брызгающие слюной человечки (Би-Би-Си, Радио Свобода), или еще что-нибудь в этом роде о НАТО, инфляции или безработице. Справа «С теле-тайпной ленты» — землетрясения, катастрофы, наводнения и опять же рост безработицы (если не читается, то просматривается). Как правило, читаются три маленькие колонки внизу — про раскопки, пигмеев, истребление тигров или слонов, кражу картин в музеях, полет на воздушном шаре или «Через Атлантику на плоту». На этой же странице обычно и «достойные отповеди» — ответы «небезызвестному» или «печальной памяти» «с позволения сказать» журналисту «махровому», если он уже очень допек или «которого никак не обвинишь в симпатиях к Советскому Союзу», если что-нибудь похвалил. Основные козыри в этой, условно назовем ее полемике, кавычки, обрубленные цитаты и насмерть разящее «ошибаетесь, господа! не выйдет!» (слова «господин», «госпожа» — Голда Меир! — почему-то считаются особенно разоблачительными). Кончается статья, как правило, обязательным: «комментарии, как говорится, излишни». Оппонент сражен, валяется в пыли...

О шестой странице говорить нечего, кроме того, что она единственно читаемая — футбольно-хоккейные баталии, шахматы, что-нибудь о природе, балете и обязательная идиллическая фотография (фото-конкурс «Правды») в стиле дореволюционной «Нивы» — закат, вечереет, весенние мотивы. Дальше — радио,

телевидение, театры (кино нет, это в «Вечёрке»), погода.

Принесли «Правду».

Признаюсь, испытал некоторое разочарование. Ребята в касках не улыбаются, а просто стоят на извивающихся трубах гигантского высоковольтного агрегата... И никто на Внуковский аэродром с дружеским визитом не прибыл. Наоборот, «Нерушимая братская дружба» крепнет и развивается на трибуне в Берлине — улыбаются на этот раз Брежнев и Громыко, Гречко мрачен. Зато поздравление товарищу Петру Ярошевичу есть: «В нашей стране высоко ценят ваш большой личный вклад в дело укрепления...» С передовицей тоже не угадал. Оказалось «Отчетно-выборные партийные собрания», но «хлеб — родине» все же есть, рядом заметка.

На пятой странице вместо поляков или венгров улыбаются болгарки — уборка фруктов в аграрно-промышленном комплексе Камча Варненского округа. У М. Абрамова на карикатуре — угадал — человечки, но не Би-Би-Си, а неофашисты в виде пауков с бомбами, гранатами, пистолетами и кинжалами. Тут уж не до смеха — просто страшно. «Новости науки и техники» — о потухших звездах. Достойной отповеди, какой-нибудь «У лжи короткие ноги», увы, нет.

А вот шестая страница в чем-то побила даже рекорд. В заметке «Жил Мишка на заставе» прапорщик В. Смирнов рассказывает поистине интереснейшую историю. Историю о медвежонке, который отбился от мамы и поселился у пограничников. Вот о его жизни, о том, как подружился он с поваром младшим сержантом Борисом Кирьяшиным, как тот разнообразил ему меню — со сгущенки перешел на свежую рыбу, гречневую кашу и остатки компота, как мишук гонял по двору насмерть перепуганного поросенка и дружил с заставским котом Васькой и о том, как пришлось с ним расстаться, и поведал читателям

«Правды» милый прапорщик Смирнов. От последних строчек наворачиваются слезы на глаза: «Его отвели в лес, сняли ошейник. Мишка смотрел на удаляющихся людей и шумно вздыхал, еще не понимая, почему его оставили одного...»

Надо добавить, что в «Правде», не в пример «Le Monde», не говоря уже о «New York Times», всего 6 страниц, в стране издаются миллионными тиражами «Пионеры», «Звездочки», «Вожатые», юные читатели которых очень любят читать про приبلудных мишек, лисичек и лосят, про то, как они дружат с котом Васькой и мл. сержантом Борисом Кирьяшиным.

На этой же странице, вместо балета, статья, посвященная юбилею видного поэта. Массив его поэзии, как сказано в статье, видится крупно... «Гуманистический смысл социалистической революции как необходимая предпосылка и основа для распрямления человеческой личности, для расцвета людей и народов, искусство, как память и совесть человечества, незаменимое и важное для тех, кто социально обновляет мир. Орудие борьбы за интернационализм, за торжество гуманности — подлинной, активной, возвышающей человека — обо всем этом размышляет, в эти проблемы углубляется, к ним приобщает, ими заражает нас муза поэта».

Прорвавшись сквозь это чудовищное нагромождение чепухи, не знаешь, смеяться или плакать? Как могла родиться такая фраза, такой пассаж? Что руководило автором этих строк? Восторг и экстатическое преклонение перед поэтом или утонченное издевательство? Смею утверждать — ни то, ни другое, а самое обыкновенное безразличие плюс набитая рука. Представляю себе разговор редактора с автором статьи. «Надо, старик, тиснуть юбилейную статейку об Н. Н. Наверху сказали, — палец в потолок, — преподнести, как надо. А ты умеешь, не жалея слов и

превосходных степеней. Подпусти фимиамчику, всякого там гуманизма, творческого накала, широты диапазона, ну, сам знаешь...» Не сомневаюсь, окажись поэт не юбиляром, а наоборот, «буржуазным националистом» (а юбиляр в свое время чуть-чуть им не оказался) или просто «подпевалой чужих идей» тот же автор, с той же лихостью, тот же пассаж, начинающийся со слов «Гуманистический смысл» и кончающийся «за торжество гуманности», завершил бы словами: «Все это чуждо, враждебно поэту, его муза не заражает, не вдохновляет, массив его поэзии ничтожен, пространство ее мелко и узко. Советскому читателю она не нужна, он давно перерос и обогнал ее».

Я хорошо знаю этого поэта и, если не дружил, то был, во всяком случае, в приятельских отношениях, на Новый год получал поздравительные открытки. Ни первый набор слов, ни второй, придуманный мною, но в свое время весьма вероятный и возможный, к истинному творчеству поэта не имеют никакого отношения. Судьба его, поэтическая и гражданская, не легка (я хотел написать сначала «сложна», потом «проста», но остановился даже не на «тяжела», хотя, вероятно, надо было сказать именно так) — это судьба советского интеллигента, избравшего служение не народу, а власти предрержащим. Одно время он и сам был этой властью. Занимая высокий пост, всегда мог оказаться в краях не столь отдаленных. Искреннее расположение (действительно искреннее) к нему одного авторитетного лица избавило его от печальной участи — а он был уже на краю. О музе его говорить не будем — она часто меняла туалеты, а случалось, оставалась и без них. Гражданская его муза — на миг предположим, что есть и такая, — мало отличалась от поэтической. Я помню, как в тяжелые дни «космополитизма» он сначала защищал своего друга (вернее, не нападал на него), а потом, после соответствующего внушения, отрекся от него, что не помешало им остаться

друзьями — одна из особенностей дружб в тоталитарном государстве.

А в общем мне этих людей жалко. Господи, до чего им хочется сохранить приличный вид, как важно им сидеть на председательском месте (и хочется и колется, боязно с ним расстаться) и в то же время дружить с Пабло Нерудой или Ренато Гуттузо. Впрочем, и тем тоже хочется дружить, хотя нашему надо отчитываться во всех своих заграничных поездках, а тем нет — захотел в Израиль и поехал в Израиль, или на худой конец, в Париж послом.

Знал я и другого поэта, очень крупного, но не в пример предыдущему, честного и порядочного. Более того, он действительно служил — нет, не хочется мне говорить «народу» — это понятие слишком растяжимое, неуловимое, используемое всеми режимами, в особенности диктаторскими, — не хочется говорить и «служил», просто был человек, веривший в правду и пытавшийся в меру своих сил помочь ей. И вот для него — члена ЦК и депутата Верховного Совета — очень важны были эти иллюзорные знаки избранности и расставаться с ними (а это случалось) было для него более чем болезненно.

Писатель и государство, писатель и народ, писатель и цирковое искусство (в частности, эквилибристика, баланс, жонглирование) — все это темы, которых не миновать, но сейчас, коснувшись газеты, поговорим о ней обстоятельнее.

Та, в которой я проработал два с половиной года, с 1944-го по 1947 — «Радянське мистецтво» (по-русски «Советское искусство»), выходила раз в неделю, «высокой» политики, кроме общих, положенных в передовице фраз, не касалась, а потому особенно типичной я б ее не назвал. К тому же редактор наш был, хотя и важен, но ленив и все перепоручал своему заместителю, человеку живому, веселому, умному, умевшему

найти общий язык со своими подчиненными. Да и время — конец войны, начало мира — было полегче.

И все же не обходилось и без курьезов. Как-то я понес председателю комитета по делам искусств (главный редактор был болен) статейку о том, над чем работают сейчас художники Украины. Статейка как статейка — тот о войне, тот о восстановлении, тот портреты передовиков, индустриальные пейзажи. Председатель пробежал глазами статью, одобрительно кивая головой, но в одном месте что-то вычеркнул и надписал сверху. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в картине одного достаточно известного художника «Н. С. Хрущев в гостях у шахтеров Донбасса» фамилия Хрущева была заменена Кагановичем. Я вопросительно глянул на своего начальника. «Газеты надо читать, молодой человек. Со вчерашнего дня первым секретарем у нас Лазарь Моисеевич». — «Да, — несколько растерялся я, — но художник, ведь...» — «Ничего, переделает...» И самое забавное, действительно переделал.

Не менее забавен и очень типичен другой случай. На этот раз не из моей, а из «творческой» биографии моего друга, работавшего в центральной республиканской газете. На летучке или планерке обсуждалась последняя пьеса Александра Корнейчука, мэтра и законодателя всей советской драматургии. Два сотрудника, из наиболее интеллигентных и культурных (вдруг почему-то их прорвало), очень тонко, с юмором расправились с пьесой, а заодно и со спектаклем. Мой друг, тогда еще неопит и в театральных делах не очень-то разбиравшийся, встал горой за пьесу — она ему, действительно, понравилась. Культурно-интеллигентные сотрудники высмеяли и моего друга. Наутро он обнаружил в газете статью этих самых двух насмешников — пьесу они оценили как крупнейший вклад в советскую драматургию, а спектакль — как победу театра. Мой друг не верил своим глазам. «Диа-

лектика, — как ни в чем не бывало усмехнулись насмешники. — А ты учись, в газете и не то бывает...»

Но лучше всего, по-моему, охарактеризовал советскую прессу другой мой друг, полный юмора и сарказма. Как-то, взглянув то ли на «Правду», то ли на «Известия», он сказал: «Не понимаю, к чему этот устарелый лозунг там, наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Я бы поставил другой, куда более определяющий сущность газеты: «Не твое собачье дело!»

Не твое собачье дело! Что дают, то и жри. Люди поумнее тебя делают газету. И все давно к этому привыкли. И к нечитаемым передовицам, и к пропускаемым статьям, и к отсутствию серьезных, действительно что-то комментирующих комментаторов, или просто к отсутствию их (читай коммюнике, сам разбейся!), к умению замалчивать то, о чем говорит вся мировая пресса (Уотергейтское дело, например), или преподносить факты в совершенно искаженном виде (ближневосточные войны), а в общем-то к удивительной, обретшей все формы профессионализма, дезинформации. Я не говорю уже о критике каких-либо действий правительства — это начисто исключено. Немыслим и шарж, даже дружеский, на кого-либо из членов правительства (учитесь, учитесь, французские газеты, что вы со своим Жискаром делаете...). За всю свою сознательную жизнь я могу припомнить один только случай, когда в лакейски-шутливой форме изображен был в газете Хрущев. Он отправлялся на «Балтике», роскошном турбозлектроходе в Нью-Йорк на сессию ООН и изображен был в виде капитана у штурвала. Вокруг сияли всякие «миры» и «дружбы», а в волнах барахтались излюбленные пигмеи Уолл-Стрита и Пентагона... Больше не припомню. Кажется, только в двадцатых годах появлялся на страницах «Крокодила» Ленин, но и это более чем отдаленно можно было назвать карикатурой. Да что

карикатуру, просто фотографию в неустановленном, неутвержденном ракурсе дать нельзя — только с этой точки, слева Брежнев (до этого Хрущев), справа Садат (до этого Насер), посредине стол с нарзаном и наточенными карандашами. А мавзолеей только фронтально и чтоб все поместились — в горошинках этих и не поймешь, кто — кто. Того же Брежнева или Косыгина, снятого западными корреспондентами, пошли ты их по почте, не пропустят — чего это у него рот раскрыт, несолидно.

Привыкли!

И я привык... Читаю газеты с десятилетнего возраста. Помню еще греко-турецкую войну, Вашингтонскую конференцию по морскому разоружению, нескончаемый поток Борисефимовских Чемберленов (помню одну из, очевидно, последних карикатур на въевшегося в наши печенки «незадачливого» премьера — Борис Ефимов стоит на коленях, держит в руках очередную челюсть и монокль сэра Остина и подпись: «Прости, читатель, опять Чемберлена нарисовал!»), помню «Пролетарскую Правду» на синей бумаге (я бегал ее читать, вывешенную на каменной стене возле университета), помню и рождение первой киевской «Вечёрки» — но это уже позже.

На моих глазах советская пресса из агитационной (полулживой еще) превратилась в тенденциозную (насквозь лживую), из читаемой (ленинградская «Красная Газета») в просматриваемую. При мне еще были такие фельетонисты с собственным (относительно, конечно) лицом, как Сосновский, Зорин, Заславский, Мих. Кольцов. На моих глазах все деградировало и превратилось в то, что мы имели в сталинские годы и имеем сейчас — уныло-призывно-лозунговое, тянущее на зевоту.

И вот, несмотря на все это, — скуку, серость, штампы, повторяемые газетами всех союзных и автономных республик, одним словом, «не твое собачье

дело», — газеты раскупают, подписываются на них (коммунисты в порядке партийной дисциплины, после на партбюро неподписавшихся стыдят и укоряют) и, как ни странно, читают, сердятся, когда газета опаздывает. Конечно, какая-нибудь «Литературка» или «Советский спорт» (самая читаемая газета, как и журнал «Здоровье» или «Работница» — выкройки) несколько отличаются от «Правды» — бывают даже интересные статьи и разборы — но «Правда» считается образцом, святым писанием и критиковать ее или даже не соглашаться с чем-то в ней не разрешается, упаси Бог. Именно поэтому (забавно, но что поделаешь) подшивки старой «Правды» в спецхранах библиотек выдают только по специальному разрешению — ведь «отдельные допущенные ошибки» допускались не партией и не ее центральным органом, а ты там вдруг прочтешь то, что тебе сегодня не положено.

Не положено! Не положено читать, не положено видеть, не положено слышать, короче — не положено знать!

**
*

Незадолго до моего отъезда за границу я был приглашен к ответственному секретарю Союза писателей Украины. Десять лет тому назад он был вторым секретарем Ленинского райкома, и мы встречались с ним довольно часто по поводу моих «партийных дел». Тогда молодой, довольно бойкий человек, он пытался в чем-то меня уговаривать и даже как будто симпатизировал мне, что не мешало ему проголосовать за мое исключение. Сейчас это был разжиревший, очень поважневший чиновник (основанием для его приема в Союз писателей оказался какой-то его очерк о поездке в Непал), пригласивший меня не столько интересуясь моими делами (впрочем, конечно, и интересуясь), а в основном, чтоб подготовить почву для моего исключения (без «беседы» некрасиво). Беседа была бессмысленная, а с моей стороны

даже агрессивная. Я спросил его, к слову, читал ли он Солженицына. Он замялся — кое-что читал. Что значит кое-что? Ивана Денисовича? Он вроде как утвердительно кивнул головой. Ну, а «Раковый корпус», «В круге первом»? В ответ что-то неопределенное. Когда же я спросил об «Архипелаге ГУЛаг», он, не дослушав, выпалил: «Конечно, нет, что вы. Я антисоветчины не читаю!» Сколько не пытался я убедить его, что нельзя, просто неприлично, ему, руководителю Союза, не ознакомиться (при полной возможности и безнаказанности) с книгой, о которой столько сейчас говорят и пишут, он только мотал головой. «Нет, нет, антисоветчину я не читаю...» До сих пор не могу понять, где он врал, где говорил правду.

Не положено! Не положено читать, видеть, слышать! Не положено знать!

Моего следователя, виноват, следователя по особо важным делам полковника Старостина больше всего интересовало, почему я читаю (храню!) антисоветские издания. Высокий, седой, приторно вежливый, с псевдоинтеллигентной, улыбающейся (кроме тех случаев, когда он не улыбался, а не улыбался он в моменты, когда ему казалось, что он припер меня к стенке) физиономией, весь в планках и юбилейных значках, встречал меня всегда подчеркнуто любезно, прикладывая руку к сердцу: «Как здоровье уважаемой Галины Викторовны и неведомой мне, но говорят прелестной, Джульки?» (Джулька — это собака). Потом делал гостеприимное движение в сторону моего стула: «Что ж? Продолжим нашу работу?» И мы продолжали нашу работу, длившуюся шесть дней, с утра до позднего вечера, с перерывом на обед. Все это происходило в его кабинете Комитета Госбезопасности на знаменитой Короленко, 33.

Возле него, на столе слева, высилась стопка изъятых у меня во время обыска «материалов» — он приносил их, уносил, приносил новые.

— Рукопись неизвестного автора, отпечатанная на пишущей машинке, через два интервала, на белой, нелинованой бумаге. Так? Так. Страниц — одну минуточку — раз, два, три, четыре — четыре неполных страницы, — все это диктуется стенографистке, потом ласково-улыбчатый взгляд в мою сторону: — С какой целью эта рукопись хранилась у вас?

Я отвечал, стараясь быть разнообразным в своих ответах, что-то забыв, что-то припоминая, на что-то отвечая быстро и четко. Мне казалось тогда, что я отвечаю умно, правильно, не вызывая сомнения в правоте моих ответов, тем не менее, основное чувство, которое я тогда испытывал — это был стыд. Стыдно, что вдаешься в подробности, в чем-то оправдываешься, что вообще отвечаешь, а главное, пытаешься показать, что все это тебе нипочем. В перерывах, во время перекуров, мы говорили о посторонних вещах, например, о том, что он отдыхал когда-то с Твардовским и играл с ним в шахматы, и я тоже что-то говорил о Твардовском и вообще можно было подумать, что мы с моим полковником тоже разыграем сейчас партию-другую.

От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор. Немолодой человек, писатель, должен доказывать, что он имеет право читать книги. И еще объяснять, почему та или другая книга его интересует...

— Ну зачем вам вся эта антисоветская макулатура? — возмущался он, указывая на солидные стопки «Paris Match», «Express», «Observateur», — что здесь может быть интересного?

И я, как дурак, пытался объяснять, что это журналы, которые во Франции читают все, от рабочего до министра, и что не вижу никакого криминала, ну и т. д.

Кстати, среди изъятых (потом, правда, возвращенных) материалов были «Беседы преподобного Серафима Саровского» издания 1878 г., альбомчик фо-

тографий помпейских фресок (в протоколе значилось — «порнографический альбом») и расписка моей домработницы, что она получила такую-то сумму в счет чего-то.

В протоколе обыска, длившегося 42 часа, насчитывалось 60 страниц со ста пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический скальпель моей матери — врача — холодное оружие!

Каждый раз, возвращаясь с допроса, я спрашивал себя — зачем все это затеяно, с какой целью? Неужели они, действительно, думают, что у меня можно найти что-то такое, что может принести вред государству? Зачем забрали магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат?

Ответ я получил через неделю, в субботу.

За большим столом большого кабинета сидел красивый, с черными небольшими усами, хитроглазый, улыбающийся человек в штатском, лет пятидесяти или около этого. Генерал. Второй по значению чин КГБ Украины.

При моем появлении встал. Предложил папиросы. Несколько минут разговор шел о качестве табака, о кашле, о том, что пора бросать. Улыбка не сходила с его уст. От курева перешли к литературе. Мои заслуги в этой области оцениваются очень высоко. «В окопах Сталинграда» — лучшая книга о войне. И, наконец, начало серьезного разговора. Как же так это получилось — все та же улыбка — что из окопов Сталинграда я перебрался вдруг в окопы холодной войны? Вопрос достаточно ясный. Из дальнейшего выясняется, что сейчас, в период обострившейся идеологической борьбы (не могу припомнить, было ли когда-нибудь время, когда она притуплялась?), всем нам, а таким людям, как я, в особенности, нужно четко и недвусмысленно определить, по какую сторону баррикад они находятся. Вот, пожалуйста, — крупнейшие академики, писатели, деятели культуры не скры-

вают своего возмущения по поводу кое-каких действий кое-каких лиц (имя Сахарова и Солженицына за все время разговора ни разу не упоминалось). Так вот — все в ваших руках. Любая газета, сами понимаете, с удовольствием предоставит вам свои страницы. После паузы разговор переносится на то, что я, вероятно, устал (последняя неделя была все-таки, вероятно, утомительной?), что не мешало бы мне поехать куда-нибудь, отдохнуть (вы, кажется, поклонник Коктебеля?), а заодно и поработать... А потом наш товарищ к вам подъедет... И опять пауза... Подлиннее предыдущей. «А то, знаете ли, — улыбка на минуту исчезла, потом опять появляется, — найденного у вас во время обыска вполне достаточно, чтоб ваш образ жизни несколько изменился, — хитрые глаза на секунду становятся серьезными. — В соседней комнате сидят двое молодых людей, которые сразу могут это исполнить, скажи я им только слово...»

Но слово так и не было сказано, очевидно, решено было, что еще рано. И все же это были не самые приятные минуты в моей жизни.

— Подумайте, подумайте, — сказал он мне на прощанье. — Очень нам бы помогли, — и крепкое, мужское рукопожатие.

Вот такой вот разговор. Я изложил суть, выжимку — посредине были и фронтовые воспоминания, и примеры из жизни, и легкое мое хвастовство — мол, стреляный-перестреляный, немцы от меня были в 60-ти метрах в Сталинграде, — но суть была ясна, все в моих руках.

На следующий день он позвонил по телефону (я сразу не узнал и в трубке услышал укоризненное: «Так быстро забыть, а я-то думал...») и спросил, в каких издательствах или редакции лежат мои рукописи. И дальше, со смешком: «Надеюсь, ничего антисоветского в них нет? Ну, что ж, может, и поможем как-нибудь...»

Через день мы с женой были уже в Кривом Роге, у детей — отдохнуть, действительно, не мешало.

**
*

Февраль был теплый, мягкий, почти без снега. Я слонялся по улицам малознакомого мне города и все думал о том, как постепенно отчуждаюсь от своего родного и, как мне казалось, любимого Киева.

Когда-то, проходя по той или иной улице, слоняясь по дорожкам Мариинского или Царского сада, я вспоминал — вот здесь я впервые прошелся под ручку с девушкой, а здесь, на мосту над Петровской аллеей, впервые поцеловался, а здесь купил первую поллитровку, первую пачку папирос... А теперь? Прорезная, ныне Свердлова, на всю жизнь будет памятна мне визитами к милейшему моему полковнику Старостину, а симпатичная лестница в конце Ирининской — возвращениями от него, а здесь, в подземном переходе у Бессарабки, меня схватили под локотки два милиционера и через полчаса я оказался в вытрезвителе, хотя трезв был как стеклышко. А в другом переходе, у Почтамта, я как-то завел игру с «мальчишками», следовавшими за мной по пятам. Откровенно говоря, я, то ли по рассеянности, то ли по легкомыслию, никогда их не замечаю. Но Витя, сын моей жены, верный мой друг, засекает их сразу. «Поглядите на того. Факт. Наш!!!» И, действительно, оказывается «нашим». Так вот, однажды, дикий ливень загнал меня с Витькой и тремя «нашими» в подземный переход. И захотелось мне, из озорства что ли, познакомиться с ними поближе. Подошел к одному из них — он рассматривал у продавщицы открыток виды Киева — и так, более или менее в пространство, стал сетовать на качество открыток, мол, не умеют у нас еще делать. «Наш» даже головы не повернул. Подошел к другому, в плаще, жующему пирожок.

Прошелся по качеству пирожков. Та же реакция, как изваяние. Подошел и к третьему. В руках у него был зонтик, и здесь я совсем обнаглел, обратился прямо к нему. «Что ж это, — говорю, — другим вашим ребятам зонтиков не выдают? Или это ваш собственный?» Хозяин зонтика даже бровью не повел... Дождь чуть-чуть утих, и мы с Витей, прыгая через лужи, помчались к «Гастроному». Влетая в магазин, я обернулся. Раскрыв зонтик, наш милый друг скакал через лужи к тому же «Гастроному».

Раньше я этим не интересовался, а теперь вот задумался — кто они такие, эти «мальчики», откуда их вербуют, чему учат, кем они мечтают стать, если вообще о чем-нибудь мечтают? Вид у них сверхординарный — очевидно, так задумано. И одеты нарочито серо, незаметно, что, кстати, на фоне нынешней достаточно пестро одетой молодежи сразу выделяет их. Как правило, в пиджаках, какая бы ни была жара — очевидно, необходимы внутренние карманы для миниатюрных радиопередатчиков. Работают грубо и неумело. Впрочем, я до сих пор не понимаю, какова их цель — следить за каждым нашим шагом или давить на нашу психику — учти, мы здесь, рядом, не сводим с тебя глаз. К слову сказать, с глазами у них дело плохо. То зыркнет, то отведет в сторону, то делает вид, что ты ему совсем неинтересен, то фиксирует тебя, как фотокамера, спрятавшись за деревом. С боковым зрением у всех у них дело обстоит неважно.

Интересует меня и другая категория людей, эти уже постарше, лет 30-35-ти — тех, что проводят обыск. У меня их было семеро, не считая двух так называемых понятых. Вежливость и обходительность их просто поразительны. Чем-то они напоминают молодых людей из бюро «Добрых услуг». Так же возятся с картинами, статуэтками, смахивают пыль со шкафов. «Галина Викторовна, дайте тряпочку, я заодно уже вытру...» или «Я иду в «Гастроном», может вам

яичек или колбасы?» Но трогательнее всего было с Булгаковым. Я вспомнил, что именно в этот день, в четверг, мне назначено было зайти в «Лавку писателей» за однотомником Булгакова. Я попросил у старшего разрешения позвонить по телефону (подходить к телефону не разрешалось, и сами они на звонки тоже не подходили. «Что вы, Виктор Платонович, — удивился даже старший, — мы это мигом! Витя, одна нога здесь, другая там. Дайте ему записку, он сейчас принесет». Через десять минут однотомик был в моих руках.

Ну как это все назовешь? Новая инструкция, новый стиль? Или другая, более культурная категория обыскивающих? Надо было только видеть, как они запечатывали семь громадных мешков с изъятыми «материалами» — подкладывали газеты, упаси Бог, чтоб не накапать сургучом на пол...

Уходя (это было в третьем часу ночи, на вторые сутки), они прощались с нами, как старые друзья после новогодней встречи (это кто-то из них так сострил... Еще острит), а один из Вить (все они были Витями, кроме одного, Владимира Ильича) с извиняющейся интонацией сказал: «Не сердитесь на нас, такая работа...» Я не выдержал и съязвил: «Можно было выбрать и другую».

Обо всем этом я думал, шлепая по талому криворожскому снегу, о том, как все отдаляется и отдаляется от меня, как все более чужим и враждебным становится для меня город, в котором я прожил почти всю свою жизнь, который любил и которым гордился. На место старых, милых, уютных картинок «детства, отрочества и юности» выплыли новые, куда менее милые и уютные.

...Николаевский парк, парк моего детства... По тем же дорожкам, по которым я бегал то ли индейцем, то ли кем-то из «сыщиков и разбойников», я уже «маститым» прохаживался, вроде как и друзья, и вел

«беседу» с тем самым секретарем Ленинского райкома, который стал вдруг писателем, беседовал о том, каким должен быть настоящий коммунист — это была его работа, за нее он получал не такой уж малый оклад. (Кстати, один из моих приятелей, ныне сидящий, как-то не вытерпев непрекращающейся слезки, обернулся и спросил у своего «мальчика»: «Слушай, сколько ты за это получаешь?» Тот, не сморгнув глазом, ответил: «Сто шестьдесят рублей».)

Пушкинская улица... В этом длинном трехэтажном с двумя парадными доме была гимназия Сороковой, и я в ней учился. Через пятьдесят лет в одной из ее аудиторий, ныне кабинете редактора журнала «Радуга», десятка полтора моих «единомышленников по партии» во главе с туповатым генералом, Героем Советского Союза, «прорабатывали» меня за очередные ошибки.

А чуть дальше, минуя бульвар, — Театр русской драмы. Здесь я три года учился в студии и изображал на сцене «3-го мужика» или «4-го горожанина» в пьесе Тренева «Пугачевщина». На этом вот крылечке у входа в артистические уборные мы летом, в бородах своих и зипунах, курили и без конца точили языки... Но на это воспоминание напластовалось уже другое — парадное соседнего шестизэтажного дома, в которое, когда я заходил (а там жил мой друг, с которым мы встретимся и будем обсуждать недавние киевские события под сводами Нотр-Дам), всегда обнаруживал лениво слоняющегося у телефонной будки того самого, получающего 160 руб. в месяц...

Трехсвятительская (ныне на этом отрезке Десятинная) улица. В самом ее начале, налево во дворе, жил Сережа Доманский, У него по вечерам мы собирались и за круглым, черным столом со свечой (для таинственности) читали друг другу свои литературные опусы, которым в подметки не годились все эти печатающиеся, современные авторы. Иногда, когда

надоедало, занимались росписью стен и пола сюрреалистическими или, как тогда говорили, супрематическими портретами и пейзажами. Теперь, проходя мимо этого двора, я поворачиваю голову не только налево, но и направо — там заслоняет небеса громадное, все в циклопических колоннах здание Обкома Партии, где меня дважды исключали и на второй раз исключили-таки из партии. Там милая и даже симпатизировавшая мне Елена Яковлевна, двенадцать лет тому назад просто инструктор, а десять лет спустя уже Председатель Парткомиссии, учила меня уму-разуму и удивлялась тому, что я давно не перечитывал Ленина («Как? В тяжелые минуты своей жизни я всегда обращаюсь за советом к Владимиру Ильичу...»).

Днепр... Пожалуй, только Днепр не осквернен позднейшими наслоениями. Впрочем, и тут, валяясь на животе на песочке и разглядывая с левого берега силуэт Киева — видишь, как небрежно к нему относятся. Среди весело разбросанных в густой зелени златоверхих колоколен и куполов Лавры и Выдубецкого монастыря затесались холодные, сухие параллелепипеды высотных зданий, и сразу померк, лишился седой своей былинности один из красивейших ландшафтов в мире.

Но это только цветочки, ягодки еще впереди. Не без дрожи вспоминаю я рассказ одного моего знакомого о том, как встречен был аплодисментами всего нашего украинского руководства проект прославления «города-героя», предложенный ныне покойным скульптором Вучетичем. Стометровая золоченая фигура Родины-матери со щитом и мечом в руках (на два метра выше Лаврской колокольни, во как!) и десятка два тридцатиметровых героев и героинь бесславной обороны должны взмыть к небу на холме у моста Патона и размахом, и масштабом побить собственный рекорд на Мамаевом кургане в Сталинграде...

Этот второй удар (Сталинградская Мать-Родина

стоит как раз на месте «моих» окопов, на передовой 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии, полковым инженером которого я имел честь состоять), этот второй удар я не перенесу. Одна надежда на то, что автор проекта переселился в лучший из миров, а без его феноменальной пробивной силы никому не удастся выторговать те десятки и сотни миллионов рублей, которые стоит это чудовищное, золоченое нагромождение мускулов и безвкусицы. Вряд ли состояние нашего бюджета позволит тратить такие суммы на осквернение нашей столицы.

**
*

Эти строки писались 2-го февраля 1975 года — в 32-ю годовщину разгрома немцев в Сталинграде. За два дня до этого, 31-го января, капитулировала южная группировка во главе с Паулюсом, в этот же день — северная.

Дни стояли солнечные, яркие, морозные. Вереницы пленных, в длинных шинелях, закутанные в одеяла, с громадными мешками за плечами (Господи, чего только в них не было, даже альбомы с коллекциями марок) стекались к Волге. Появились первые беженцы — на детских саночках, с жалким скарбом и детишками возвращались к несуществующим своим жилищам. Мальчишки уже ползали по пушкам и подбитым танкам.

Бои, если уже не бушевавшие, а догоравшие в развалинах, откатились куда-то далеко на запад. Только веселые автоматные трели выпивших победителей нарушали неожиданную, неправдоподобную тишину города.

Война в Сталинграде кончилась!

Пьяный Чумак на последней странице «В окопах Сталинграда» спрашивает пьяного Керженцева:

— Почему так вышло? А? Помнишь, как долбали

нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

Я задаю себе этот же вопрос сейчас, тридцать два года спустя. Почему не вышло?

Существует прелестный, возможно и придуманный, но тем не менее прелестный, рассказ одного известного актера о его беседе с маршалом Тимошенко. Ехали они куда-то вместе в поезде. Естественно — выпили. И тут рассказчик спрашивает у маршала:

— Скажите, товарищ маршал, как же это вышло в 41-м году, когда немцы уже вплотную подошли к Москве? Еще шаг и... и вот, не взяли.

Маршал посмотрел на актера:

— А чёрт его знает!

(В рассказе маршал высказался более определенно).

Заговорили потом о Ленинграде, Сталинграде, Курской дуге, и на все был один ответ:

— А чёрт его знает!

Наутро маршал пришел в себя, ополоснулся, опохмелился и доверительно наклонился к рассказчику:

— Слушай, я вчера, кажется, наговорил чего-то лишнего... Забудь!

Было это или не было, трудно сказать, но для меня, как и для маршала, Москва, Ленинград и Сталинград, в котором я провоевал пять с половиной месяцев, все же остаются загадками.

Москвичи, пережившие день 16-го октября 1941 года, говорят, что город можно было взять голыми руками. Трагические слова Левитана по радио, что «положение создалось угрожающее» и остановившееся внезапно метро, до последнего момента работавшее, как часовой механизм, — деморализовали окончательно. Начался исход, сжигали бумаги, партбилеты, выбрасывали сочинения Ленина и Сталина — город был

готов... Немцы остановились у Химок и дальше не пошли.

Мой друг, оборонявший Ленинград, говорил мне — «Были дни, когда немцы могли, перешагнув через наши спящие тела, без единого выстрела войти в город».

В Сталинграде немцы не смогли спихнуть в Волгу дивизию Родимцева, глубина обороны которой была двести метров...

В сентябре, октябре превосходство немцев было подавляющим. Авиация их господствовала в небе. Пополнение мы получали из одних сопливых детей, стариков, да не говорящих по-русски узбеков. Инженерное оборудование — курам на смех: несколько десятков противотанковых и противопехотных мин, Сираль Бруно да МЗП — малозаметное препятствие. В батальонах сорок активных штыков казались уже роскошью.

В тридцатую годовщину разгрома немцев я выступал по Сталинградскому телевидению. Озаренный лучами прожекторов, я сидел в кресле в полукилометре от своей бывшей передовой, а ныне — размахивающей мечом 80-ти метровой Матери-Родины.

— Расскажите, как вы воевали в те дни, — сказали мне.

Я начал было об этих самых минах и Бруно, о том, что лопат не хватало, воровали друг у друга, но меня перебили:

— Об этом не надо. Лучше о героизме...

Милейшим людям со Сталинградского телевидения невдомек было — и это через тридцать-то лет! — что в этом и был героизм — ничего нет, а стояли. И выстояли...

Впрочем, и Гитлер со всем своим генералитетом чего-то не додумал. Ведь город, как таковой, фактически был взят. Вокзал, весь центр, на юг почти до Сарепты, на север до завода Метиз. Осталось несколько вцепившихся в руины заводов и на Мамаевом кур-

гане дивизий — плюнь на них и закрепи оборону — Сталинград, мол, взят, займись другими фронтами...

Но я не стратег. Я, как маршал — чёрт его знает...

**
*

И все же город, по которому интереснее, веселее, легче и в то же время утомительнее всего бродить — это Париж. Это хорошо знали Хемингуэй и Маяковский (впрочем, и многие другие). Первый не зря отождествлял его с «праздником, который всегда с тобой», а второй хотел «жить и умереть в Париже», хотя и предпочитал Москву.

Перечитайте хемингуэевскую «Фиесту» или хотя бы тот же «Праздник, который всегда с тобой», и вы увидите, с каким наслаждением он просто перечисляет улицы, по которым ходит. «Я прошел мимо лица Генриха Четвертого, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Мишель, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель» («Праздник...»), или: «...вышел и, повернув направо, пересек улицу Рени, чтоб избежать искушения выпить кофе у «Де маго», дошел по улице Бонапарта до улицы Гименэ, потом до улицы Ассас и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери де Ли́ла» (там же). Или: «Мы свернули с площади Контрэскарп и пошли, узкими переулками, между высокими старинными домами. Мы вышли на улицу дю-По-Дефер и шли по ней до улицы Сен-Жак и потом пошли к югу, мимо Валь де Грасс, и вдоль железной ограды кладбища. Вернулись на бульвар дю Пор-Рояль... Мы пошли по бульвару дю Пор-Рояль, пока он не перешел в Бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери де Ли́ла», ресторана «Лавинь», «Дамуа» и всех маленьких кафе, пересекли улицу против Ротон-

ды, и мимо его огней и столиков — в кафе «Селект» (Фиеста). Ну и так далее.

И мне, когда я читаю, тоже приятно, и кажется, что я тоже иду по улице Бонапарт, минуя Сен-Жермен-де-Прэ и, свернув налево по улице Жанэт, захожу к Мишо. Хэм уже там поджидает Фицджеральда Скотта. Я подсаживаюсь к нему.

— Что будем пить?

— Я взял фин-а-л'о, — говорит он. — Здесь всегда приличный коньяк. Заказать вам?

— Спасибо.

Он подзывает Жана, с которым в приятельских отношениях, и, кроме выпивки, просит принести еще две порции турндо.

— Это говяжье филе, — поясняет он, — завернутое наподобие рулета. Тут его превосходно делают.

Потом мы едим турндо, действительно отличное, и говорим о Джойсе, который тоже тут часто бывает, и слабостях Фицджеральда Скотта, который вот-вот должен прийти.

Вот так-то. В кафе Мишо, на углу Святых Отцов и Жакоб. Маленькое уютное кафе, где в 1925 году бывали Джойс и Хэм, и Фицджеральд Скотт, и многие, многие другие.

И в «Липп» я тоже бывал, это на Бульваре Сен-Жермен, напротив «Кафе де Флор». Туда тоже заходил в свое время Хэм и пил там кагор, разбавленный водой. А я зашел с двумя журналистами из «Радио Люксембург», а потом перешел через улицу в «Кафе де Флор» и встретил там Вильяма Клейна, знаменитого фотографа, впоследствии и кинорежиссера, и мы пили с ним холодное пиво «биер альзасьен» и закусывали креветками. Потом он повел меня в свою мастерскую и показывал свои новые работы — он увлекся сейчас живописью, состоявшей из одних переплетающихся между собой букв.

— L'art d'horreur, — пояснил он, — искусство ужасов.

Из букв составляются слова, а я их уже не воспринимаю. Особенно, когда вижу. Я уже давно не читаю газет и не слушаю радио. Как могут работать корректоры и дикторы? Как их не рвет...

Мы возвращаемся в «Липп» и застаем там, кроме двух журналистов из «Радио Люксембург», еще корреспондента газеты «Последние новости».

Корреспондент показывает последний номер газеты и говорит мне: «Тут и про вас кое-что есть». Это, оказывается, репортаж о моем выступлении в Музее Гимэ, в клубе «Жар-Птица», где я говорил о выставке в Манеже (это было в 1962 году), о том, какие там идут дискуссии и споры и как молодежь сцепляется с догматами.

— А мы во Франции, — сказал улыбаясь Вильям Клейн, — любим все из ряда вон выходящее и больше всего боимся набившего оскомину. Пикассо спасает только его возраст, а то его давно считали бы банальным, повторяющим собственные зады.

Так зашел разговор о традиции и новаторстве, как окрестили бы его в какой-нибудь из наших газет, разговор, продолжавшийся в «Де Маго» и так и не закончившийся где-то уже в районе Пантеона.

В Киеве, когда мы собираемся идти куда-нибудь гулять, мы старательно обходим Крещатик — там слишком много знакомых. В Париже, если ты даже не Хемингуэй и не пишешь статей в «Франс-суар», но если прожил там хотя бы две недели, рассчитывать на одиночество в квадрате Сена — Рю де Рен — Люксембург — Рю Сен Жак — вряд ли возможно. Там всегда кого-нибудь встретишь и осядешь в каком-нибудь кафе после обязательного предложения: «а не выпить ли нам по стаканчику..?»

Относительное одиночество и спокойствие можно обрести на острове Сен-Луи, прилепившемся к ниж-

ней окончечности Ситэ. Там всего две набережные, одна продольная улица, восемь поперечных и симпатичная старая церковь Сен-Луи-он-Лиль. Дома там все старые, там все тесно и уютно, а кафе, хоть их и меньше, такие же, как и в остальном Париже, только народу пожиже. Оттуда недалеко до площади Бастилии и маленькой очаровательной площади Вогезов — пляс де Вож. Квадратная, застроенная трехэтажными старинными домами, с крутыми черепичными крышами, она чем-то напоминает Львовскую площадь «Рынок», но вместо ратуши-горсовета, там посредине уютный сквер, где можно даже посидеть, и, никого не боясь, почитать даже книжку.

Генрих IV сказал: «Париж стóит обедни», а кто-то перефразировал: «Если б не было Парижа, его надо было бы придумать», орловский помещик Тургенев до последних дней жизни не мог с ним расстаться, а Паустовский, когда мы были с ним в Париже, сказал: «Вы знаете, у меня здесь даже астма проходит», а парижский воздух, увы, далеко не коктейбельский.

Спор о традиции и новаторстве, начавшийся в кафе «Липп» и так и не закончившийся у Пантеона, мог произойти где угодно, но в Париже он принял свою окраску. Все свелось в конце концов к нему самому.

— Париж — лучший город в мире, потому что он терпит все, кроме безвкусицы, — сказал кто-то из нас.

— И Марк Шагал может расписать плафон Гранд-Опера, не боясь, что его четвертуют...

— А муравьед Сальвадора Дали привлекает внимание парижан больше, чем его хозяин...

— И вообще, Париж, что Ноев ковчег, в нем мирно уживается в газетном киоске «Огонек» и «Париматч», а за одним столиком наша компания, которая мирно сосет коктейли, — сказал я, — удивительнейшее сочетание всего — людей, идей, стилей, — и в этом его **лицо**.

— И именно поэтому, очевидно, мы и взяли коктейль как символ некоего смещения вкусов и взглядов, — сказал один из люксембуржцев.

— Но в нем нет водки, — сказал я, — это ущемляет мое национальное достоинство.

— Сейчас исправим ошибку. Гарсон, добавьте в этот стакан немного «Столичной». Или, может, «кальвадоса»? Это французский самогон.

Вместо «Столичной», извинившись, принесли «Московской», и мы, стоя, опустошили свои стаканы за самый небанальный в мире город, в котором можно гулять по улицам с муравьедом на цепочке и даже рисовать карикатуры на самого «месье ле женераль».

Но, условившись завтра в три встретиться в «Куполь» — там я еще не был, мы разошлись по домам. Мой путь был по Сюффло, до Бульвара Сен-Мишель, дальше по Сен-Жермен до улицы Святых Отцов и далее, минуя Мишо, по мосту Карусель, через две арки Лувра к своему Гранд-Отель-дю-Лувр. На мосту я еще немного постоял, глядя в черную воду Сены и думая о том, как бы завтра уединиться и не ходить в «Куполь». Выход был один: запереться в номере и всем говорить, что я работаю. Из этого ничего не вышло — в три часа мне позвонили и сказали, что меня ждут лучшие в мире улитки, бутылка бургундского 1873 года розлива и знакомство с Кордобесом, самым знаменитым в мире матадором. Это меня доконало.

**
*

Вот такой милый, припудренный, полупридуман- ный Париж изобразил я три года тому назад для журнала «Новый мир». Что может быть невиннее? Кафе, улочки, переулочки, давно умерший Хемингуэй, милые тосты... Не тут-то было. Эта крохотная главка, эти сверхдружелюбные тосты повергли всех в ужас. «Да что вы, Виктор Платонович, побойтесь Бога! Что

это за Ноев ковчег, мирно уживающиеся в газетном киоске «Огонек» и «Пари-матч», а за каким-то там столом вы трогательно распиваете коктейли с буржуазными журналистами... Простите, но на нашем советском языке это называется «мирное сосуществование идеологий». Нет, нет, это не пройдет, никто не пропустит!» И мой дружеский тост, а с ним и Парижский Ноев ковчег превратился в вялое, невыразительное «удивительнейшее сочетание людей, идей и стилей»... Вот так-то.

В той же главке, чуть повыше, корреспондент показывает мне последний номер газеты (было «Русской мысли» — вычеркнул) и говорит: «Тут и про вас кое-что есть». И дальше о моем выступлении в клубе «Жар-Птица». Весь последующий абзац был начисто изъят. А посвящен он был той самой заметке в «Русской мысли», заканчивавшейся печально-ироническими словами: «Бедный Некрасов, упиваясь дискуссиями и спорами, он не подозревал, что пока он обо всем этом рассказывал, Хрущев уже громил левых художников в том же Манеже». Бог ты мой, как я сопротивлялся, предлагал сжать, сократить, заменить «громил» на «критиковал», на меня смотрели как на идиота: «Да ну, Виктор Платонович, вы ж не ребенок, сами должны понять... Цензура все равно вычеркнет, зачем задерживать номер!»

А милый старый Марк Шагал? Тоже оказался под угрозой — «расписывает плафон Гранд-Опера, не боясь, что его четвертуют...» Но тут я уперся и ни в какую. Остался.

Как ни странно, но все связанное со «Столичной» и «Московской» прошло без потерь, хотя в свое время именно это выжигалось каленым железом.

Помню, какая баталия развернулась вокруг «злоупотребления спиртным», когда сдавался в печать «Родной город». Совпало это с очередной антиалкогольной кампанией и Твардовский, отнюдь не гнушав-

шийся напитков, потребовал, чтоб я «прошелся» по всей книге «в смысле выпивок». Я уперся. Меня уламывали. Наконец собрались все вместе, вся редколлегия во главе с Александром Трифоновичем и тут-то и началось. Я дрался как лев, как тигр, но я был один, а их пятеро... С грустью и тоской читаю я теперь первую страницу повести, где продавец воды, весело подмигнув герою повести Николаю, говорит:

— С фронта, небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Может, тогда кружечку пивца прикажете?

— Нет, не надо.

— А то хорошее, «жигулевское».

Не было никакого пива! Не было! Было «сто грамм»...

— Может, тогда сто грамм прикажете?

— Нет, не надо.

— Как же это так, фронтовик и не надо?»

Сколько я не убеждал, что к стыду своему, фронтовика, Николай ведь отказался от водки, не выпил, а ведь мог, тогда другой разговор (я невольно, под давлением, начал соглашаться, что пить, именно пить, на первой странице не надо) — меня приперли к стенке, убедили, доказали пять пьющих мужиков, что нельзя. И я, заливаясь слезами, сдался... И так по всей книге — вместо поллитровки четвертинка, вместо четвертинки стопка, вместо стопки — пиво... Кончилось все в уютном подвальчике — Твардовский, хлопнув рукой по рукописи, сказал: «Ну, а теперь, сил больше нет, спустимся в подвальчик, к милой нашей Нине, и компенсируем, так сказать, все, что мы только что выкинули...»

О водка! О проклятое зелье!

Нестершееся в памяти воспоминание о тех днях, когда Твардовский боролся с «моей» водкой в книгах

и отнюдь не с «нашей» в жизни, возбудило во мне — ренегате и изменнике — желание спеть тебе, проклятое зелье, эпिताлему!

Я не могу не спеть ее, т. к. слишком долго и упорно дружил с тобой, повергая в тоску и ужас друзей и знакомых, не могу, т. к. только этим искуплю свою вину перед тобой, если и не забытой, то давно уже отвергнутой. Почему? — другой вопрос. Об изменах трудно писать. Не будем...

С тоской и легким презрением смотрю на людей западной культуры, посасывающих соки, аперитивы и коктейли, пьющих за обедом вино, не знающих счастья «продолжения» (сбегать еще?), муки утреннего похмелья. Они могут часами сидеть за кружкой пива, уткнувшись в газету, или с рюмочкой (фужером?) в руке вести неторопливую беседу. Третьи, считающие себя знатоками «l'âme slave», весело подмигивая, после сытного обеда, сыра и фруктов заявляют вдруг: «а, теперь можно и la vodka!» и пьют ее крошечными глотками, опять же подмигивая «formidable!»

Нет, не для того, не для таких ты создана! Я пил тебя из всех возможных сосудов — из рюмок, стопок, стаканов (граненых и не граненых), из медных и алюминиевых кружек, бритвенных стаканчиков и заворачивающихся от термоса, из тонких, китайского фарфора чашечек и толстых фаянсовых с крышкой пивных кружек, просто из горлышка («с горла будешь?»), а однажды просто сосал губку; пил утром, вечером, днем и ночью; дома, в гостях, на званых ужинах и банкетах, на свадьбах и похоронах; тайно, в ванне, вытаскивая трясушимися руками из «загашника» специально недопитую четвертинку; в подъездах, парадных, пустых дворах, озираясь по сторонам и запивая пивом; в поле, в лесу, в горах, у моря (там-то, на пляже, в Ялте, и произведен был эксперимент с губкой); на пароходе, поезде, автомобиле, самолете; в землянке у раскаленной печурки или прямо на передовой, в

окопе, на корточках, чтоб не сшиб снайпер; в шумной веселой компании, впятером, втроем, вдвоем, один...

И со всей ответственностью могу заявить — лучше всего пить вдвоем! В затхлой атмосфере прокуренной холостяцкой комнаты, закусывая колбасой и огурцом, разложенными на газете.

Говорю со всей ответственностью и знанием дела человека, пившего во дворцах и лучших ресторанах из хрустальных бокалов и тыкавшего вилкой в трепетно-розовую осетрину, распластавшуюся на кузнецовском фарфоре или каком-нибудь другом гарднере...

Нет! Дым столбом, вернее пластами, окурки в блюдечке, колбасу или сыр перочинным ножиком, хлеб отламывается руками и макается в бычки в томате, на дворе ночь, оба сидят в майках и вот тут-то открываются такие глубины и просторы, решаются такой сложности мировые проблемы, распутываются и запутываются такие морские и гордиевы узлы человеческих взаимоотношений, открываются такие чистые, нетронутые уголки и закоулки души, а перспективы так радужны и манящи...

И вот тут-то кончается водка. И нужно — и немедленно — достать, так как самое важное еще не сказано. Самое сложное не распутано, самое сокровенное не приоткрыто, самое трогательное не выдавило еще слезу...

День это или ночь, открыты ли магазины или закрыты, есть деньги или нет — значения не имеет. Открывается и находится и то, и другое — вытряхиваются все карманы всех пиджаков, прощупываются все швы и подолы и — о! трешка! — мятая, забытая, спьяну сунутая трешка, а в пальто под подкладкой сладко звенит еще что-то металлическое и, если не магазин, то ресторан, кафе, вокзал, с заднего хода, через какую-нибудь Светочку или Жанну, или, на худой конец, полупьяного швейцара (о! это ожидание, пока он куда-то уходит, Бог знает сколько времени

пропадает, потом появляется с заветной нашей, завернутой в газету!) — и назад, в дым, табак, плавающие окурки... Если это вокзал или дальний ресторан, какая-нибудь киевская «Лыбедь» или московская «Советская», долго еще бредешь по бульварам, шелестя листьями, футболя пустые бутылки и превращая урны в пылающие жертвенники... В этих прогулках своя прелесть, свои откровения.

Да, вдвоем, вдвоем! Третий или засыпает, или изрыгает на пол непереваренные колбасу и бычки и надо за ним убирать, или — самое худшее — вступает в беседу со своими «постойте, постойте, дайте ж и мне сказать... Был у меня однажды такой случай...» Нет! Не надо третьего! Вдвоем!

А утреннее просыпание. Нет, не на третий или пятый день, когда уже все было — и люди, и музыка, и рестораны, и ненужные девицы — а именно после той ночи, вдвоем, после двух поллитровок и пива, когда ничего внутри не трясется и ты точно знаешь, что Борька или Игорь Александрович вчера получили деньги и что, если к ним придешь... И вот тут-то третий уже не мешает. Он даже нравится тебе. Нравится тем, что неожиданно обрадовался вам, и понимает все, что предшествовало нашему визиту, и действительно, получил вчера деньги и извиняется только, что не успел еще сполоснуть морду, поэтому, ребята, придется вам самим... И мы с радостью и весельем, сжимая в кулаках пятерки, мчимся по лестнице вниз, в «Гастроном», и все приказчицы нам кажутся милыми и хорошенькими, и мы, разбегаясь по отделам, остря и пролезая вне очереди, наполняем «авоську» бутылками, банками и папиросами... Впереди огни!

А было время, забавное, далекое время, когда водку продавали с семи часов (теперь с одиннадцати, а до одиннадцати только через знакомую продавщицу) и существовало бесчисленное количество вариантов утреннего ее распития. С одним из них в те не-

забываемые, радужные времена ознакомил меня Александр Трифонович Твардовский, тот самый, что боролся...

«За мной!», — сказал он в одно прекрасное утро, раскрыв свои бело-голубые глаза, и сразу же вскочив на ноги. — «За мной!» Проехав пол-Москвы на всех видах транспорта (кроме метро — его он не переносил, боялся, что-то его давило), мы оказались где-то возле Киевского вокзала у магазина, вокруг которого, поглядывая на часы — было без пяти семь — разгуливало десятка полтора таких же, как мы, жаждущих. Ровно в семь магазин открылся. Тихо, с шуточками, не толкаясь, каждый взял свое и — «За мной» — мы оказались в очень симпатичном, поленовском московском дворике за длинными, вкопанными в землю столами и, точно с неба, с облаков, спустилась к нам симпатичнейшая бабушка и раздала всем по куску хлеба с солью и по помидору. О, милая бабушка, как ласкова и прекрасна ты была, как кстати ты появилась, раздала свой паек и так же быстренько скрылась, собрав все бутылки... И как мило мы все посидели, перекидываясь двумя-тремя словами, а через полчаса явился вежливый участковый, и мы, не вступая ни в какие пререкания (да они и не предвиделись), так же вежливо, как он пришел, ушли... Ну, не сказка ли, не райские ли времена, кисельные берега, молочные реки? Почти коммунизм...

Да, да, все знаем! Губит организм, разрушает психику, разрушает семью и, вообще, страна спилась — все это нам известно, — но, как говорится, что поделаешь, так уж на Руси заведено и так как выхода нет, давайте сойдемся на знаменитом учении Станиславского: «ищи в дурном хорошее, в хорошем дурное» — лучше, применимо к невоздержанию, не скажешь.

Бог его знает, как это получилось, но получилось. Заговорив о Париже, скатился вдруг к водке. «L'âme

slave», другого объяснения нет. Но ничего, настанет время (я еще слишком молодой француз) и я сложу оду лучшему в мире вину. Мадригал стаканчику бургундского завершит где-нибудь мои воспоминания о родном Киеве. Так искуплю я свою вину перед Парижем.

Но вернемся к нему.

Париж...

**
*

«Ну, как вам Париж?» Бессмысленнейший из всех вопросов, уступающий, может быть, только: «Ну, как жизнь?»

И все же, как мне Париж?

Одна советская деятельница на поприще литературы, вернувшись из Парижа, на следующий день говорила: «Вы знаете, всю ночь не спала, ревела. Так разочаровал меня Париж». Думаю, что эта стерва (не хочется называть фамилии), говорила это не по дурацки (нет, все-таки, таких дураков), а просто, чтоб не потерять возможность поехать туда еще раз.

Что касается меня, то у меня с Парижем свои собственные отношения. Для меня он город, может быть, даже более родной, чем Киев. В нем я впервые стал произносить слова. Французские при том. В нем я лепил свои первые бабки из песка. В нем впервые полюбил солдат (они, тогда еще в красных кепи и шароварах, занимались шагистикой совсем рядом с «нашим» парком Монсури и, конечно же, забавлялись нами во время своих перекуров). В нем я впервые столкнулся с войной — как-то ночью мне показали летающий над городом, озаренный прожекторами, цепелин.

На углу коротышки rue Roli, где мы жили, был малюсенький магазинчик. Там продавали леденцы. Мне давали су (тогда они еще были), и я покупал ле-

денцы. И незаметно прилавок становился все ниже и ниже...

В парке Монсури, в самом центре его, озеро. В нем плавали утки. Я бесконечно радовался им и называл их «les ga-ga». Когда меня повели в зоологический сад, я не обратил внимания ни на слона, ни на жирафу, я искал «les ga-ga». Нашел и был счастлив.

Больше всего я любил бананы. Ел их как-то по-особенному, не обрывая сразу шкурки, а постепенно их отворачивая. Когда мы вернулись в Россию, первые мои слова были: «*Quel sale pays, il n'y a pas des bananes*» — Какая противная страна, в ней нет бананов!

По-видимому, на всю жизнь у меня сохранился некий «фруктовый» критерий при оценке той или другой страны. Газета «Figaro», например, утверждает, что я заявил их корреспонденту: «Свобода? Нет, не это поразило меня в Париже. Обилие фруктов!» Между прочим, этот же корреспондент поведал читателям, что я в свое время был «*protégé de Staline*», членом ЦК КПСС и миллионером в рублях... Но обилие фруктов, действительно, поразило. После московских очередей за апельсинами — как не поразишься.

Итак, наши с Парижем отношения. Зародившиеся еще тогда, до первой мировой войны, я пытаюсь их восстановить сейчас, через пятьдесят лет, полстолетия. И каких полстолетия!

Тогда — пятилетний, круглолицый аккуратный мальчик с локонами, в офицерском костюмчике (сохранилась фотография — на скамейке, в парке Монсури), жующий бананы (бананы жуи!), любитель уток... Теперь — седовласый, длиннолицый, жующий, вернее, сосущий «Gauloise», любитель поваляться на диване, полистать «*Ici-Paris*»... Как восстановить былые отношения? Бананы есть, но нет «пуальо» в красных кеппи, нет зуавов (один из них лежал в мамином Hôpital Stanislas и мы с ним очень дружили), нет ма-

мы, водившей меня в зоопарк посмотреть на слона, но Париж есть. И я в нем. Не турист, не гость, не член делегации. Парижанин. В кармане Carte de sejour и даже чековая книжка в «Banque de Paris et Pays-Bas»...

Я — парижанин. Странный парижанин — с чужим паспортом — серпастым, молоткастым, с чужим языком, с чужими привычками (вскочил в заднюю дверь автобуса и сразу на меня зашипели), с чужими взглядами на жизнь — это преодолеть будет, пожалуй что, труднее всего. И все же я — парижанин. Не надо мчаться в Лувр, на Эйфелеву башню, на place Pigalle. Стадию «витринного обалдения» и массовой закупки открыток давно уже пережил. Могу уже ругать порядки. Не как корреспондент «Литгазеты», а как парижанин. Правда, с московско-киевским оттенком. Фруктов много, а телефонных автоматов мало. В Киеве, в центре, они рядами, через каждые двадцать шагов, а тут от Сен-Мишеля до Одеона — ни одного. Зато на вокзале от них можно спятить (от железнодорожных). Для того, чтоб мне с женой из Фонтенбло, допустим, на денек съездить в Париж (значит, туда и обратно) я должен в эту чертову щель опустить... сорок четыре однофранковых монеты. А если у тебя еще и полтинники (другой автомат, меняющий тебе десятифранковую бумажку, выбрасывает восемь франков и четыре полтинника), то, значит, эту операцию надо проделать 54 раза... Тем временем поезд уходит.

Метро? Вот тут-то я не москвич. Меня ничуть не раздражает ковер невыметаемых желтых метровских билетов на полу и отсутствие «красоты», а к бесконечным переходам быстро привыкаешь (только не на Этуаль. Там кажется, что ты уж никогда на свет Божий не выйдешь, а парижане утверждают, что и сумочки там из рук вырывают). Но зато нет того уголка в Париже, куда нельзя добраться на метро... А ста-

рые вагончики с переплетающимися монограммами и допотопными поршнями, открывающими и закрывающими дверь... А входы в метро девятисотых годов — извивы растений на решетках и надписи как в старом «Illustration», сохранившемся у нас еще с «того» Парижа и сожженном немцами... А фонари... Не везде, но на Concorde, Champs Elysees, Vendôme... В прошлые свои приезды я застал еще ажанов в пелеринках и тупорылые автобусы с открытой задней площадкой. Теперь их нет — ни тех, ни других. И я грущу.

Но об этом ли грустить?..

...Как сладостно ощущать атмосферу, насыщенную историей; погрузиться в туман, обволакивающий остроконечные крыши высоких домов, с их фронтонами и башнями, любоваться «patine», покрывающей порталы, вывески, фонтаны; увидеть прекрасные особняки, высокие, заросшие плющом ограды, позеленевшие статуи, затейливый боскет, таинственные изображения на гербе, священную Мадонну в нише!

С трепетом я приближаюсь к старинным кварталам. Вот Rue St. Merri, Musée Carnavalet, Place des Vosges.

Теперь нельзя уже отыскать многих построек.

Десять лет, прошедших с тех пор, как я бродил, изучая парижскую старину, изгладили многое в моей памяти — или я забыл расположение улиц, местонахождение отдельных зданий?

Справляюсь в книжке Marquise de Rochegude, сверяюсь со своими записями, ищу, полный закрадывающихся подозрений — ищу, убежденный в своей забывчивости, и — и с ужасом вижу, что не только отдельные порталы, кариатиды, башни, не только прекрасные дворцы и пышные особняки, но целые нагромождения домов, огромные куски кварталов, с их вросшими друг в друга крышами, пугающими трубами, ажурными решетками, увитыми плющом балконами — исчезли, и навсегда! Исчезли многие своеобраз-

ные и милые украшения домов, не досчитаться большого количества вывесок, резных дверей, их обрамлений...

Это не мои строчки. Эту грусть по ушедшему Парижу излил в своей книжке «Старый Париж» еще в 1917 г. Георгий Лукомский, прекрасный, тонкий художник плеяды «Мира Искусства», излил более полу-столетия назад. Книга издана в революционном Петрограде в количестве 800 экземпляров и один из них, неизвестно как, оказался у меня и, минуя все таможенные преграды, попал в Париж, новый, новейший, самоновейший Париж.

Другой, из той же плеяды, Александр Бенуа, писал: «Казалось бы, после всех войн, осад, баррикад, революций от самого Парижа не должно было остаться камня на камне; однако, не говоря уже об отдельных великолепных зданиях, хранить которые и гордиться которыми умеют (не то, что мы) французы в Париже, некоторые кварталы стоят столетия без изменения, а для квартала Saint Severin все еще продолжается XV век, и его красивые окна робко поглядывают на темную мостовую, точно все еще ожидая, что на них появится палач короля или ковыляющая стая страшных бродяг...

Книжка Лукомского иллюстрирована им самим. Маленькие вклеенные рисунки. Старые дома, особняки, крыши, трубы, уголки дворов. Уютно и трогательно.

Place des Vosges... В прошлом Place Royale, непередаваемый уголок начала XVII века, чудом сохранивший весь свой ансамбль, место дуэлей и тайных свиданий, плащей и полумасок, где под аркадами встречались герои комедий Корнеля, а в крутоверных особняках в данное время жили и Ришелье, и тот же Корнель, и Марион Делорм, Мадам де Севинье, Мольер, Виктор Гюго и знаменитая Рашель. Лукомский влюблен в эту маленькую, замкнутую со всех сторон

очаровательную площадь с идиотским названием*, знает кто где, в каком особняке, отеле жил, кто с кем сражался на дуэли, подымал свой бокал «Vive le Roi!» или «Vive le Cardinal!», в каком из полутемных, с пылающим камином погребков. И сидя сейчас среди неистово кричащих и толкающих друг друга в фонтан мальчишек, я мысленно рисую себе не только мушкетеров и корнелевских жеманниц, но и сидящего где-то неподалеку, на скамейке старого русского художника, влюбленного в Париж и неизвестно мне, где умершего...

Я чуть-чуть уже знаю Париж, с десяток площадей, с полсотни улиц, но я не тороплюсь, у меня есть время, я не турист, не член делегации (о! какое это счастье!), я — парижанин.

И вот для меня, полугодовалого парижанина, Париж это не только Place Royale или St. Germain des Près (метро, из которого я обычно вылезаю на свет Божий), не Лувр, который я более или менее внимательно прошагал, изнывая от усталости, двенадцать лет тому назад, не Пантеон, в котором еще не был, и не Монмартр (там я просто-напросто заснул, присев на скамейку в Sacre-Cœur — ноги уже не несли), для меня Париж сейчас, именно сейчас, некое, весьма сложное, переплетение различных воспоминаний и ассоциаций, клубок из прошлого и настоящего, некое священное место, где неожиданно вдруг встретилось то, что, казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не могло бы встретиться. А вот встретилось. И не только встретилось, а дало уже какие-то крохотные, но уже зелененькие, трогательные ростки. Такие

* Place Royale в 1792 г. переименовали в Place des *Fédérés*, в 1793 в Place d'Indivisibilité (площадь Неделимости), а в 1800 г. указ консулов объявил, что департамент, дающий наибольшую контрибуцию, запечатлит свое название в одной из площадей Парижа. Так появилась площадь Вогезов.

же, еще нежные и робкие, как в саду дома, где я сейчас живу — сейчас январь, по-русски Крещение, а трава зеленая и среди нее маленькие ромашечки, а на калитке всю зиму (зима!) цветут желтенькие цветочки, которые здесь называются «jasmin d'hiver» — зимний жасмин. И вот этот загадочный для меня жасмин пустил, кроме золотых своих звездочек, зеленые, микроскопические листочки — апрельские листочки...

Переплетение, пересечение, совсем недавно еще немыслимое.

Нотр Дам... Своды уходят к небесам, и где-то там, на недостижимой высоте, кирпично переплетаются... Фиолетовые с чуть-чуть розовым витражи... Застывшие каменные скульптуры... Подсвеченные гладиолусы у подножья Мадонны. Типина. Три-четыре склоненные фигуры — молятся. И мы — два бывших киевлянина — на скамейке с пюпитром. Он приехал из Иерусалима. Я — из Киева. А он до этого тоже из Киева... Из того самого, где мы, выходя с ним из моего парадного, оглядывались по сторонам — кто сегодня будет за нами ходить. Садясь в машину, знали — вот та «Волга» с антенной и четырьмя пассажирами будет следовать за нами по пятам. У меня дома, на кухне, за чаем, когда надо было сказать о чем-то очень важном, писали друг другу записки, а потом сжигали их. Пробиваясь сквозь глушку, крутили вместе приемники. По вечерам, ночью провожали друг друга — «ну, вот, до того еще угла...» — и все говорили, говорили, говорили...

В Париже, только здесь, в Нотр-Даме, мы нашли место, чтобы поговорить тихо, вполголоса — на улице, на набережных глаза разбегались — я показывал ему Париж.

...Ресторан «Куполь» на бульваре Монпарнас. Нас не двое, а трое. Я и мой московский друг, известный поэт и песенник. Его песни поют по всему Советскому Союзу. Третий — журналист, берущий у нас интер-

вью. Но он тихий, застенчивый, задает вопрос и надолго умолкает. И вдруг выяснилось, что мы с Сашей впервые вдвоем, хотя знакомы уже сорок лет... Впервые без общества, без жен, не боясь, что нас перебьют (журналист не в счет), и никто не попросит его спеть, вот так вот сидим, он вытаскивает улитки, я ковыряюсь в салате, и говорим о том, о чем не удалось поговорить за все эти сорок лет.

В последний раз, в Москве, я прибежал к нему из отделения милиции, где меня продержали около двух часов — машина моего друга, в которой я ехал, мол, похожа на машину, переехавшую какую-то девочку. Пока я сидел, он уже трезвонил по всей Москве и иностранные корреспонденты начали стекаться к 88-му отделению милиции... По случаю моего «освобождения» («произошло недоразумение, мы приносим свои извинения») кое-что было выпито, и разговор шел о том, как все это осточертело и даже больше, чем осточертело... А сейчас, в «Куполь», мы говорим о том, что вот мы сейчас в «Куполь», а те, кто был у него в тот вечер, все еще там, и им ох, как все это осточертело, дальше уж некуда... А мы здесь... А завтра он уедет к себе в Норвегию, он живет сейчас в Норвегии, окна выходят прямо на фиорды... А Володьку исключили из Союза писателей. А другого, вероятно, скоро исключат. А обоим надо кормить детей... Одному из них я вчера звонил — длинные гудки, никто не отвечает. «Они» подключают другой зуммер — «видите, никого нет дома».

Журналист задает вопрос, что-то о перспективах, планах на будущее. Есть, есть планы — такие-то и такие — но сейчас не хочется об этом говорить — ведь мы впервые за сорок лет сидим вдвоем.

...Гран Палэ... Недалеко от Елисейских полей и моста Александра III. Вычурное здание то ли конца прошлого, то ли начала этого века. Помню его еще по открыткам всемирной выставки 1900 года. Крылатые

гении, виктории, кони. Головокружительно, сногсшибательно прекрасно. И вот, в одной из аудиторий этого на весь мир известного — по альбомам, увражам, проспектам, открыткам, путеводителям — здания, невысокий, бородатый, немного застенчивый человек, негромким голосом рассказывает о русской иконе. На небольшом экране застывшие лики святых, Богоматерь, младенец Христос, и человек рассказывает сидящим здесь молодым французам то, что, может быть, им и интересно, но в тысячу раз интереснее мне... А человек этот, передвигающий сейчас диапозитивы, знает об этих иконах больше, чем кто-либо другой, а до этого, у себя дома, просидел в лагере шесть лет... Шесть лет... А сейчас monsieur le professeur, Сорбонна, Гран-Палэ...

Вот такой он у меня сейчас, Париж. Станный...

**
*

«Ну, а как вам французы?»

Второй стереотипный вопрос.

Французы?

Тринадцать лет тому назад один довольно бойкий журналист, не правый и не левый, а так себе, серединка на половинку, уверял меня:

— Парижанин любит обсуждать и осуждать, но не любит вникать. Газеты он читает ежедневно, но относится к ним скептически. Каждый гнет по-своему, говорит он, и каждый в чем-то убедителен, но я не хочу, чтоб меня убеждали. Вас интересует, как относится француз — государственный служащий или мелкий буржуа — к действительности? А по-разному. В основном, в зависимости от цен на продукты, от того, вздорожал или не вздорожал сегодня уголь или бифштекс. Об этом говорят в кафе за столиками, иногда даже очень темпераментно, а думают о другом — скорее бы воскресенье, скорее бы сесть в свое «дешво» и мотнуть куда-нибудь, этак километров за сто

от Парижа, поваляться на травке, поудить рыбу, стрельнуть в фазана...

А другой француз сказал:

— Франция сейчас слишком увлечена настоящим, забыла о прошлом и не думает о будущем.

— Что значит увлечение настоящим? — спросил я.

— А то, что сытость успокаивает. А мы, в общем, сыты. Вы скажете мне, что не все одинаково. Согласен. Если б все было благополучно, рабочие не бастовали бы, не требовали повышения зарплаты. И все же, дорогой мой, Франция не думает о завтрашнем дне, не хочет — боится...

Все это слышано мною давно, в декабре 1962 года и описано в очерке «Месяц во Франции», до французов, по неизвестной мне причине, не дошедшем. Там я писал и о своей первой, после детства, встрече с Парижем, и с Корбюзье, и о веселой выпивке со студентами в какой-то мансарде на берегу Сены, и закончил свой очерк словами о французском народе, веселом, задорном, чуть-чуть сентиментальном, иногда грустном, но всегда живом.

Увы, веселья и задорности я что-то не очень замечая сейчас у французов. Стали они сумрачнее и озабоченнее. Надвигающаяся инфляция наложила свою печать на всех. Но впечатление это — тут же оговариваюсь — слишком внешнее, уличное, по-настоящему-то я французов не знаю.

Случилось так, что, попав во Францию, я сразу окунулся в русскую среду. Трехэтажный дом в парижском предместье Фонтенэ-о-Роз, гостеприимно распахнувший перед нами двери, перенес нас сразу в атмосферу московской квартиры с ее нескончаемыми спорами, безалаберщиной, суетой, надрывающимся телефоном, едой, что попало и когда попало, кучей книг и старинными иконами.

Книги... Пожалуй, это главное, что сразило нас во Франции. Все то, что у себя на родине читалось тайно,

наспех, за одну ночь, передаваемое из рук в руки на смятых машинописных листочках, лежало здесь на полках магазинов в необозримом количестве. Мы, приехавшие из голодного края, набросились на все эти «Архипелаги ГУЛаги» и до сих пор глотаем, не успеваем переварить все это богатство. А тут еще и газеты с потоком подробнейшей информации. Хорошо еще, что я плохо знаю французский язык, — газеты и журналы не оставляли бы ни на что другое времени.

Может показаться странным, и даже смешным, но незнание языка в какой-то степени спасает от чрезмерного избытка впечатлений. Переселившись из одного мира в другой — с Крещатика, скажем, в созвездие Кассиопей или со дна морского на его поверхность, без предохранительных средств можешь оказаться разорванным на куски. Первый месяц в Париже я все время чувствовал себя выброшенной на берег рыбой — жабры мои не могли пропустить сквозь себя сразу столько кислорода. Ощущение такое же, как когда я первый раз выбрался из стен госпиталя — голова пошла кругом от голубого неба и пьянящего воздуха.

Сейчас мои жабры в нормальном состоянии. Пульс — 76. Париж далеко. Вокруг лес. Нерусский, цивилизованный, с циклопическими валунами, по которым карабкаются «уикэндовские» парижане. Знаменитый лес Фонтенбло. И маленькие городишки. И в каждом своя церквушка XI или XII века, и памятник «A nos morts», и свой château, а уютные виллы с обязательными табличками «La tourelle» или «Petit nid» и, конечно же, «antiquités» — без этого никакая дыра во Франции не может — старые подсвечники, абажуры, дуэльные пистолеты.

По склонности своей бродить, шатаюсь по ухоженным лесным аллеям с указателями и скамеечками на перекрестках, забредаю в эти самые соседние городишки и, наслаждаясь одиночеством, пытаюсь разобраться в навалившемся на меня.

А навалилось — за год не разберешься. А разоб-
раться хочется. И о чем спорят с пеной у рта маоисты
с троцкистами (мало им нашего примера!) или, если
не спорят, то говорят между собой кавалергарды на
панихиде по Николаю II? И почему не прогорает ма-
ленький магазинчик у остановки автобуса № 194 в
Фонтенэ-о-Роз — он торгует пепельницами и подстав-
ками для ламп мексиканского, пакистанского и иран-
ского оникса (я за два месяца не видел ни одного по-
купателя). И кто и когда покупает развешенные в
громадном количестве цепи в «Sex-shop» на Пигаль и
как ими пользоваться? И что лучше, левее, прогрес-
сивнее — «L'Express» или «L'Observateur»? И почему
Жискар д'Эстен не стесняется сниматься в трусиках,
да еще в компании с Фордом и Киссинджером, и по-
чему не позволяет этого себе с Брежневым или Ко-
сыгиным (а в Пицунде бассейны не хуже Мартиник-
ских!). Наконец, как не уронить здесь, на Западе, до-
стоинства русского интеллигента, если за самолет
Киев — Цюрих тебе пришлось платить собственными
деньгами, а не лететь бесплатно. И еще десять тысяч
таких или еще более сложных вопросов.

Вот так и брожу по дорожкам, а мимо, не торо-
пясь, проезжает кавалькада красивых всадников (де-
лать им, что ли, нечего, разъездились...), и из леса
выхожу на поляну, на вьющуюся мимо кладбища до-
рогу, попадаю в соседний городок, захожу в «Tabac»
— «Gauloise, s.v.p.». Вот и все мое общение с францу-
зами. «Bonjour Mme, bonjour Mr!» в местной булочной,
приветливые улыбки на почте, до местного кюре и
аптекаря еще не добрался.

Единственное, что удалось мне все же уловить —
это, в общем-то, замкнутость французов. Бистро бист-
ром, а так, больше по домам.

В малюсеньком городишке Grez sur Loing, куда я
как-то забрел (старинная колокольня и Vieille tour du
XII siècle — везде указатели), я в три часа дня не об-

наружил ни одного (не преувеличиваю!) человека. Город был мертв, даже немного страшно стало. В моем Marlotte приблизительно то же самое, только машин побольше.

Обнаружил я, вернее, учуял повышенный интерес к деньгам у французов. Растущие цены и дороговизна жизни не последние темы в разговорах. «Oh! C'est trop cher!» куда чаще встречается, чем русское: «Нравится — покупай». Французская мама не поступит как моя, когда я, четырехлетний карапуз, проходя мимо магазина игрушек, требовал сначала un bateau (тогда я еще говорил по-французски), потом avec un marin... deux... trois... quatre и, наконец, заливаясь слезами, «plein de marins». Нарушая все педагогические каноны, мать заваливала детскую моряками и корабликами. Для меня на всю жизнь этот «bateau plein de marins» — синоним не только моей жадности, но, может быть, и неразумной, но такой родной, русской щедрости.

Что и говорить — швыряние деньгами не французская черта. Расчетливость и умение разбираться в разного рода финансовых комбинациях куда ближе этой нации д'Артаньянов (а не был ли он, часом, армянином с «ц» на конце?). И не без некоторого налета грусти скажу, что черта эта стала, увы, не чужда и тем русским, которые давно живут во Франции. Вот маленький, забавный рассказик.

Разговор за чайным столом милой русской семьи, живущей в Париже с двадцатых годов. Рассказываю о своем друге, полуфранцузе, полуукраинце, запутавшемся в каких-то банковских операциях.

— Забавно, — говорю я, — вот он сидит передо мной, уткнувшись в «Le Monde», и что-то пытается сообразить по поводу своих акций далеких южноафриканских золотых копей и никак не может решиться, продавать ему или не продавать золотые слитки. А давно ли это было — наша киевская кухня — лю-

бимое место вечерних разговоров — и до глубокой ночи, до часу, до двух все об одном и том же — о лагерях, психушках, обысках, вперемежку с ОВИРа-ми, таможняами, очередными историями о том, что того выпустили, а того нет... А сейчас вот сижу и слушаю про акции, копии, слитки... Смешно...

Моя хозяйка вдруг встрепенулась.

— Кстати, Саша, ты «Le Monde» смотрел сегодня? Говорят, золото опять упало...

Вот так-то...

Нет, я несправедлив. И жаловаться мне грех. До сих пор ничего, кроме внимания, радушия и желания помочь, кто как может, я здесь, во Франции, а до этого и в Швейцарии, не встречал. Только благодаря этому я спокойно могу закончить начатое в Киеве — добрые парижане создали мне такие условия для работы, о которых я и мечтать не мог — тишину, уют, покой — остается только не подкачать, ведь здесь, в Marlotte, жили и творили «не аби хто» — Мюрже, Альфред де Мюссе, Золя, Оскар Уайльд, из художников — Сезанн, Ренуар, Сислей, даже великий Коро. Рядом с нашим домом жил Сарасатэ, а чуть подальше — Жак Тибо...

И все же француз для меня еще загадка. С русским, говорят, надо пуд соли съесть, прежде чем разобратся в нем. А с французом? Иногда мне кажется, что он мудр, скептичен, порою циничен, иногда, что наивен до предела. «Нет! Нет! Если у нас и победят коммунисты, все будет совсем не так, как у вас. Вот увидите — и тут же, понизив голос, — но они никогда не победят...»

Я вспоминаю рассказ Эренбурга о его беседе с Хосе Диасом, председателем или секретарем испанской партии.

Эренбург его спросил:

— Когда вы победите, вам, наверное, придется

запретить бой быков. Это ж негуманно, кровавое зрелище, разжигает нездоровые инстинкты.

Хосе Диас грустно улыбнулся.

— Да, придется, очевидно, запретить. Но на последнюю корриду я все же пойду. И всю ночь потом буду плакать.

**
*

Прогулка была парная — я и мать.

Больше всего в жизни она любила гулять. В ту зиму было холодно, поэтому мы сначала долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на нее другая, затем теплый шарф, вызывавший всегда сопротивление — «шерстит», затем демисезонное пальто — мы приехали осенью, и в Москве нас застигла зима, — на ноги валенки, на руки теплые, заячьи рукавицы. На носу пенсне — самое сложное, так как оно сразу же на морозе запотевало.

В последние годы мама в пенсне уже не нуждалась — так называемая компенсация зрения, — но она к нему привыкла и не хотела расставаться даже во время воздушных тревог, когда ей, врачу вокзального медпункта, надо было надевать противогазовую маску. Вместо пенсне приходилось пользоваться лорнетом — сочетание для тех лет довольно забавное.

Итак, мы одеты. Выходим. Куда же направить свои стопы? Все зависит от ветра. Сегодня он дует в эту сторону, поэтому мы идем в ту — к мосту.

Когда-то это был Большой Новинский переулочек — узенькая улица, идущая от Новинского бульвара к Москве-реке. Сейчас это широкий проспект Калинина. Последнее здание переулочка разрушалось на моих глазах — двухэтажный домик, в котором находилось какое-то проектное бюро. Домик гиб на глазах, под ударами тяжелого чугунного шара, обливаясь кровью. Кровь — это красный кирпич, из которого

он построен. Домик стонал, обливаясь кровью, и, мучительно сопротивляясь, умирал. Сейчас на его месте скверик, а чуть правее — подземный переход. В скверике растут деревца и почему-то нет цветов.

Теперь снесли еще несколько домов в сторону реки. Когда мы гуляли, они были еще целы. Говорят, должны были построить новое высотное здание для сотрудников СЭВ, но грунт оказался неподходящим.

Крепко поддерживая друг друга, чтоб не скользить, мы минуем эти домики и подходим к забору с афишами. Здесь мы задерживаемся. Знакомимся с репертуаром театров.

— Пойдем в Художественный, я давно там не была.

— Не на что, мамочка, идти.

— Как не на что? Вот «Дни Турбиных», ты разве их не любишь?

— Люблю, потому и не хожу.

— Ты консерватор и старик! Ты не любишь молодежь.

— Нет, я люблю молодежь, но Яншин уже не молод.

Мать вздыхает.

— Странное дело, ты всегда любил театр, а теперь калачом не заманишь.

— Я — дитя века, к тому же ленив, и предпочитаю диван и, в крайнем случае, телевизор.

— Терпеть не могу твой телевизор. Не вздумай только его покупать. Хочу ходить в театр.

Я оттягиваю маму от афиши — рядом афиша «Современника», а там много знакомых.

Мы идем дальше. Направо строится небоскреб СЭВ.

— Не понимаю, зачем столько этажей, — говорит мать. — Ты можешь сосчитать сколько?

Пытаюсь сосчитать, но сбиваюсь.

— По-моему, двадцать пять, — говорю.

— Если нам там дадут квартиру, возьмем двадцать пятый, хорошо?

— Квартиры нам там не дадут, — успокаиваю я, — и вообще, я предпочитаю особняки.

Мать со мной соглашается, и мы останавливаемся на особняке, в котором жил когда-то Шаляпин, за американским посольством. Этот особняк нам обоим нравится.

— Я помню этот особняк, когда еще была маленькой. Перед ним был палисадничек. Жили мы тогда на Садово-Кудринской, у Капканщиковых.

Тот особняк я тоже знаю — налево от него когда-то жил Чехов, направо — Берия.

Полюбовавшись домом СЭВ и так и не сосчитав, сколько в нем этажей, мы возвращаемся назад. По ту сторону Садовой — Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще, нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами «Дом сороковых годов», а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский «Московский дворик» в том числе. Наличие рядом пивного бара «Жигули» не спасает положения.

Итак, мы не переходим Садовую и идем либо налево, к площади Восстания, либо направо — к Смоленскому рынку.

Смоленский рынок... От рынка, каким я его помню, с рундуками и «бывшими» домами, торгующими бюстгальтерами на меху, сохранилось только название и два дома — Арбат 54 с «Гастрономом» внизу, известным на всю Москву, так как он, подобно Елисееву, торгует до 11 вечера, и другой, напротив него, с обувным магазином на углу.

Композиционный центр «рынка» и всего этого района — Дом министерства иностранных дел. Он строился на моих глазах (я жил тогда на Сивцевом Вражке) в конце сороковых годов. Пока он еще был металлическим каркасом, в нем было что-то привлекательное. Потом он оброс камнем, обогатился (распространенный в те годы архитектурный термин) башенками и обелисками, и мои симпатии к нему уменьшились. Теперь я к нему привык.

Вряд ли кто сейчас помнит, что на архитектурном проекте здания не было остроконечного, в виде шпиля, завершения. Таким, без шпиля, изображен он был и на серии почтовых марок, посвященных московским высотным зданиям. Потом, проезжая как-то мимо, Сталин сказал, что здание выглядит обрубленным, и срочно был достроен шпиль, а к нему соответствующее архитектурное дополнение в виде подставки. Что внутри этой подставки — неведомо. В свое время москвичи, пытавшиеся логически обосновать надстройку, утверждали, что туда вмонтирована, мол, радарная установка. И все становилось на свое место, само высотное здание в том числе.

Много говорили в те дни об уместности этих зданий. Сторонники их утверждали, что городу нужны вертикали, архитектурные акценты, что ими были когда-то московские «сорок сороков», сейчас же нужно что-то другое. Противники их, соглашаясь с акцентом, считали, что акценты эти могли быть и пониже. Так или иначе, здания были построены и, что там ни говори, создали нынешний силуэт Москвы. А я добавлю — стали памятниками архитектуры первой половины XX века и имеют законное право на доски «охраняется государством».

Сегодня высотные здания приобрели другой облик. Здание СЭВ, в котором я никак не мог сосчитать этажи, не похоже на соседствующий с ним высотный дом на площади Восстания (кстати, и тот, и другой

построены архитектором Посохиным — любопытная трансформация), и на нем в свое время появится доска с надписью «Памятник архитектуры второй половины XX века». А вот для одного из памятников первой половины XX века, двадцатых еще годов, «свое время» давно настало, а доски на нем нет. И глядя на него не скажешь, что он охраняется государством. Речь идет о так называемом «Доме наркомфина», или «доме на Новинском», выдающегося советского архитектора М. Я. Гинзбурга. Скажем прямо, это облупившееся, всеми забытое (и домоуправлением и Моссоветом, кстати) здание — один из наиболее ярких примеров архитектуры тех лет, искавшей свои, новые, присущие тому времени формы.

Дом этот не только запущен, его просто трудно обнаружить. За сорок с лишним лет, прошедших со дня его постройки (а он расположен в глубине участка), деревья перед ним так разрослись, что дома просто не видно. Так, белеет что-то за стволами, а что — Бог его знает. Многие жители этого района даже и не подозревают, что рядом с ними «памятник», в котором впервые были применены архитектурные принципы Корбюзье — плоская крыша, ленточные окна, отсутствие первого этажа, замененного столбами.

Таких домов, подобных дому Гинзбурга (точнее, М. Гинзбурга и Э. Мелинса), в Москве еще много.*

Имена в скобках (см. сноску) — это имена тех, кто стоял у истоков советской архитектуры. И нету там

* Дом Госторга на ул. Кирова (арх. Б. Великовский, 1926); Госбанк на Неглинной (И. Жолтовский, 1926-1928; очень любопытное исключение в архитектуре тех лет); Клуб Коммунальников на Лесной ул. (арх. И. Голосов, 1927); Клуб завода «Каучук» и клуб на Стромынке (арх. К. Мельников, 1927); Планетарий (арх. М. Барц и М. Синявский, 1928); Комбинат «Правды» (арх. И. Голосов, 1929); новый корпус Моссовета (арх. И. Фомин, 1929, тоже

имени только одного человека, «творчество которого не только вошло в золотой фонд советской архитектуры, в ее историю, но и сейчас участвует как боевое оружие в сражении против серости архитектурной мысли, являясь критерием качества архитектуры, неисчерпаемым источником для творчества. Имя его должно быть поставлено в ряду основоположников современной архитектуры...»

Приведенные выше строки взяты из статьи кандидата архитектуры П. Александрова, напечатанной в журнале «Архитектура СССР», № 1 за 1968 год, под названием «Архитектор-новатор».

С фотографии на нас смотрит немолодой, лысоватый человек с сигаретой в мундштуке в зубах, с прищуренным одним глазом, в темной расстегнутой рубаше, тренировочных штанах, в накинутом на одно плечо пиджаке. Пристально смотрит на вас, приподняв одну бровь.

В 1927 году человек этот блестяще закончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа, где учился у братьев Весниных, награжден был заграничной командировкой и оставлен в аспирантуре. Дипломный проект его на первой выставке советской архитектуры в 1927 г. занял центральное место и широко был опубликован во всей зарубежной прессе. Думаю, ни Нимейер, построивший город Бразилия, ни авторы трилона и сферы на нью-йоркской выставке в 1939 году не будут отрицать влияния этого человека на их творчество. Конкурсный проект Дома Центросоюза того же архитектора получил очень высокую оценку участ-

исключение из общих правил); Центральный телеграф (арх. И. Рерберг... до какой-то степени тоже исключение); здание «Известий» (арх. Г. Бархин, 1932); Дом Центросоюза, ныне Статуправления (арх. Ле Корбюзье, 1928-1932); дом на углу Орликова пер. (А. Шусев, 1932); Дворец культуры Пролетарского р-на, ныне завод им. Лихачева (бр. Веснины, 1932).

вовавшего в этом конкурсе Ле Корбюзье и, возможно, в какой-то степени повлиял на окончательный вариант самого Ле Корбюзье (он отказался от ленточных окон).

В те годы я был студентом. Имя этого архитектора, как и Гинзбурга, Весниных, Мельникова, не сходило с наших уст. Проекты его были во всех журналах. Мы пытались ему подражать, как только могли, копировали его графику — громадные черные листы с тонкими белыми линиями и цветовыми пятнами.

Кто же этот человек, имени которого нет в списках, нет ни в одной энциклопедии и о котором девять лет спустя после его смерти говорится, как об основоположнике советской архитектуры?

Имя этого человека Леонидов. Иван Петрович Леонидов. Умер он в 1959 году, так и не построив в своей жизни ни одного здания...

Новатор в самом высоком и чистом смысле этого слова, он не мог перенести 1930 года, когда во всех газетах замелькало слово «леонидовщина». Как творца его убил конкурс на Дворец Советов, решения которого отбросили нашу архитектуру на десятки лет назад.

Лебединая его песня — конкурсный проект Дома Наркомтяжпрома — самобытный, яркий, ни на что не похожий (и, конечно, технически неосуществимый в 1933 году) остался только на бумаге.

И в истории, добавим мы.

Да, в те годы трудно было осуществить предлагаемое Леонидовым. Его дипломный проект — Музей Ленина на Воробьевых горах, и последний — Наркомтяжпром на Красной площади, блестящие по мысли и исполнению, были тогда нам не под силу. Они пугали своей смелостью и оригинальностью, и скажем даже, утопичностью. Но это было дерзание, это было будущее. Леонидов смотрел вперед, перешагивая десятилетия. И, глядя сейчас на новые кварталы Моск-

вы, видишь, что все это у Леонидова было пятьдесят лет тому назад. Все это он предвидел.

Подводя итоги первой архитектурной выставки в Москве в 1927 году, М. Я. Гинзбург писал в журнале «Советская архитектура» о проекте двадцатипятилетнего дипломанта:

«Блестяще выполненная в ряде тонких графических рисунков и в манере работа эта более всего ценна для нас как категорический прорыв той самой системы приемов, схем и элементов, которые неизбежно становятся для нас общими и обычными, в лучшем случае являясь результатом единства методов, а в худшем — нависая угрозой стиливых трафаретов».

Не хочется проводить параллелей с судьбой познавшего после своей смерти всемирную славу Гогена или Модильяни, продававшего при жизни, стоящие сейчас сотни тысяч франков портреты, за 40-50 франков, но, думается, что широкое знакомство с творчеством Леонидова, его изучение — единственное, чем можно искупить вину современников перед ним и всей историей нашей архитектуры.

Имя Леонидова всегда как-то сочеталось с именем другого, тоже прогремевшего архитектора — Константина Мельникова.

Судьбы их сходны. Но не во всем. К. Мельников в 20-е годы не только проектировал, но и строил. И построенное им всегда было центром всеобщего внимания. До конкурса на Дворец Советов он успел еще кое-что построить. Клуб «Каучук» на Плющихе, другой — коммунальников на Стромынке, советский павильон на Парижской выставке декоративного искусства в 1925 году и даже свой собственный дом, существующий до сих пор в Кривоарбатном переулке, недалеко от Плотникова переулка. Загадочный этот дом, стоящий в глубине участка, и поныне привлекает всеобщее внимание.

Описать его не просто — не то башня, не то труба, даже не одна, а две, тесно прижавшиеся друг к другу. В передней башне большое окно, а в задней окон нет, есть ромбовидные отверстия снизу доверху. Кроме того, есть еще терраса — на первой башне-трубе, всегда пустая. Над входом дома надпись из камня или штукатурки: «Константин Мельников, архитектор».

Построен этот дом давно — в 1927 году. Значит, в годы нэпа или сразу после него. Это весьма знаменательно. Получить в центре Москвы участок в вечное владение и построить на нем дом — не всякому дано. А вот дали. Значит, знаменитый был архитектор Константин Мельников.

Да, знаменитый. Мы его учили. В тридцатых годах учили. Он был мэтром, живым классиком. Таковым и остался. Как и братья Веснины, Леонидов, Гинзбург.

Потом их стали ругать. Объявили формалистами. В газетах появились статьи: «Какофония в архитектуре», «Про некоторые архитектурные упражнения», «Против формалистических выкрутасов в архитектуре», «Лестница, которая ведет в никуда (Архитектура вверх тормашками)». Последняя посвящена была К. Мельникову. Напечатана в «Комсомольской правде», 18. 11. 1936 г.

В статье этой упоминается и дом в Кривоарбатском: «Этот каменный цилиндр, — читаем в статье, — может быть местом принудительного заточения, силовой башней, всем, чем хотите, только не домом, в котором добровольно могут поселиться люди. (По имеющимся у нас сведениям, этот дом архитектор построил для самого себя (?!)».

Кончается статья призывом к строителям прекратить свой птичий полет. «Спуститесь на землю, отсюда виднее ваша работа, тут дано вам место. Тут создавайте прекрасную архитектуру социалистической страны без гнилого, неискреннего, фальшивого либе-

ральничания, которое не менее опасно, чем прожекторство формалистических штукарей».

Ну, и так далее. С тех пор исчезло его имя со страниц журналов. Строить он перестал. Дальнейшая его судьба была неизвестна.

И вот, оказывается, архитектор этот дожил до наших дней. И в этой самой «силосной башне».

Как же с ним познакомиться — с этим архитектурным зубром, мамонтом, основоположником и родоначальником?

Мне это удалось. Не скажу, что удачно, но удалось.

Из окна квартиры моих друзей — они живут в Плотниковом переулке, над «Диетическим» магазином, — я увидел как-то эту самую «силосную башню». Как? Неужели сохранилась? Сохранилась. А хозяин? И хозяин сохранился. Появляется даже в «Гастрономе» с авоськой. Но хозяева квартиры знают его сына, художника, вместе когда-то учились в институте, он даже вроде как ухаживал за хозяйкой квартиры. Можно ему позвонить — телефон есть.

Позвонили. Сказали, что такой-то и такой-то мечтал бы познакомиться с заочным своим учителем юности, почел бы за честь, ну, и т. д. Ответили согласием, позвоните тогда-то и тогда-то.

Позвонили тогда-то и тогда-то. Ждут. Завтра в двенадцать часов. Здесь, как утверждают мои друзья, я допустил промашку. Не надел галстука, а пошел в синей с белой полоской, так называемой, «олимпийке». Но об этом позже.

Итак, ровно в 12 часов я позвонил у деревянной калитки «силосной башни». Дико залаяла собака. Потом в башне открылась дверь и вышел подтянутый старик в коричневой домашней куртке с кокетливо выглядывающим из бокового кармана белоснежным платочком. Открыл, гремя замками, калитку. Уже калитка была не такая, как «у людей». С внутренней

стороны у нее было нечто вроде полукруглого забора, так что войти можно было только, когда калитка открыта настежь. С грехом пополам я втиснулся в нее.

Входя в дом, я старательно вытер ноги о лохматый коврик и, как можно любезнее улыбаясь, сказал, что я счастлив, что вступаю в дом, в какой-то степени памятник архитектуры, который я в свое время, в студенческие годы, изучал.

Хозяин на это не обратил, или, как потом я понял, сделал вид, что не обратил внимания, а внимательно смотрел, как я вытираю ноги.

Потом я разделся в очень странной полукруглой прихожей (из нее в открытую дверь я увидел такую же странную полукруглую комнату) и по крутой винтовой лестнице без перил (хозяин, которому никак не меньше семидесяти, а то и больше, весьма бойко по ней передвигался) поднялся на второй этаж, в очень большую, очень высокую, тоже круглую комнату, даже не комнату, а скорее ателье, поразившую меня своей пустотой. Кушетка, покрытая одеялом (очевидно, ателье служило и спальней), большой, заваленный книгами и бумагами письменный стол и несколько прекрасных старинных кресел. На стенах портреты. Много. И очень неплохих. В течение последующего получаса я успел их рассмотреть внимательнее. Написаны легко, свободно, никому не подражая. Больше всего портретов какой-то дамы, очевидно, жены, разных возрастов и в разных позах.

Прежде чем меня пригласили к столу, мне в руки дали старую газету. Как выяснилось, чтоб я еще раз вытер ноги. Поняв, что чистая, сухая обувь — некий пунктик хозяина (на дворе, действительно, была грязь, а калоши теперь не в моде), я, идя навстречу хозяину и в то же время полущутливо, сказал, что могу для простоты разуться. Предложение мое было принято, и я остался в носках.

Потом меня пригласили к столу. Хозяин тоже сел

за стол и, положив хорошо выбритый подбородок на скрещенные руки, стал смотреть в пространство. Лицо его было красивое, худое, маленькие седые усики. И очень грустные, задумчивые глаза. За его спиной на стене висел его автопортрет юных лет — этакий д'Артаньян с черными усиками и жгучим взглядом. Сейчас жгучего взгляда не осталось — только печаль.

Пауза затянулась, и я, чтоб разбить ее, стал развивать тему, начатую еще в прихожей — как я, в прошлом архитектор, счастлив попасть в этот дом и беседовать (тут я несколько перегнул, беседы-то пока не было) со столь знаменитым мастером, которого мы, студенты, еще в тридцатые годы и т. д.

Мельников молча слушал, не перебивая меня, и продолжал глядеть в пространство. Потом, не поворачивая головы и не глядя на меня, спросил:

— Так вы, значит, архитектор? А мне сказали, что писатель...

Я пустился в объяснения. Так, мол, и так, был в свое время и архитектором, и актером, а потом, в силу сложившихся обстоятельств, стал писать.

— Значит, никак себя найти не можете? Бросаетесь из стороны в сторону?

Я сказал, что сейчас, как мне кажется, я на чем-то все-таки остановился.

— Что же вы написали?

Я сказал.

— Это что же, протокол о Сталинградской битве?

Я растерялся — почему протокол?

— А что же вы еще могли написать, кроме протоколов, хроники?

Я еще больше растерялся и не нашел, что ответить.

Опять молчание.

— Это кто — вы в молодости? — спросил я наконец, указывая на портрет, и чтоб прекратить тягостное молчание.

Лаконичное «да», и после паузы:

— Вы, конечно же, не знаете, что я художник. А я художник... — и вдруг, без всякого перехода: — Мне сказали, что вы писали что-то о Корбюзье.

Да, писал, мне посчастливилось встретиться с ним в Париже, и я об этом написал.

— Гоняетесь за знаменитостями, значит?

Я ответил шутливым тоном, что поэтому вот и к нему пришел.

Он быстро взглянул на меня (впервые за весь разговор) и опять, упершись в пространство, грустно сказал:

— Я с ним тоже встречался.

Очевидно, во время его приезда в Москву, когда строилось по его проекту здание Центросоюза?

— Нет, не в Москве, а в Париже. Вам, очевидно, неведомо, что по моему проекту в Париже был построен советский павильон на выставке декоративно-го искусства в 1925 году?

Я обиделся. Почему неведомо? И тут же пальцами изобразил схему этого павильона.

На него это не очень подействовало.

— Хорошо, — сказал он, — вот вы все говорите Корбюзье, Корбюзье (очевидно, он очень ревновал к Корбюзье, так как я о нем упомянул только один раз), а кого же вы из русских архитекторов знаете?

Я сказал, сделав упор на него и опять-таки расточив комплименты. Тут он вдруг перешел в атаку.

— Так, теперь вы хвалите Мельникова... А скажите прямо, зачем вы к этому самому Мельникову пришли? Какова ваша цель?

Как зачем? Просто познакомиться с родоначальником, основоположником и т. д., и т. д., повторяя все то, что я уже говорил.

— Простите, так вы писатель? — перебил он меня.

— Да...

— Ваша фамилия Тихонов?

Так. Я слегка обомлел. Нет, не Тихонов.

— Не Тихонов, значит. Хорошо. Так что же вы писать обо мне думаете?

Я развел руками. Нет, специальной мысли об этом у меня не было, но, если это ему улыбается, могу и написать. Молодому поколению архитекторов, конечно же, будет очень интересно узнать, над чем сейчас работает маститый архитектор, каковы его взгляды на нынешнюю архитектуру, на пути ее развития.

Монолог мой был прерван.

— А вам не кажется, что прежде, чем писать, не мешало бы поинтересоваться, насколько все это интересно самому маститому архитектору?

Тут я окончательно стал в тупик. Не нашелся что ответить. Что-то промямлил, «конечно, если... я не знал... я думал... просто мне хотелось...»

— Так вот, молодой человек, — холодно и очень медленно, с расстановкой сказано было мне, — если вам что-нибудь хочется и для этого надо беспокоить другого человека, желательно предварительно осведомиться, насколько это интересно другому человеку... Вы читали рассказ или, уже не помню, может быть, это и в какой-то повести Тургенева, о молодом человеке, который приходит к некоему знаменитому профессору?

Я признался, что, к своему стыду, не помню.

Он мне напомнил и рассказал неведомую мне историю о каком-то молодом человеке, который в нетрезвом виде (все мои друзья, которым я рассказывал о моем визите, до сих пор уверены, что до звонка в заветную калитку я принял «свои сто грамм» в какой-нибудь забегаловке, чего, как ни странно, на самом деле не было) явился к какому-то светиле и стал его убеждать помочь что-то написать в его диссертации.

— Так вот, если не читали, — закончил он свой рассказ, — прочтите, обязательно прочтите.

Я понял, что мой визит несколько затянулся. Мне ясно дали понять это. Встав со стула, я извинился и сказал, что, по-видимому, не вовремя пришел и поэтому позволю себе раскланяться.

— Пожалуйста.

Я обулся, сбежал по лестнице и, еще раз извинившись за неуместное вторжение, ушел.

— Вы сможете сами открыть калитку?

— Сумею...

На этом наше знакомство закончилось.

Я несколько не обижен на Мельникова. Я понимаю его. Сорок лет отделяет его от дней, когда имя его гремело повсюду. Сорок лет...

Мне жаль только, что он не понял меня. Я шел к нему с открытым сердцем, без всякой задней мысли, так же как и сейчас, невольно задумываясь, — как много надо иметь внутренней силы, чтоб не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелегкие годы забвения.

Я ушел от него с чувством горечи.

Выйдя из переуллка, я свернул налево по Плотникову. На углу Сивцева Вражка я постоял недолго. Здесь когда-то я жил, в этом маленьком домике на втором этаже. Вот мое окно.

Теперь мне кажется, что это было очень давно. В крохотной комнате, вся обстановка которой состояла из железной койки, колченогого стола и занимавшего полкомнаты рояля, я заканчивал свое первое литературное произведение, здесь же начал второе. По вечерам, при свете стосвечевой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло жженным, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих старушек-хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шепотом спрашивали сквозь замочную скважину: «Кто?», и потом дол-

го лязгали замком и цепочкой. Не сомневаюсь, что они были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешенными окнами, и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию ПЭ, от Рю-де-ля-Пэ — самой фешенебельной и галантной из парижских улиц... Сейчас мне кажется, что это действительно так, и Р. на самом деле, кутаясь в черную шаль и шурша шелковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подъезде. И было это очень давно, лет сто назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на углу Гагаринского и Хрущевского переулков. Там собирались декабристы и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печах с медными выюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками.

У этого дома я тоже постоял. Но никто не вышел. Я спросил у кучера, сидевшего на облучке, кого он дожидается.

— А тебе не все равно? — сказал он мрачно. — Мой барин здесь подолгу сидит, не дождешься.

— А кто твой барин?

— Камер-юнкер. А ты?

— Гвардии капитан, теперь запаса.

Мы закурили по «беломору». Глядя на выросшую за особняком девятиэтажную башню, мы заговорили о том, как быстро все на глазах меняется. Давно ли еще звонили колокола у Николы-на-Песках и хлеб в булочной на углу Смоленского продавался настоящий ржаной, а водка стоила...

— Да, — вздохнул кучер, — не звонят больше колокола у Николы, жителям, мол, мешает, и булочной тоже нет, а на месте этой башни, где сейчас кафе «Адриатика» — неплохое кафе, только дерут три шкуры, — был особняк купца Снегина. И еще пять таких особняков у него было, и три доходных дома,

и трактиров по всей Москве штук пятнадцать, если не больше.

Мы повздыхали, повздыхали, и я побрел дальше. Мне почему-то подумалось, что человек, от которого я только что ушел, так же вот бродит по этим когда-то тихим арбатским переулкам и смотрит, как на месте уютных особняков с мезонинчиками вырастают похожие как две капли воды одна на другую, лишенные балконов и собственного лица, эти белые девятиэтажные башни, как рассыпается под скрежет бульдозеров старая Москва...

— Не грустно на это смотреть? — спросил я.

— Мало сказать грустно...

Мы испытующе посмотрели друг другу в глаза, я и он, оба с поседевшими д'Артаньяновскими усиками, и не сговариваясь направились к «Адриатике», той самой, где был когда-то особняк купца Снегина.

— Да, — сказал мой спутник, когда мы устроились за столиком у окна. — Появление этих башен вполне закономерно. Без них сейчас не обойтись, что поделаешь. Но какое они имели право вторгаться сюда, в самое сердце Москвы? Кто им это разрешил? В конце концов это просто бесцеремонно. А бесцеремонность в архитектуре так же непростительна, как и безвкусица. Да, да, по вашему взгляду я вижу, что вы со мной согласны и с жаром заговорите сейчас о новой гостинице «Националь» на улице Горького. А я вам скажу, что вы опоздали на добрых два столетия и все это началось, когда еще Матвей Казаков позволил себе построить в Кремле Сенат, а полстолетия спустя архитектором Тоном был сооружен Большой Кремлевский дворец. Разве они имеют право стоять с Успенским собором, Потешным дворцом? И вот, глядя на Казаковых и Тонов, московская башня решила, что ей все разрешено, и двинула из своих Мневников и Филей в святая святых Москвы. Как тут не загрустить, как не заплакать? Мне говорят — новая Моск-

ва! И я за новую, но я за Москву. Лужники построили на месте сараев и барачков, университет — хорош он или плох — на месте одноэтажных хибар, а эти башни заполнили сейчас всю Москву, посягнули на ее сердце, на то, что каждому москвичу дорого — на московскую улицу. У нее свое лицо, у этой улицы, своя душа. И улица эта не Горького — упаси Бог! — а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных дворишков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, выросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь.

Нашел что беречь, — скажут мне и вспомнят Париж, барона Османа, которого тоже ругали, когда он пробивал свои широкие бульвары через самое сердце, еще Виктором Гюго воспетого, Парижа.

Знаю, знаю, знаю... Парижские бульвары прекрасны, но строились-то они по указке трусливого Луи-Бонапарта, боявшегося «черни» и ее баррикад на узких улицах. А чего нам бояться? Страховому обществу «Россия» до революции мог нравиться этот участок, и оно, ни с чем и ни с кем не считаясь, покупало его и строило свои громады. Но сейчас... Ведь все по плану делается — городской архитектор, архитектурное управление, горисполком, деревья без чьего-то там разрешения срубить нельзя... А башни все лезут и лезут...

Я робко вставил:

— И это говорите вы, который...

— Да, я, который... Вы не учитываете одной вещи — вернее, двух. Во-первых, что все, о чем вы хотели сказать, происходило в двадцатые годы, когда у Мейерхольда артисты ходили в зеленых париках и все,

что не было выкрашено в красный цвет, кроме этих париков, считалось контрреволюционным. И второе — небезызвестный вам клуб «Каучук» был не саранчой, лишенной какой-либо индивидуальности, а первой робкой ласточкой, призывом, запевом, если хотите — Марсельезой... А башня, в которой мы с вами сидим, может быть, и полезна в борьбе с жилищным кризисом, но как произведение искусства — ей ноль цена. Типовой проект расселил людей, но убил искусство. Стер лицо. У Сызрани и Москвы оно теперь одно, не отличишь.

— Что же делать?

— Думать! Прежде всего — думать. Думать и искать. А не только печатать синьки. И не класть ноги на стол, на котором хрусталь и фарфор, как это позволил себе сделать все тот же Казаков, с легкой руки которого все началось. Пусть даже сам царь или царица тебе приказывают: «Строй!», разведи руками и скажи — «Не имею-с права, тут до меня еще строили, и поискуснее... Разрешите где-нибудь в сторонке, подалее...» — мой собеседник вдруг рассмеялся. — Но самое смешное, а может и горькое, это то, что никто до сих пор не задумался: а кто же в конце концов автор этой башни? А ведь он есть! И, вероятно, даже не он, а они, целые бюро. Но кто они — никто не знает. Так же, как никто не знает, кто же построил Реймский собор или Нотр-Дам. Смешно, не правда ли? Впрочем, стоит ли обо всем этом говорить, когда существует столько неразрешенных проблем и, как пишут в газетах, мы скоро задохнемся от выхлопных газов и будем жить друг у друга на головах. А в общем-то, вы должны меня понять — все это только брюзжание человека преклонного возраста, которому, в силу именно этого и не вполне удачно сложившейся биографии, ничего другого и не остается. Простите меня великодушно.

На этом монолог моего собеседника, в уста кото-

рого я просто-напросто вложил свои собственные мысли, чтобы было интереснее, — и закончился.

Я встал, расплатился и вышел на улицу. Собеседник мой, как и положено в таких случаях, медленно растаял в воздухе.

Есть один вид искусства, который все считают себя вправе критиковать. Все, без исключения. От академика до домашней хозяйки в очереди. Это архитектура. Когда критикуют какую-нибудь книгу или картину, всегда говорят: «Я, конечно, не писатель, не художник, но...» Когда же ругают новый дом, этой оговорки не делают... «Понастроили коробок и думают...» — говорили в 20-е — 30-е годы. Попозже, в период излишеств — «Понатыкали колонн и считают...» Теперь мы говорим: «Куда ни глянь, везде башни...»

Ох, уж эти башни... Вот и я включился в критику их, хотя и имею кое-какое оправдание — был когда-то архитектором. Но, может быть, именно поэтому — не встать ли мне на защиту архитекторов и градостроителей?

Немного подумаем.

Что делать, например, такому городу, как Москва, в которой семь миллионов жителей, не считая сотен тысяч командировочных и вообще приезжих, да к тому же не сидящих на одном месте? Как их всех расселить, как помочь им в городской толкотне и суетне? И как всего этого достичь, не меняя лица города?

Хорошо Ленинграду — он молод, каких-нибудь 250 лет; его проектировали, улицы широкие, прямые. А Москва? Ей стукнуло уже 825, и никто ее не проектировал, а росла она кольцами — Кремль, потом Китай-город, Земляной вал и сейчас проглатывает одну деревню за другой.

Мы очень любим говорить — ох, если бы... Если б мы сейчас реконструировали улицу Горького, если б сегодня восстанавливали Крещатик. Не знаю, были бы они лучше — можно судить по новому «Национа-

лю», — но они, эти улицы есть, и с места они никогда не сойдут, со всеми своими цоколями из лабрадора величиной с целый этаж, с арками, эркерами, лоджиями, скульптурами, башенками. Думаю, что улица Горького в какой-то, может быть и отдаленной степени, но могла бы понравиться Гоголю. В своей сноске к статье об архитектуре он мечтал об улице... «которая бы вмещала в себе архитектурную летопись... Кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтоб узнать все».

Встаньте около Исторического музея и посмотрите на улицу Горького. Маленькая, коротенькая, но все-таки история архитектуры. На углу Охотного ряда старый «Националь» — не лучший образец модерна начала века; налево от него так называемый «дом на Моховой» И. Жолтовского (1934) — первенец реакции на «коробочную» архитектуру 20-х годов; сразу за стеклянным параллелепипед нового «Националя» — московский вариант нью-йоркского Манхаттана; за ним опять старая Тверская, дом с серебряным куполом, где театр Ермоловой; затем Центральный телеграф И. Рерберга (1925-27) — некое исключение в архитектуре тех лет, «новое», но еще не порвавшее со «старым»; за Газетным переулком две пышные сросшиеся громады периода 1937-40, когда купеческую Тверскую превращали в социалистическую улицу торжеств и встреч; и, наконец, надстроенный в 1945 г. Л. Чечулиным Моссовет, пример одного из странных увлечений тех лет, когда считалось, что архитектор развивает и дополняет замысел зодчего XVIII века. Это левая сторона. Правая — вальяжные дома А. Мордвинова, «отца» всей реконструкции.

Такова главная улица Москвы, ее Невский, Елисейские поля, Унтер ден Линден... Красиво? Боюсь, что это определение вряд ли можно сюда применить. Скорее сумбурно. Но и старая Тверская красотой не блистала, к тому же была просто узка, особенно в том

месте, где начинался подъем. Дальше, за Советской площадью все более или менее спокойно. Нужно ли жалеть снесенные дома Старой Тверской? Не думаю. Наиболее интересные из них были передвинуты в глубь участков, а если говорить об общем облике улиц прошлых лет, то он полностью сохранился на другой «главной» улице, на Кузнецком мосту.

Сейчас в Москве родилась еще одна «главная» улица — проспект Калинина. Не скажу, чтоб появление его было встречено восторженными криками — один мой знакомый с горечью сказал, что Новый Арбат не стоит заупокойной по Собачьей площадке — но так или иначе, а рациональное и, скажем прямо, довольно крупное, зерно в его пробиве сквозь запутанную сетку милых нашему сердцу арбатских переулков, есть. Разгрузка центра Москвы широкими радиальными магистралями остро необходима. Да и вид у проспекта шикарный, «современный», под стать джинсам и мини запрудившей его молодежи. Даже собственная для контраста и переключки эпох церквушка у него есть. Одним словом, проспект громко, во всеуслышание объявил о своем существовании и стал неотъемлемой частью Москвы. Что касается меня, особой симпатии я к нему не питаю, как ко всему бесцеремонному, но, что поделаешь, уже привык и принимаю как данность. А по вечерам, даже любуюсь им, сидя на балконе моих друзей — как одно за другим зажигаются окна его башен, а небо еще не погасло и медленно разгораются светильники газосветных фонарей, и несутся машины с красными огоньками — туда, с сияющими фарами — сюда, подмигивая правым глазом на поворотах. Красиво.

Ясно одно — город, насчитывающий на своем веку не одно столетие, не может сохранить свое лицо нетронутым. Москва испытала это на себе как ни один другой город. Все восемь столетий ее существования лицо ее «трогали» все, кому только не лень. И князя,

и Петр, пытавшийся, правда, без особого успеха, внести в ее сумятицу некую регулярность, и все последующие цари и царицы, и купцы, и фабриканты, и градоначальники. Вносили свою лепту и пожары. Один из них, 1812 года, как известно, способствовал именно украшению. Меньше чем за десять лет Москва отстроилась заново. И тут отдадим должное выдающемуся архитектору О. Бове, под руководством которого созданная специально Комиссия строений провела гигантскую работу по восстановлению города. На смену большим дворянским усадьбам дворцового типа пришли маленькие, уютные особнячки средних и мелких дворян и купцов, сделанные по так называемым «апробированным», а на нашем языке — типовым, проектам. И нужно сказать, типовые эти проекты, сделанные с большим вкусом и разнообразием, придали всем этим особнячкам, выходящим, как правило, на красную линию (допожарные усадьбы строились, в основном, в глубине участка, с большим парадным двором впереди), удивительную человечность и теплоту, которые так отличают московскую архитектуру начала прошлого века. Посмотрите на особняк А. Поливанова по ул. Веснина № 9, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Это один из самых типичных московских домов того времени — одноэтажный, с шестиколонным дорическим портиком, с мезонином, удивительных пропорций, он поражает своим каким-то свойственным только этому роду домов обаянием. Подстать ему особняк на углу Кропоткинского переулка — он в глубине участка за каменной стеной и решеткой, и на спускающихся в сад ступеньках его невольно ищешь глазами старушек в чепцах, варящих варенье. Да, «незлым тихим словом» вспомнишь Бове...

Вторая половина XIX века крепко поработала над лицом Москвы. Город разросся и вверх, и вширь. Как грибы после дождя (прошу простить, но лучше не скажешь) стали расти доходные дома, конторы и банки.

Думаю, что для старого москвича тех лет все они — многоэтажные, холодные, с глухими брандмауэрами — были немилы, как ныне нам злосчастные белые башни. Для него какая-нибудь Остоженка или Покровка, на которые мы смотрим сейчас с таким умилением, наверное, казались варварским глумлением над стариной.

Пришла Революция... Лицо Москвы покрылось плакатами. Громадными, кричащими, рычащими, зовущими, требующими, гвоздящими... Интересно, какой был первый построенный после семнадцатого года дом? Моссельпром у Арбатской площади? Или несуществующий уже сейчас Экспортхлеб в Охотном ряду? В основном же строительство было на бумаге. Дворцы Культуры, дворцы Труда, клубы. Очень любили тогда слово «дворец». И все это куда-то устремлялось, динамичное, фабрично-заводское, похожее на подъемные краны. Башня Татлина, первые проекты Весниных. Двадцатые годы... Затем тридцатые.

Я нашел среди книг моего друга уникальный, на мой взгляд, альбом «От Москвы купеческой к Москве социалистической». ОГИЗ-ИЗОГИЗ. 1932 год. Фотографии — прежде, теперь...

Прежде — вербное катанье купечества и буржуазии (Красная площадь). Дрожки, барыни, толстый полицейский в светлой шинели, за «рядами», ГУМом купола, Иверские ворота... Теперь — парад физкультурников «Готов к труду и обороне».

Реконструкция Арбатской площади. Вся реконструкция в том, что снесли церковь в центре площади и рядом с Художественным кинотеатром построили деревянный крытый рынок — я его помню. На улице людишки — туда-сюда, трамваи с двумя прицепами «А» и № 4, автобусы «Лейланд», три легковых машины, подвода с мешками. До сегодняшнего дня сохранился только кинотеатр да дома на Воздвиженке (ныне проспект Калинина).

Реконструкция Никитской площади. Снесли дом, на его месте поставили Тимирязева.

Реконструкция Красных ворот. Снесли ворота, на их месте трамвайные рельсы.

Пушкинская площадь. Разница между «прежде» и «теперь» только в количестве людей (2,5 миллиона в 1932 г.), да в транспорте — тогда конка — теперь трамвай. Ну, еще вывески и газовые фонари.

Я хорошо помню эту площадь. Страстной монастырь, павильон трамвайной остановки посреди площади, Пушкин на старом месте. Теперь от всего этого осталось только здание «Известий», да дом на углу бульвара, где был когда-то пивной бар, а теперь молочное кафе. Нет уже кино «Ша-Нуар» (впоследствии «Центральный»), нет «дома Фамусова» (а как хорошо он мог вмонтироваться в строящееся сейчас новое здание «Известий», как по-настоящему это было бы современно), нет Страстного монастыря...

Я отнюдь не против сноса. Думаю, что Москва ничуть не пострадала бы, если б половину ее домов снесли. Что может быть, например, унылее Таганской площади с ее нынешними домами. Вовсе не каждый дом с фронтоном надо сохранять. Да и большинство из них в таком состоянии, что никаким капитальным ремонтом дела не поправишь. Речь идет только о том, что красиво и, в отдельных случаях, что «дорого, как память».

В Варшаве полностью восстановили по чертежам, по обмерам, Рыночную площадь. Фасады, внешний весь облик сохранили такими, какими они были, всю же внутреннюю начинку модернизировали со всеми требованиями комфорта. Но это архитектурный центр Варшавы и каждое здание в нем — памятник искусства. Ставить на капитальный ремонт все приарбатские домики и особнячки бессмысленно. Надо выбирать наиболее красивые, наиболее типичные для своего времени, а где-то, может быть, целый квартал или

уличку (вроде Златой улички в Праге) и, расселив жильцов по новым, хорошим домам, отдать эти реставрированные особняки библиотекам, детским садам, музеям, картинным галереям.

Что может быть лучше маленьких музеев. Недалеко от Полянки, в тихом, зеленом Щетининском переулке в небольшом одноэтажном домике находится теперь музей Тропинина. Фонд его, разместившийся в четырех небольших залах, — дар коллекционера и знатока живописи Вишневского. Как приятно бродить по этим тихим, малолюдным комнатам с поскрипывающими полами и тихо позванивающими старинными люстрами. А на стенах Вишняков, Антропов, Тропинин, таинственно-загадочный Рокотов. Под стеклом — акварели, медальоны, изящные дамы в кружевах. Как спокойно, не торопясь, можно всем этим любоваться, переходя из зала в зал, возвращаясь назад, не боясь экскурсий.

А в Антипьевском переулке, рядом с Музеем им. Пушкина и церковью св. Антипия XVI века, в особняке Верстовского сейчас кабинет гравюры. Это также один из послепожарных «апробированных» особнячков. В нем периодически устраиваются выставки. И в нем тоже тишина, покой, бронзовые канделябры у деревянной лестницы, расходящейся двумя маршами на второй этаж, мраморные, какие-то очень комнатные колонны, на фасаде изящные медальоны, мезонин с полукруглым окном. Все очень тщательно, любовно отреставрировано, видно, что делали это люди знающие, не равнодушные.

Но что меня поразило — это таинственный, пустой дом, даже целая небольшая усадьба между домом Верстовского и церковью Антипия. Церковь старательно реставрируется, купола покрыты даже медью, а в пустом, большом, с разными пристройками доме живут, очевидно, только привидения, выходящие по ночам в тенистый, запущенный сад, со всех сторон

огороженный стенами. Когда-то это был дом фабриканта Пастухова, затем поселили здесь детский сад (сохранились еще низенькие, детские скамеечки в саду, покосившаяся «гимнастика», как говорили в старину), сейчас — ничего. В центре Москвы — и ничего... Кстати, дом на углу Кропоткинского также стоит с заколоченными окнами.

Я говорю обо всем этом, невольно тревожась за вторжение башен в арбатские переулки. Тревожусь за маленький домик на углу Гагаринского и Хрущевского переулков, о котором я уже упоминал и к которому башни уже подступили вплотную. Почему бы не открыть в нем музей декабристов?

Но вернемся к началу тридцатых годов, к годам, когда асфальтировали площадь Свердлова и много об этом писали, когда не было еще метро, но говорили о нем все и ждали с великим нетерпением. Я учился тогда в Строительном институте и хорошо помню, как пытались тогда архитекторы изменить лицо Москвы. И Ленинграда тоже. Нет, не изменить, а как говорили тогда, наоборот, подчеркнуть, в других же случаях — исправить. В Москве, например, весь Арбат, все его дома без исключения выкрасили в лиловый цвет. Причем, не просто в лиловый, а в лиловый, сгущающийся по тону от Смоленской площади к Арбатской. Это называлось, не помню уже точно как, но приблизительно так: подчеркнуть интенсификацией цвета всеобщее стремление от периферии к центру. Помню хорошо Арбат, я там жил, но кажется мне, что другие радиальные улицы тоже усиленно «интенсифицировались».

В Ленинграде поступили иначе. Решено было, что Невский проспект, или, как он тогда назывался, Проспект 25 Октября, слишком однообразен и уныл. Надо его оживить. И оживили. В каждом доме каждый этаж был выкрашен в другой цвет. Черный, желтый, красный, голубой, оранжевый. Не помню уже, что бы-

ло сделано с гранитными фасадами, но хорошо помню безудержную пестроту фасадов, приводившую неподготовленного человека просто в содрогание.

Все это кажется сейчас смешным и наивным, но это было. Так в тридцатые годы молодые и немолодые энтузиасты боролись с «прогнившим» прошлым. Кровь кипела, руки чесались, но денег было мало, опыта еще меньше и вся энергия уходила на снос, утопические проекты и раскраску фасадов.

Снос... Оказывается, это не всегда плохо. По Москве надо бродить. У нормального современного человека на это не хватает времени. Но только так можно увидеть, что же происходит сейчас с Москвой. Из окна троллейбуса можно увидеть, как хорошо сейчас стало дому Пашкова — Румянцевскому музею, когда снесли заслонявшие его дома, или церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, в которой венчался Пушкин — она точно заново родилась — но то, что происходит в переулочках, не все замечают. А они-то зажили сейчас новой жизнью. Снесли обветшалое, разваливающееся и, вдруг, появились московские дворики. Как будто сняли, выражаясь мхатовским языком, четвертую стену. Выглянули наружу флигельки, увитые виноградом верандочки, уютные столики в тени деревьев, о существовании которых знали только жильцы этого дворика, а теперь и мы. Стали просторнее перекрестки, появились зеленые садики, открылись какие-то скрытые до сих пор от человеческого глаза перспективы. Такое я обнаружил, например, на улице А. Толстого, в замоскворецких переулочках. Ощущение, будто все эти кривые улочки и тупички расстегнули ворот и вздохнули полной грудью. А Москве это, ох, как надо.

Многим это может показаться мелким, лишенным размаха. В наш космический век думать надо другими, мол, категориями, другими масштабами, а он, видите ли, каким-то дворикам радуется. Радуюсь и не

стесняюсь этого. Радуюсь, потому что люблю Москву. А Москва для меня это и Красная площадь со сменой караула у Мавзолея, и метро Дворец Советов, ныне Кропоткинская, с каким-то, всегда казавшимся мне загадочным, сиянием колонн, и поленовский дворик с Николой на Песках, и яркая зимняя кустодиевская Москва, и Аполлинария Васнецова, средневековая, деревянная, с теремами, сказочная, которой нет, а как хорошо бы было, если б хоть крохотный кусочек ее сохранился... И грибоедовская, пушкинская, Наташи Ростовской. Слишком многое связано у русского человека с Москвой, чтоб не радовался он всему, что связано с ее прошлым, с ее историей. А в ней было многое. И кровь Лобного места, и пепел восемьсот двенадцатого, и залпы революций, и огни салютов сорок пятого.

Давайте же любить в Москве все, что в звуке ее имени сливается и отзывается, и будет отзываться в нашем сердце всю жизнь, всегда.

**
*

Ну, а Киев? Твой родной Киев? Небось, скучаешь? Нет, не скучаю.

Скучаю по Ирке, той самой Ирке, которая, когда была маленькая, говорила: «Не мешайте дяде Вике, он сел за своего Хемингуэя». Сейчас она уже большая, ее Сережке уже десять лет... Скучаю по ее маме, Жене, которая давно уже Евгения Александровна и куда более седая, чем я, а дружили мы с ней, когда обоим нам было по восемнадцать лет... Скучаю по безалаберному алкашу Сашке, умному и талантливому, но в свои тридцать лет не сумевшему еще наладить свою жизнь, — хочется делать одно, а приходится делать другое... Скучаю по Рафуле, с которым мы сделали несколько не очень плохих фильмов, последний из которых так и не вышел на экраны из-за моего пло-

хого поведения. По Гавриле, которому это же мое поведение вылилось боком (пытался меня еще оправдывать) — исключили из партии, из двух Союзов — писателей и кинематографистов — и с работы уволили... Скучаю по Рюрику, ехидному и ироничному, снобу, великому мастеру перемывания чужих костей (всегда, уходя от него, думаешь, а как он тебя сейчас пригвоздит к стенке?)... Скучаю по Яньке, тому самому журналисту, который расхваливал тридцать лет тому назад пьесу Корнейчука, и по толстухе жене его, и дочке, и по внуку, и старушке маме, всегда считавшей, что у меня слишком громкий голос... Ну, еще по двум, трем, с которыми не прочь был бы посидеть и подвести кое-какие итоги... И все! На два миллиона жителей. Не густо...

Но есть люди, друзья, о которых мало сказать скучаю. Им просто плохо. И кое-кому, опять-таки, из-за дружбы со мной. (И ты, Некрасов, знай — будем твоих друзей сажать!). Славику Глузману впаяли семь лет (чтение, мол, и распространение Самиздата!). За спиной у него уже два года и такой, казалось, тихий, доброжелательный, мухи не обидит, он в лагере сейчас первый борец против бесправия и тупой жестокости. А Леня Плющ в «психушке» — слишком уж разносторонние были у него интересы и книги не те читал. Плевать, что по убеждениям марксист, не нужны нам такие марксисты. Вот и колют его всякими, якобы, лекарствами, называется лечат, а жена с двумя детьми без работы, бьется как рыба об лед, а ей с улыбочкой: «Вот вылечим мужа, тогда можете куда угодно ехать...» И Саша Фельдман тоже пусть посидит, нечего крутиться возле синагоги, смуту сеять и венки свои с непонятными там надписями на Бабий Яр волочить. Посидишь, потаскаешь камни, поймешь, наконец, как у нас хулиганить. Саша получил три года за то, что оскорбил, вырвал из рук торт, девушку и избил (!) двух здоровенных парней, которые, как потом оказа-

лось, были просто-напросто двумя переодетыми милиционерами... А Марику Райгородецкому два года за то, что Замятина в портфеле носил, значит, читал и распространял...

Вот по ком я скучаю, вот кого мне не достает. А **каштан**ы и **липы** и **без** меня будут цвести и распускаться, и пляж, который я обычно открывал в мае месяце, а то и в апреле, тоже обойдется как-нибудь без меня, и Днепро будет катить свои воды в Черное море, Крещатик будет бурлить и выстраиваться в очереди за апельсинами или помидорами, а «друзья», переходившие в последнее время при виде меня на другой тротуар, с облегчением вздохнут «убрался слава Богу, по-добру, по-здорову, тоже, видите ли, борец за справедливость...»

Нет, не скучаю я по Киеву...

Я разлюбил его. Разлюбил потому, что он разлюбил меня.

Возможно, он неплохо еще относился ко мне, загорелому мальчишке, гонявшему на стройных, как пирога, полутригерах по Днепру, делавшему заплывы от Стратегического моста до Цепного, изображавшему испанцев, подкрашивая жженой пробкой усики в «Благочестивой Марте» Тирсо де Молина, или корпевшему над дипломным проектом (впрочем, это было уже, кажется, началом заката). Казалось, ничем я и не провинился — воевал, был ранен — но с тех пор, как стал об этом писать, стараясь, по мере сил, не очень врать, почувствовал я на себе косые взгляды. Возможно, дружи я с Корнейчуком, выступай на собраниях против космополитов и националистов, затаптывай в грязь Максима Рыльского и Владимира Сосюру, включись в хор словословий сначала одному, потом другому — избери я такой путь, быть может, все пошло бы иначе. Но что-то не захотелось. И все пошло так, как пошло... Собрания, проработки, выкрики из зала «Позор!»; и обвинительные речи, и грозные

с председательского места: «А нам не интересно, о чем вы думали, скажите прямо, не виляя, как вы относитесь к критике товарища Хрущева, Никиты Сергеевича!», и выступающие один за другим писатели: «Допустил... Скатился... Докатился... Пытается... Выкручивается...»

Нет, не скучаю я по Киеву...

Ни по каштанам его и липам, ни по днепровским откосам, ни по красным колоннам университета. Все это заслонило другое... И только, может быть, одно место тянет меня к себе — три могилки за железной оградой на Байковом кладбище. Там покоятся три самых близких для меня человека, проживших такую хорошую, ясную и такую нелегкую жизнь. Бабушка умерла еще при немцах — самый добрый человек в мире, тетя Соня — человек жестких правил — прожила еще двадцать с лишним лет, последней умерла мама, дожив до 91 года — умерла тихо, легко вздохнув у меня на руках. Ее я любил и люблю больше всех на свете, ее мне больше всего не хватает — ее ясности, веселости, доброжелательности ко всем. Даже к Хрущеву. «Знаешь, я очень волнуюсь за него, как бы с ним чего не вышло — со всеми, кто тебя обидит, всегда что-нибудь происходит. Маршал Жуков запретил твой фильм «Солдаты», вот его и уволили. Ох, боюсь я за Никиту...» (Он незадолго до этого обрушился на меня за мои очерки об Америке и Италии). Потом, когда Хрущев, действительно, пострадал (за меня, конечно!), все вздыхала: «Может ему, как пенсионеру, разрешат все-таки два месяца в году работать. Ведь он такой деятельный и так поговорить любит...» Вот какой человек была моя мама, очень скучно без нее.

**
*

За сим, дорогой читатель, не пора ли поставить точку? Надо и тебе немного отдохнуть. Иди домой, ложись на диван и послушайся совета одной прекрас-

ной книги. Называется она «Гид по таинственному Парижу». «Если тебе все надоело, — говорится там в предисловии, — и не хочется ни с кем разговаривать, а на дворе к тому же стужа и ветер завывает в трубах, подвинь свое кресло к камину, поставь рядом стакан старого доброго вина, зажги трубку и возьми меня в руки».

Вот и тебе, читатель, советую: возьми в руки, если нету гида, проверенного уже в таких случаях Чехова или Жоржа Сименона, и в компании полицейского комиссара Мегрэ забудь на какое-то время обо мне. А настанет время, опять погуляем, дай только придумать маршрут.

До следующей встречи!

НЕКРАСОВ Виктор Платонович — родился 17 июня 1911 г. в семье врача. В 1937 году окончил архитектурный факультет Киевского строительного института. Одновременно учился в театральной студии при Киевском театре русской драмы. Был актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону. С 1941 по 1945 год был на фронте полковым инженером и заместителем командира саперного батальона. Участник Сталинградской битвы. После ранения был демобилизован и после войны работал журналистом. В 1946 году вышла его первая повесть «В окопах Сталинграда» (Сталинская премия 1947 г.). Автор ряда романов и повестей. В «Новом мире» были опубликованы очерки «По обе стороны океана» (1962), попавшие под обстрел советской критики, после которой был исключен из партии, но вскоре восстановлен. После ряда обысков, произведенных КГБ в январе 1974 года, был окончательно исключен из партии.

В настоящее время живет в Париже.

Стихи

Лия В л а д и м и р о в а

СОЛЬ-МИНОРНАЯ СИМФОНΙΑ

*«Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...»*

Анна Ахматова

1

«Я вам Моцарта привез,
Я приеду через час».
Полночь. Улица. Мороз.
В мутных окнах свет погас.

Не пришел он через час,
Не пришел он через день,
Не пришел он через год,
Не пришел он никогда.

Там, в пути, на полпути,
Кто-то черный поджидал.
День мой белый, отпусти
Во Владимирский централ!

2

Тут, на праздничном столе,
Душно веточкам могильным.
Тут, на утренней земле,
Скучно жизням пересыльным.

Утром заперт лучший друг,
Прочих — бездна поглотила...
Ты заплакала не вдруг.
Раньше — шторы опустила.

3

Приближается закон,
Совершается совет...
От раздавленных икон
С пола льется слабый свет.

«Я приеду через час,
Не тревожься обо мне», —
Сколько раз звучало в нас,
Обрываясь в тишине!..

Будто с чьих-то похорон —
Время, время, звук пустой! —
Я вернулась. Я сквозь сон
Воевала с пустотой.

А над городом — снега...
Полночь, женщина впотьмах.
След тяжелый сапога
На разорванных листах.

4

Улыбки поздние друзей,
И колкое сердцебиенье,
И руки матери моей
В то невозвратное мгновенье.

О Русь моя, мой бедный дом,
Прости меня, как мать простила,
За то, что скорбью и стыдом
Одну себя перекрестила.

5

«Я вам Моцарта...» Темно.
«Я приеду...» Ранний стук.
Занесенное окно;
Кто там, недруг или друг?

Так и есть, и будет впредь.
Так и было. Почему
Надо прежде — умереть,
Чтобы жить в пустом дому?..

«Через час...» — который день,
Через день — который год!
Полустертая ступень,
Подконвойный поворот.

Там от сосенки к сосне
Ветру весело кружить,
Мне ж от стеночки к стене
Эту ночь не пережить.

6

Чтоб тоска меня скрутила
 В этих запертых дверях —
 Не о том судьбу молила
 На московских пустырях:

— Дай мне жара, дай озноба,
 Прохвати, не пожалей,
 Чтоб нерадостная злоба
 По задворкам, по трущобам
 Разгорелась веселей.

Дай мне воли хоть на пробу,
 Дай мне верности до гроба —
 Снега белого белей,
 Зорьки утренней светлей.

Утро. Серые сугробы.
 Мы с тобою пьяны оба.
 Ладно, что уж там... Налей.
 Чтоб не жить.. А может, чтобы?..

Я задам себе самой
 Эти поздние вопросы,
 Если с позднего допроса
 Не дождусь тебя домой.

7

Послушай, если ночь душна,
 Тесна от боли беспредельной,
 Пошли мне Бог немного сна
 Для тихой песни колыбельной.

Немного сна, и снегопад,
И верность памяти суровой,
Где ряд кладбищенских оград,
И воздух стылый и еловый.

Там руки стынут на ветру,
И шепот слышится оттуда:
«Что ж... Может, завтра я умру —
Сегодня я с тобой побуду».

8

То не скорбная страна
Пробуждается на час,
То последняя вина
Надвигается на нас.

И цветет чертополох
По раздольям вековым,
И не верит светлый Бог
Темным свечкам восковым.

И кадит, кадит, кадит
Над пожарищами дым...
Слышишь, колокол гудит
Не по мертвым, по живым.

9

Так за потерей потеря
Под завыванье пурги.
Верю я или не верю —
Боже ты мой, помоги!

Что нам до шумного света —
Шепот любви и вражды —
Было бы горе согрето
Памятью общей беды.

То же, всё то же и то же,
Вечные те же шаги...
Если я верю, Боже,
Боже, сейчас помоги!

10

И метут, метут снега
За полярный, светлый круг.
Не видать за полшага
Кто там — недруг или друг.

А над пламенем берез,
В бестревожной тишине —
«Я вам Моцарта привез,
Не тревожьтесь обо мне».

Август-сентябрь 1974 г., Израиль.

ВЛАДИМИРОВА Лия — родилась в 1938 году в Москве. Окончила ВГИК, сценарный факультет. Работала в кино. Писала стихи, которые, за исключением нескольких, не публиковались. В 1973 выехала из СССР в Израиль. Стихи ее широко печатаются теперь в русской периодике за рубежом. Недавно в Израиле вышел сборник стихов Лии Владимировой «Связь времен».

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Главы из второй книги романа

21

Секретарь обкома одной из оккупированных немцами областей Украины, Дементий Трифонович Гетманов, был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса.

Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на Дугласе слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья.

Товарищи, уфимские работники, заботливо относились к его семье: бытовые и жилищные условия оказались неплохими. Жена Гетманова, Галина Терентьевна, до войны отличавшаяся, из-за дурного обмена веществ, полнотой, не похудела, даже несколько поправилась в эвакуации. Две дочери и маленький, еще не ходивший в школу, сын выглядели здоровыми.

Гетманов провел в Уфе пять дней. Перед отъездом к нему зашли проститься близкие люди: младший брат жены, зам. управ. делами Украинского совнаркома, старый товарищ Гетманова, киевлянин Машук, работник органов безопасности, и свояк Дементия Трифоновича, ответственный работник отдела пропаганды украинского ЦК, Сагайдак.

Сагайдак приехал в одиннадцатом часу, когда дети уже легли спать, и разговор шел вполголоса. Гетманов сказал:

— А не выпить ли нам, товарищи, московской горилки по глотку?

Все в Гетманове по отдельности было большим, — седеющая, вихрастая голова-башка, широкий, обширный лоб, богатый мясом нос, ладони, пальцы, плечи, толстая мощная шея. Но сам он, соединение больших и массивных частей, был небольшого роста. И странно, что в его большом лице особенно привлекали и запоминались маленькие глаза: они были узкими, едва видимые из-под набухших век. Цвет их был неясный — не определишь, чего в них больше: серого или голубого. Но заключалось в них много пронзительного, живого, мощная проницательность.

Галина Терентьевна, легко подняв свое грузное тело, вышла из комнаты и мужчины притихли, как это часто бывает в деревенской избе и в городском обществе, когда на столе должно появиться вино. Вскоре Галина Терентьевна вернулась, неся поднос. Казалось удивительным, как ее толстые руки сумели за короткие минуты пооткрывать столько консервных банок, собрать посуду.

Машук оглядел стены, завешанные украинскими плахтами, посмотрел на широкую тахту, на гостеприимные бутылки и консервные банки и сказал:

— А я помню эту тахту в вашей квартире, Галина Терентьевна, и молодец же вы, что сумели ее вывезти, определенный талант у вас.

— Ты учти, — сказал Гетманов, — когда эвакуировались, меня дома уже не было: все сама!

— Не бросать же ее, земляки, немцам, — сказала Галина Терентьевна, — и Дима так привык к ней, придет с бюро обкома и сразу на тахту, журналы читает.

— Когда же читает, спит, — сказал Сагайдак.

Она снова ушла на кухню и Машук плутовски сказал, вполголоса обращаясь к Гетманову:

— Ох, и представляю я себе докторшу, военврача, с которым нас Дементий Трифонович познакомит.

— Да, уж он даст жизни, — сказал Сагайдак.
Гетманов отмахнулся:

— Бросьте, что вы, — инвалид.

— Как же, — сказал Машук, — а кто в Кисловодске в три часа ночи в палату возвращался?

Гости захохотали и Гетманов мельком, но пристально поглядел на брата жены.

Вошла Галина Терентьевна и, оглядев смеющихся мужчин, проговорила:

— Только жена вышла, а они уж моего бедного Диму чёрт знает чему учат.

Гетманов стал разливать водку в рюмки и все стали озабоченно выбирать закуску.

Гетманов, поглядев на портрет Сталина, висевший на стене, поднял рюмку и сказал:

— Что ж, товарищи, первый тост за нашего отца, пускай он там будет здоров!

Сказал он эти слова немного грубоватым, товарищеским голосом. В этом простецком тоне суть состояла в том, что всем было известно величие Сталина, но собравшиеся за столом люди пили за него, прежде всего любя в нем простого, скромного и чуткого человека. И Сталин на портрете, сощурившись, оглядывая стол и богатую грудь Галины Терентьевны, казалось говорил:

— Вот, ребята, я раскурю трубочку и подсяду к вам поближе.

— И верно, хай наш батько живет, — сказал брат хозяйки, Николай Терентьевич, — что бы мы без него все делали?

Он оглянулся на Сагайдака, придерживая возле рта рюмку, не скажет ли он чего-нибудь, но Сагайдак посмотрел на портрет:

— О чем же, отец, еще говорить, ты все знаешь, — и выпил. Все выпили.

Дементий Трифонович Гетманов был родом из Ливен, Воронежской области, но у него имелись долгие связи с украинскими товарищами, так как он много лет вел партийную работу на Украине. Его связи с Киевом были упрочены женитьбой на Галине Терентьевне, — ее многочисленные родственники занимали видные места в партийном и советском аппарате на Украине.

Жизнь Дементия Трифоновича была довольно бедна внешними событиями. Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы и царский суд его никогда не высылал в Сибирь. Доклады на конференциях и съездах он, обычно, читал по рукописи. Читал он хорошо, без запинок, с выражением, хотя писал доклады не сам. Правда, читать их было легко, их печатали крупным шрифтом, через два интервала и имя Сталина было выделено на них особым красным шрифтом. Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком, хотел учиться в механическом институте, но его мобилизовали на работу в органы безопасности и вскоре он стал личным охранником секретаря крайкома. Потом его отметили и послали на партийную учебу, а потом он был взят на работу в партийный аппарат — сперва в организационно-инструкторский отдел крайкома, потом в управление кадров Центрального Комитета. Через год он стал инструктором отдела руководящих кадров. А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили — хозяином области.

Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедры, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки.

Доверие партии! Гетманов знал великое значение этих слов. Партия доверяла ему! Весь его жизненный труд, где не было ни великих книг, ни знаменитых

открытий, ни выигранных сражений, — был трудом огромным, упорным, целеустремленным, особым, всегда напряженным, бессонным. Главный и высший смысл этого труда состоял в том, что возникал он по требованию партии и во имя интересов партии. Главная и высшая награда за этот труд состояла лишь в одном — в доверии партии.

Духом партийности, интересами партии должны были проникаться его решения в любых обстоятельствах, шла ли речь о судьбе ребенка, которого определяют в детдом, о реорганизации кафедры биологии в университете, о выселении из помещения, принадлежащего библиотеке, об артели, производящей пластмассовые изделия. Духом партийности должно быть проникнуто отношение руководителя к делу, к книге, к картине и поэтому, как ни трудно это, он должен, не колеблясь, отказаться от привычного дела, от любимой книги, если интересы партии приходят в противоречие с его личными симпатиями. Но Гетманов знал: существовала более высокая степень партийности; ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни склонностей, ни симпатий, могущих вступить в противоречие с духом партийности, — все близкое и дорогое для партийного руководителя потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух партийности.

Подчас жестоки, суровы были жертвы, которые приносил Гетманов во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал»... Но дух партийности проявляется в том, что партия как раз на то и не нужна, не нужна потому, что личные чувства, — любовь, дружба, землячество, — естественно не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности.

Незаметен труд людей, обладающих доверием партии. Но огромен этот труд — нужно и ум и душу тратить щедро, без остатка. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающих даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Сила его решающего слова заключалась в том, что партия доверяла ему свои интересы в области культуры и искусства.

Таким количеством власти, каким обладал он, секретарь областной партийной организации, вряд ли мог обладать народный трибун, мыслитель.

Гетманову казалось, что самая глубокая суть понятия — доверие партии — выражалась в мнении, чувстве, отношении Сталина. В его доверии к своим соратникам, наркомам, маршалам и была суть партийной линии.

Гости говорили главным образом о новой военной работе, предстоящей Гетманову. Они понимали, что Гетманов мог рассчитывать на большее назначение, люди с его партийным положением обычно, переходя на военную работу, становились членами Военных Советов армий, а иногда даже и фронтов.

Гетманов, получив назначение на корпус, встревожился и огорчился, узнавал через одного из своих друзей, через Оргбюро ЦК, нет ли против него наверху недовольства. Но, казалось, ничего тревожного не имелось.

Тогда Гетманов, утешая себя, стал находить хорошие стороны в своем назначении — ведь танковым войскам предстоит решить судьбу войны, им предстоит выступить на решающих направлениях. В танко-

вый корпус пошлют не каждого, скорей пошлют членом Военного Совета в захудалую армию на второстепенный участок, чем в танковый корпус. Этим партия выразила ему доверие. Но все же он был огорчен — очень ему нравилось, надев форму и глядя в зеркало, произносить:

«Член Военного Совета Армии, бригадный комиссар Гетманов».

Почему-то наибольшее раздражение вызывал в нем командир корпуса, полковник Новиков. Он еще ни разу не видел полковника, но все, что Гетманов знал и узнавал о нем, не нравилось ему.

Друзья, сидевшие с ним за столом, понимали его настроение и все, что говорили они о его новом назначении, было приятно ему.

Сагайдак сказал, что корпус, вероятней всего, пошлют под Сталинград, что командующего Сталинградским фронтом, генерала Еременко, товарищ Сталин знает со времен гражданской войны, еще по Первой Конной Армии, и часто говорит с ним по телефону ВЕЧЕ, а когда тот бывает в Москве, товарищ Сталин принимает его... Недавно командующий был на даче у товарища Сталина под Москвой и беседа товарища Сталина с ним длилась два часа. Хорошо воевать под командованием человека, к которому с таким доверием относится товарищ Сталин.

Потом говорили, что Никита Сергеевич помнит Гетманова по работе на Украине и что большой удачей для Гетманова будет попасть на тот фронт, где Никита Сергеевич член Военного Совета.

— Не случайно, — сказал Николай Терентьевич, — в Сталинград товарищ Сталин послал Никиту Сергеевича, фронт решающий, кого же послать?

Галина Терентьевна задорно сказала:

— И моего Дементия Трифоновича случайно, что ли, товарищ Сталин посылает в танковый корпус.

— Да уж, — сказал прямодушно Гетманов, — мне попасть на корпус, это вроде из первых секретарей обкома дорасти до секретаря райкома. Радость не-большая.

— Нет, нет, — серьезно сказал Сагайдак. — В этом назначении выражено доверие партии. Райком, да не простой, не сельский, а Магнитогорский, Днепро-дзержинский. Корпус, да не простой — танковый!

Машук сказал, что командира корпуса, куда комиссаром едет Гетманов, недавно назначили, он раньше не командовал соединениями, — об этом сказал ему работник фронтового особого отдела, приезжавший недавно в Уфу.

— Он мне еще вот что говорил, — сказал Машук, — и сам себя перебивая, добавил: — да что вам рассказывать, Дементий Трифонович, вы-то о нем, наверное, больше знаете, чем он сам о себе знает.

Гетманов узко сощурил и без того узкие, пронзительные, умные глаза, пошевелил мясистыми ноздрями и сказал:

— Ну уж больше!

Машук едва заметно усмехнулся, и все сидящие за столом заметили его усмешку. Странное, удивительное дело — хоть приходился он шуряком и свояком семье Гетмановых и хоть был Машук при семейных встречах скромным, милым, любящим шутку человеком, а все же чувствовали Гетмановы какое-то напряжение, слушая его мягкий, вкрадчивый голос, глядя на темные, спокойные глаза и бледное, длинное лицо. И сам Гетманов, чувствуя это, не удивлялся, он понимал силу, стоящую за Машуком, знавшим что-то такое, чего и Гетманов подчас не знал.

— И что за человек? — спросил Сагайдак.

Гетманов снисходительно ответил:

— Да вот такой, выдвигенец военного времени, до войны ничем особым не отличался.

— В номенклатуре не был? — сказал улыбаясь брат хозяйки.

— Ну, номенклатура, — Гетманов помахал рукой. — Но человек полезный, танкист, говорят, хороший. Начальником штаба корпуса — генерал Неудобнов. Я с ним на восемнадцатом съезде партии познакомился. Мужик толковый.

Машук сказал:

— Неудобнов, Илларион Иннокентьевич? Еще бы. Я у него работать начал, потом судьба развела. Перед войной я с ним у Лаврентия Павловича в приемной встретился.

— Ну, развела, — улыбаясь сказал Сагайдак. — Ты подходи диалектически, ищи тождество и единство, а не противоположность.

Машук сказал:

— По-чудачному все во время войны, полковник какой-то в комкомы, а Неудобнов к нему в подчинение идет!

— Военного опыта нет. Приходится считаться, — сказал Гетманов.

А Машук все удивлялся.

— Шутка, Неудобнов, да от одного его слова что зависело! Член партии с дореволюционным стажем, огромный опыт военной и государственной работы! Одно время думали, что он членом коллегии будет.

Остальные гости поддержали его.

Их сочувствия Гетманову сейчас было удобно выразить в соболезнованиях Неудобнову.

— Да, напутала война, скорей бы кончилась, — сказал брат хозяйки.

Гетманов поднял руку с растопыренными пальцами в сторону Сагайдака и сказал:

— Вы знали Крымова, московский, делал в Киеве доклад о международном положении на докторской группе ЦК.

— Перед войной приезжал? Загибщика этого? В Коминтерне когда-то работал?

— Точно, он. Вот этот мой комкор собрался жениться на его бывшей жене.

Новость почему-то всех насмешила, хотя никто не знал бывшей жены Крымова, ни комкора, который собирался на ней жениться.

Машук сказал:

— Да, шуряк недаром первую закалку получил у нас в органах. И уж про женитьбу знает.

— Хватка есть, скажем прямо, — проговорил Николай Терентьевич.

— А как же... Верховное Главнокомандование ротозеев не жалуется.

— Да, уж наш Гетманов не ротозей, — проговорил Сагайдак.

Машук сказал серьезно и буднично, словно перенеся в свой служебный кабинет:

— Крымова этого, еще когда он приезжал в Киев, помню, — не ясный. Понатыкано у него связей с правыми и с троцкистами с самых давних времен. А разобраться-то верно...

Он говорил просто и откровенно, казалось, так же просто, как мог говорить о своей работе директор трикотажной фабрики или преподаватель техникума. Но все понимали, что простота и свобода, с которой он говорил, были лишь кажущиеся, — он, как никто, знал, о чем можно, а о чем нельзя говорить. А Гетманов, сам любивший ошеломить собеседника смелостью, простотой и искренностью, хорошо знал о сокровенной глубине, молчаливой под поверхностью живого, непосредственного разговора.

Сагайдак, который бывал обычно занятей, озабоченней и серьезней других гостей, не хотел расставаться с легким настроением и весело объяснил Гетманову:

— Его и кинула жена, как недостаточно проверенного.

— Хорошо бы, если потому, — сказал Гетманов. — Но мне подоби́тся, что этот мой комкор женится на совершенно чуждом человеке.

— Ну и пусть, мне бы твои заботы, — сказала Галина Терентьевна. — Главное, чтобы любили друг друга.

— Любовь, конечно, основное — это все знают и помнят, — сказал Гетманов, — но кроме того есть вещи, которые некоторые советские люди забывают.

— Вот это верно, — сказал Машук, — а забывать нам ничего не положено.

— А потом удивляются, почему ЦК не утвердил, почему то, почему не то. А сами не дорожат доверием.

Вдруг Галина Терентьевна удивленно, нараспев произнесла:

— Странно даже слушать ваш разговор, и как будто войны нет, а только и заботы, на ком этот комкор женится, и кто бывший муж у его будущей жены. Ты с кем это, Дима, собрался воевать?

Она насмешливо посмотрела на мужчин, и красивые карие глаза ее казались чем-то похожи на узенькие глаза мужа, — должно быть, проницательностью и походили.

Грустным голосом Сагайдак проговорил:

— Да где там, про войну забыть... Отовсюду наши братья и сыны на войну идут, — от последней колхозной хаты до Кремля. Война — и великая, и отечественная.

— У товарища Сталина — Василий, сын, летчик-истребитель, потом у товарища Микояна сын воюет в авиации, у Лаврентия Павловича, я слышал, сын тоже на фронте, только не знаю, какой род войск. Потом Тимур Фрунзе лейтенант, кажется, в пехоте... Потом у этой, у Долорес Ибаррури, сын под Сталинградом погиб.

— У товарища Сталина два сына на фронте, — сказал брат хозяйки. — Второй, Яков, артиллерийской батареей командовал. Вернее, он первый; Васька — младший, Яков — старший. Несчастный парень, в плен попал.

Он примолк, почувствовав, что коснулся предмета, о котором, по мнению старших товарищей, говорить не следует.

Желая смять молчание, Николай Терентьевич сказал прямодушно и беспечно:

— Между прочим, немцы кидают до конца лживые листовки, будто Яков Сталин дает им охотно показания.

Но пустота вокруг него стала еще неприятней. Он заговорил о том, о чем не следовало упоминать ни в шутку, ни всерьез, о чем полагалось молчать. Вздумай кто-нибудь возмутиться слухами об отношениях Иосифа Виссарионовича с женой, этот искренний опровергатель слухов совершил бы не меньшую оплошность, чем распространитель слухов, — сам разговор был недопустим.

Гетманов, вдруг повернувшись к жене, сказал:

— Сердце мое, там где дело взял в свои руки товарищ Сталин, да еще так крепко взял, там уж пусть немцы волнуются.

А Николай Терентьевич ловил взгляд Гетманова своим виноватым взглядом.

Но, конечно, не вздорные люди сидели за столом, не для того они встретились, чтобы из произошедшей неловкости создавать серьезную историю — дело.

Сагайдак проговорил с добродушной и товарищеской интонацией, поддерживая перед Гетмановым Николая Терентьевича:

— Вот это правильно, а мы, давайте, будем волноваться, чтобы глупостей не натворить на своем участке.

— И чтобы не болтать лишнего, — добавил Гетманов.

В том, что он почти прямо сказал свой упрек, а не промолчал, было выражено прощение Николаю Терентьевичу, и Сагайдак, и Машук одобрительно кивнули.

Николай Терентьевич знал, что этот пустой, оплошный случай забудется, но знал, что забудется он не до конца. Когда-нибудь вдруг зайдет разговор о кадрах, о выдвижении, об особо ответственном поручении и при имени Николая Терентьевича и Гетманов, и Сагайдак, и Машук закивают, но при этом чуть-чуть улыбнутся и на вопрос дотошного собеседника скажут: «Чуток, может быть, легкомысленен», и покажут чуток на кончике мизинца.

В глубине души все понимали, что не так уж врут немцы насчет Якова. Но именно поэтому не следовало касаться этой темы.

Особенно хорошо разбирался в таких делах Сагайдак. Он долгое время работал в газете, сперва заведывал отделом информации, потом сельскохозяйственным отделом, затем около двух лет был редактором республиканской газеты. Он считал, что главная цель его газеты — воспитывать читателя, а не давать без разбора хаотическую информацию о самых различных, часто случайных, событиях. Если редактор Сагайдак считал целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно не выдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей с земли тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения; казалось ему, они не должны были занимать умы читателей, журналистов и писателей. Иногда ему надо было поособому объяснить то или иное событие в жизни, — случалось, что объяснение это бывало поразительно

смелым, необычным, противоречило житейским представлениям. Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение и выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служившие воспитательной цели, взгляды.

Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов», писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами.

И тут он помещал материалы о том, что в колхозных яслях ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали.

Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, выпавших России за 1000 лет ее жизни. И вот на протяжении особо жестоких испытаний первых недель, месяцев ее войны, ее истребительный огонь поставил на первое место реальное, истинное, роковое течение событий, война определяла все судьбы, даже судьбу партии. Эта роковая пора миновала. И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, никогда не ошибавшегося, командования.

В этот вечер не одному Николаю Терентьевичу суждено было пережить неприятные минуты. Машук, перелистывая большой альбом в кожаном переплете, на толстые картонные страницы которого были наклеены фотографии, вдруг так выразительно поднял брови, что все невольно потянулись к альбому. На фотографии был заснят Гетманов в своем довоенном обкомовском кабинете, — он сидел за просторным, как степь, письменным столом в гимнастерке полувоенного

образца, а над ним висел портрет Сталина, такой огромный, какой может быть только в кабинете секретаря обкома. Лицо Сталина на портрете было размазано цветными карандашами, к подбородку была пририсована синяя эспаньолка, на ушах висели голубые серьги.

— Ну что за мальчишка, — воскликнул Гетманов и даже по-бабьи как-то всплеснул руками.

Галина Терентьевна расстроилась, повторяла, оглядывая гостей:

— И ведь, знаете, еще вчера перед сном говорит: «Я дядю Сталина люблю, как папу».

— То и детская шалость, — сказал Сагайдак...

— Нет, это не шалость, это злостное хулиганство, — вздохнул Гетманов.

Он посмотрел на Машука пытливыми глазами. И оба они в эту минуту вспомнили один и тот же довоенный случай, — племянник их земляка, студент-политехник, в общежитии стрельнул из духового ружья по портрету Сталина.

Они знали, что болван-студент дурил, не имел никаких политических, террористических целей. И земляк, славный человек, директор МТС, просил Гетманова выручить племянника.

Гетманов после заседания бюро обкома заговорил с Машуком об этом деле.

Машук сказал:

— Дементий Трифонович, ведь мы не дети: виноват, не виноват, какое это имеет значение... А вот, если прекращу это дело, завтра в Москву, может быть, самому Лаврентию Павловичу сообщат: либерально отнесся к тому, что стреляют по портрету великого Сталина. Сегодня я в этом кабинете, а завтра я — лагерная пыль. Хотите на себя взять ответственность? И о вас скажут: сегодня по портрету, а завтра — не по портрету, и Гетманову чем-то этот парень симпати-

чен, или поступок этот ему нравится? А? Возьмете на себя?

Через месяц или два Гетманов спросил у Машука:

— Ну, как там тот стрелок?

Машук, глядя на него спокойными глазами, ответил:

— Не стоит о нем спрашивать; оказалось, мерзавец, кулацкий выблядок, признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пытливо глядя на Машука, повторил:

— Нет, не шалость это.

— Да ну уж, — проговорил Машук, — парню пятый год, возраст все же учитывать надо.

Сагайдак с такой душевностью, что все ощутили теплоту его слов, сказал:

— Прямо вам скажу, у меня не хватит силы быть принципиальным к детям... Надо бы, да не хватит духу. Я смотрю: были бы здоровы...

Все сочувственно посмотрели на Сагайдака. Он был несчастным отцом. Старший сын его, Виталий, еще учась в девятом классе, вел нехорошую жизнь; однажды его задержала милиция в ресторанном дебоше; и отцу пришлось звонить заместителю Наркома Внутренних Дел, тушить скандальную историю, в которой участвовали дети видных людей: генералов, академиков, дочь писателя, дочь Наркома земледелия. Во время войны молодой Сагайдак захотел пойти в армию добровольцем и отец устроил его в двухлетнее артиллерийское училище. Виталия оттуда исключили за недисциплинированность и пригрозили отправить с маршевой ротой на фронт.

Теперь молодой Сагайдак уже месяц учился в Минометном училище и никаких происшествий с ним не случилось, — отец и мать радовались и надеялись, но в душе у них жила тревога.

Второй сын Сагайдака, Игорь, в двухлетнем возрасте болел детским параличом и последствия этой

болезни превратили его в калеку: он продвигался на костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны. Игорек не мог учиться в школе, учителя приходили к нему на дом, — учился он охотно и старательно.

Не было светила-невропатолога не только на Украине, но и в Москве, Ленинграде, Томске, с которым не советовались Сагайдаки об Игорьке. Не было нового заграничного лекарства, которого не добыл бы Сагайдак через торгпредства либо посольства. Он знал: за чрезмерность родительской любви его можно и должно упрекать. Но он одновременно знал, что грех его — не смертный грех. Ведь и он, сталкиваясь с сильным отцовским чувством у некоторых областных работников, учитывал, что люди нового типа особо глубоко любят своих детей. Он знал — и ему простится знахарка, доставленная из Одессы на самолете к Игорьку, и травка, прибывшая в Киев фельдъегерским пакетом от какого-то священного дальневосточного деда.

— Наши вожди — особые люди, — проговорил Сагайдак, — я не говорю о товарище Сталине, тут уж вообще не о чем говорить, но и ближайшие помощники его... Они умеют и в этом вопросе ставить партию выше отцовского чувства.

— Да, они понимают: не с каждого спросишь такое, — сказал Гетманов и намекнул о суровости, которую проявил один из секретарей ЦК к своему прощтрафившемуся сыну.

Разговор о детях пошел по-новому, задушевно и просто.

Казалось, вся внутренняя сила этих людей, вся их способность радоваться, связаны лишь с тем: румяны ли их Танечки и Виталики, хорошие ли отметки приносят из школы, благополучно ли переходят с курса на курс их Владимиры и Людмилы.

Галина Терентьевна заговорила о своих дочерях:

— Светлана до четырех лет была плохого здо-

ровья, — колиты, колиты, извелась девочка. А вылечили ее только одним — тертыми сырыми яблоками.

Гетманов проговорил:

— Сегодня перед школой она мне сказала: «Нас с Зоей называют, — генеральские дочки». А Зоя, нахалка, смеется: «Подумаешь, большая честь — генеральская дочь! У нас в классе маршальская дочь — это действительно!»

— Видите, — весело сказал Сагайдак, — на них не угодишь. Игорь днями мне заявил: «Третий секретарь — подумаешь, не велика птица!»

Никола тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей.

Машук задумчиво сказал:

— У наших батьков в деревне с детьми просто было.

— А все равно любили детей, — сказал брат хозяйки.

— Любили, конечно, любили, но и драли, меня по крайней мере.

Гетманов проговорил:

— Вспомнил я, как покойный отец в пятнадцатом году на войну шел. Не шутите, он у меня до унтер-офицера дослужился, два Георгия имел. Мать собирала его: положила в мешок портянки, фуфайку, яичек крутых положила, хлебца, а мы с сестрой лежим на нарах и смотрим, как он на рассвете сидит в последний раз за столом. Наносил в кадущку, что в сенях стояла, воды, дров нарубил. Мать все вспоминала потом.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Ого...

— Значит завтра, — сказал Сагайдак и поднялся.

— В семь часов самолет.

— С гражданского? — спросил Машук.

Гетманов кивнул.

— Это лучше, — сказал Николай Терентьевич и тоже поднялся, — а то до военного пятнадцать километров.

— Какое это может иметь значение для солдата, — сказал Гетманов.

Они стали прощаться, снова зашумели, засмеялись, обнялись, и уже в коридоре, когда гости стояли в пальто и шапках, Гетманов проговорил:

— Ко всему солдат может привыкнуть, солдат дымом греется, солдат шилом бреется. Но вот жить в разлуке с детьми, к этому солдат привыкнуть не может.

И по голосу его, по выражению лица, по тому, как смотрели на него уходившие, видно было, что тут уж не шутят.

22

Ночью Дементий Трифонович, одетый в военную форму, писал, сидя за столом. Жена в халате сидела подле него, следила за его рукой. Он сложил письмо и сказал:

— Это заведующему крайздравом, если понадобится тебе спецлечение и выезд на консультацию. Пропуск брат тебе устроит, а он только даст направление.

— А доверенность на получение лимита ты написал? — спросила жена.

— Это не нужно, — ответил он, — позвони управляющему делами в обком, а еще лучше прямо самому Пузиченко, он сделает.

Он перебрал пачку написанных писем, доверенностей, записок и сказал:

— Ну, как будто все.

Они помолчали.

— Боюсь я за тебя, мой коханный, — сказала она.
— Ведь на войну идешь.

Он встал, проговорил:

— Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?

Она сказала:

— Положила, положила. Помнишь, года два назад, ты также на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?

— Теперь в Кисловодске немцы, — сказал он.

Гетманов прошелся по комнате, прислушался:

— Спят?

— Конечно, спят, — сказала Галина Терентьевна.

Они прошли в комнату к детям. Странно было, как эти две полные, массивные фигуры бесшумно движутся в полутьме. На белом полотне подушек темнели головы спящих детей. Гетманов вслушался в их дыхание.

Он прижал ладонь к груди, чтобы не потревожить спящих гулкими ударами сердца. Здесь, в полумраке, он ощущал щемящее и пронзительное чувство нежности, тревоги, жалости к детям. Страстно хотелось обнять сына, дочерей, поцеловать их заспанные лица. Здесь ощущал он беспомощную нежность, нерассуждающую любовь и здесь он терялся, стоял смущенный, слабый.

Его не пугали и не волновали мысли о предстоящей ему новой для него работе. Ему часто приходилось браться за новую работу, он легко находил ту правильную линию, которая и была главной линией. Он знал — и в танковом корпусе он сумеет еще осуществить эту линию.

Но здесь, как связать железную суровость, непоколебимость с нежностью, с любовью, не знающей ни закона, ни линии.

Он оглянулся на жену. Она стояла, по-деревенски подперев щеку ладонью. В полумраке лицо ее каза-

лось похудевшим, молодым, такой была она, когда они в первый раз после женитьбы поехали к морю, жили в санатории «Украина» над самым береговым обрывом.

Под окном деликатно прогудел автомобиль, — это пришла обкомовская машина. Гетманов снова повернулся к детям и развел руками, в этом жесте выражалась его беспомощность перед чувством, с которым не мог он совладать.

В коридоре он, после прощальных слов и поцелуев, надел полушубок, папаху, стоял выжидая, пока водитель машины вынесет чемоданы.

— Ну вот, — сказал он и вдруг снял с головы папаху, шагнул к жене, снова обнял ее. И в этом новом, последнем прощании, когда сквозь полуоткрытую дверь, смешиваясь с домашним теплом, входил сырой и холодный уличный воздух, когда шершавая, дубленая шкура полушубка прикоснулась к душистому шелку халата, оба они ощутили, что их жизнь, казавшаяся единой, вдруг раскололась, и тоска ожгла их сердца.

23

Евгения Николаевна Шапошникова поселилась в Куйбышеве у старушки-немки, Женни Генриховны Генрихсон, в давние времена служившей воспитательницей в доме Шапошниковых.

Станным казалось Евгении Николаевне после Сталинграда очутиться в тихой комнатке рядом со старухой, все удивлявшейся, что маленькая девочка с двумя косами стала взрослой женщиной.

Жила Женни Генриховна в полутемной комнатке, когда-то отведенной для прислуги в большой купеческой квартире. Теперь в каждой комнате жила семья и каждая комната делилась с помощью ширмочек, занавесок, ковров, диванных спинок на уголки и закут-

ки, где спали, обедали, принимали гостей, где медицинская сестра делала уколы парализованному старику.

Кухня по вечерам гудела голосами жильцов.

Евгении Николаевне нравилась эта кухня с прокопченными сводами, красно-черный огонь керосинок.

Среди белья, сохнувшего на веревках, шумели жильцы в халатах, ватниках, гимнастерках, сверкали ножи. Клубили пар стиральщицы, склонясь над корытами и тазами. Просторная плита никогда не топилась, ее обложенные кафелем бока холодно белели, как снежные склоны потухшего в прошлую геологическую эпоху вулкана.

В квартире жила семья ушедшего на фронт рабоче-го-грузчика, врач-гинеколог, инженер с номерного завода, мать-одиночка, кассир из распределителя, вдова убитого на фронте парикмахера, комендант почтамта, а в самой большой комнате, бывшей гостиной, жил директор поликлиники.

Квартира была обширна, как город, и в ней даже имелся свой квартирный сумасшедший, — тихий старичок с глазами милого доброго щенка.

Жили люди тесно, но разобщенно, не очень дружно, обижаясь, мирясь, утаивая друг от друга свою жизнь и тут же шумно и щедро делясь с соседями всеми обстоятельствами своей жизни.

Евгении Николаевне хотелось нарисовать не предметы, не жильцов, а чувство, которое вызывали они в ней.

Это чувство было сложно и многотрудно, казалось, и великий художник не смог бы выразить его. Оно возникло от соединения могущественной военной силы народа и государства с этой темной кухней, нищетой, сплетнями, мелочностью, соединения разящей военной стали с кухонными кастрюлями, картофельной шелухой.

Выражение этого чувства ломало линию, искажало очертания, выливалось в какую-то внешне бессмысленную связь расколотых образов и световых пятен.

Старушка Генрихсон была существом робким, кротким и услужливым. Она носила черное платье с белым воротничком, ее щеки были постоянно румяны, хотя она всегда ходила полуголодная.

В ее голове жили воспоминания о выходках перwokлассницы Людмилы, о смешных словах, которые говорила маленькая Маруся, о том, как двухлетний Митя входил в столовую в передничке и, всплеснувши руками, кричал: «бабедать, бабедать!».

Ныне Женни Генриховна служила в семье женщины-зубного врача приходящей домработницей, ухаживала за больной матерью хозяйки. Хозяйка ее выезжала на пять-шесть дней в район по путевкам горздрава и тогда Женни Генриховна ночевала в ее доме, чтобы помогать беспомощной старухе, едва передвигавшей ноги после недавнего инсульта.

В ней совершенно отсутствовало чувство собственности, она все время извинялась перед Евгенией Николаевной, просила у нее разрешения открыть форточку в связи с эволюциями ее старого трехцветного кота. Главные ее интересы и волнения были связаны с котом, — как бы не обидели его соседи.

Сосед по квартире, инженер Драгин, начальник цеха, с злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на девственно стройный, иссушенный стан, на ее пенсне, висевшее на черном шнурочке. Его плебейская натура возмущалась тем, что старуха осталась предана воспоминаниям прошлого и с идиотски блаженной улыбкой рассказывала, как она возила своих дореволюционных воспитанников гулять в карете, как сопровождала «мадам» в Венецию, Париж и Вену. Многие из «крошек», взлелеянных ею, стали деникинцами, врангелевцами, были убиты красными ребята-

ми, но старушку интересовали лишь воспоминания о скарлатине, дифтерии, колитах, которыми страдали малыши.

Евгения Николаевна говорила Драгину: — «Более незлобивого, безответного человека я не встречала. Поворьте, она добрей всех, кто живет в этой квартире».

Драгин пристально, по-мужски откровенно и нахально вглядываясь в глаза Евгении Николаевны, отвечал:

— Пой, ласточка, пой. Продались вы, товарищ Шапошникова, немцам за жилплощадь.

Женни Генриховна, видимо, не любила здоровых детей. О своем самом хилом воспитаннике, сыне еврея-фабриканта, она особенно много рассказывала Евгении Николаевне, хранила его рисунки, тетрадки и начинала плакать каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где описывалась смерть этого тихого ребенка.

У Шапошниковых она жила много лет назад, но помнила все детские имена и прозвища и заплакала, узнав о смерти Маруси: она все писала каракулями письмо Александре Владимировне в Казань, но никак не могла его закончить.

Щучью икру она называла «кавиар» и рассказывала Жене, как ее дореволюционные воспитанники получали на завтрак чашку крепкого бульона и ломтик оленины.

Свой паек она скармливала коту, которого звала: «Мое дорогое, серебряное дитя». Кот в ней души не чаял и, будучи грубой угрюмой скотиной, завидя старуху, внутренне преображался, становился ласков, весел.

Драгин все спрашивал ее, как она относится к Гитлеру: «Что, небось, рады?», но хитрая старушка объявила себя антифашисткой и звала фюрера людомедом.

Ко всему была она совершенно никчемна — не умела стирать, варить, а когда шла в магазин, то обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса.

Современные дети совсем не походили на ее воспитанников того времени, которое она называла «мирным». Все изменилось, даже игры: девочки «мирного времени» играли в серсо, лакированными палочками со шнурком бросали резиновое диаволо, играли вялым раскрашенным мячом, который носили в белой сеточке-авоське. А нынешние играли в волейбол, плавали сажёнками, а зимой в лыжных штанах играли в хоккей, кричали и свистели.

Они знали больше Женни Генриховны историй об алиментах, абортах, мошеннически приобретенных и прикрепленных рабочих карточках, о старших лейтенантах и подполковниках, привозивших с фронта жиры и консервы чужим женам.

Евгения Николаевна любила, когда старая немка вспоминала об ее детских годах, ее отца, о брате Дмитриии, которого Женни Генриховна особенно хорошо помнила, — он при ней болел коклюшем и дифтеритом.

Однажды Женни Генриховна сказала:

— Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Месье был товарищем министра финансов — он ходил по столовой и говорил: «все погибло, имения жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». И вот, как теперь у вас, вся семья распалась. Месье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию, мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову, мадам плакала: «Целые дни мы прощаемся, пришел конец».

Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила.

Однажды вечером явился участковый и вручил

Женни Генриховне повестку. Старая немка надела шляпу с белым цветком, попросила Женичку покормить кота, — она отправилась в милицию, а оттуда на работу к мамаше зубного врача, обещала вернуться через день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор, соседи ей сказали, что Женни Генриховну забрала милиция.

Евгения Николаевна пошла узнать о ней. В милиции ей сказали, что старуха уезжает с эшелоном немцев на север.

Через день пришел участковый и управдом, забрали опечатанную корзину, полную старого тряпья, пожелтевших фотографий и пожелтевших писем.

Женя пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. Человек в окошке спросил Женю:

— А вы кто, немка?

— Нет, я русская.

— Идите домой. Не беспокойте людей справками.

— Я ведь о зимних вещах.

— Вам ясно? — спросил человек в окошечке таким тихим голосом, что Евгения Николаевна испугалась.

В этот же вечер она слышала разговор жильцов на кухне, — они говорили о ней.

Один голос сказал: — Все же некрасиво она поступила.

Второй голос ответил: — А, по-моему, умница. Сперва одну ногу поставила, потом сообщила о старухе куда надо, выперла ее и теперь хозяйка комнаты.

Мужской голос сказал: — Какая комната, комнатуха.

Четвертый голос сказал: — Да, такая не пропадет, и с такой не пропадешь.

Печальной оказалась судьба кота. Он сидел сон-

ный, подавленный на кухне, в то время как люди спорили, куда его девать.

— К чёрту этого немца, — говорили женщины.

Драгин неожиданно объявил, что готов участвовать в кормежке кота. Но кот недолго прожил без Женни Генриховны, — одна из соседок, то ли случайно, то ли с досады, ошпарила его кипятком, он и умер.

24

Евгении Николаевне нравилась ее одинокая жизнь в Куйбышеве.

Никогда, пожалуй, не была она так свободна, как сейчас. Ощущение легкости и свободы возникло у нее, несмотря на тяжесть жизни. Долгое время, пока не удалось ей прописаться, она не получала карточек и ела один раз в день в столовой по обеденным талонам. С утра она думала о часе, когда войдет в столовую и ей дадут тарелку супа.

Она в эту пору мало думала о Новикове. О Крымове она думала чаще и больше, почти постоянно, но внутренняя, сердечная светосила этих мыслей была не велика.

Память о Новикове вспыхивала и исчезала, не томила.

Но однажды на улице она издала увидела высокого военного в длинной шинели и ей на мгновение показалось, что это Новиков. Ей стало трудно дышать, ноги ослабели, она растерялась от счастливого чувства, охватившего ее. Через минуту она поняла, что обозналась, и сразу же забыла свое волнение.

А ночью она внезапно проснулась и подумала:

— Почему он не пишет, ведь он знает адрес?

Она жила одна, возле не было ни Крымова, ни Новикова, ни родных. И ей казалось, что в этом свободном одиночестве и есть счастье. Но ей это только казалось.

В Куйбышеве в это время находились многие московские наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Это была временная, эвакуированная из Москвы столица, с дипломатическим корпусом, с балетом Большого театра, со знаменитыми писателями, с московскими конферансье, с иностранными журналистами.

Все эти тысячи московских людей ютились в комнатах, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами, — заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро, представитель агентства «Юнайтед Пресс», задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы Совинформбюро, Соломону Абрамовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным, — леди Крипс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочек сахара в газетную бумагу, и уносила с собой в номер; председатели мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом.

Огромные учреждения втискивались в тесные

куйбышевские этажи; руководители главных советских газет принимали посетителей за столами, на которых в послеслужебное время дети готовили уроки, а женщины занимались шитьем.

В этой смеси государственной громады с эвакуационной богемой было нечто привлекательное.

Евгении Николаевне пришлось пережить много волнений в связи с пропиской.

Начальник конструкторского бюро, в котором она начала работать, подполковник Ризин, высокий мужчина с тихим, журчащим голосом, с первых же дней стал вздыхать об ответственности начальника, принявшего работника с неоформленной пропиской. Ризин велел ей пойти в милицию, выдал справку о зачислении на работу.

Сотрудник районного отделения милиции взял у Евгении Николаевны паспорт и справки, велел прийти за ответом через три дня.

В назначенный день Евгения Николаевна вошла в полутемный коридор, где сидели ожидавшие приема люди с тем особым выражением лица, какое бывает лишь у пришедших в милицию по поводу паспортных и прописочных дел. Она подошла к окошечку. Женская рука с ногтями, покрытыми черно-красным лаком, протянула ей паспорт, спокойный голос сказал ей:

— Вам отказано.

Она заняла очередь, чтобы поговорить с начальником паспортного стола. Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на проходивших по коридору служащих девиц с накрашенными губами, одетых в ватники и сапоги. Поскрипывая сапогами, неторопливо прошел человек в демисезонном пальто и в кепке, с выглядывавшим из-под кашне воротом военной гимнастерки, открыл ключиком то ли английский, то ли французский замок в двери, — это был Гришин, начальник паспортного стола. Начался прием. Евгения Николаевна заметила, что люди, дождавшись своей

очереди, не радовались, как это обычно бывает после долгого ожидания, а подходя к двери, озирались, словно собирались в последнюю минуту бежать.

За время ожидания Евгения Николаевна наслушалась разговоров о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой было отказано в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки.

Евгения Николаевна вошла в кабинет Гришина. Он молча указал ей на стул, посмотрел ее бумаги, сказал:

— Вам ведь отказано, чего же вы хотите?

— Товарищ Гришин, — проговорила она и голос ее дрожал. — Поймите, ведь все это время мне не выдают карточек.

Он смотрел на нее неморгающими глазами, его широкое молодое лицо выражало задумчивое равнодушие.

— Товарищ Гришин, — сказала она, — подумайте сами, как получается. В Куйбышеве есть улица имени Шапошникова. Это мой отец, он — один из начинателей революционного движения в Самаре, а дочери его вы отказываете в прописке...

Спокойные глаза смотрели на нее: он слушал то, что она говорила.

— Вызов нужен, — сказал он. — Без вызова не пропишу.

— Я ведь работаю в военном учреждении, — сказала она.

— По вашим справкам этого не видно.

— А это поможет?

Он неохотно ответил:

— Возможно.

Утром Евгения Николаевна, придя на работу, сказала Ризину, что ей отказано в прописке, — он развел руками и зажурчал:

— Ах, дурачье, неужели не понимают, что вы для нас с первых дней стали необходимым работником, что вы выполняете работу оборонного характера.

— Вот, вот, — сказала Женя. — Он сказал, что надо справку о том, что наше учреждение подведомственно Наркомату Обороны. Очень прошу вас, напишите, я вечером пойду с ней в милицию.

Через некоторое время Ризин подошел к Жене и виноватым голосом сказал:

— Надо, чтобы органы или милиция прислали запрос. Без запроса мне запрещено писать подобную справку.

Вечером она пошла в милицию и, высидев в очереди, ненавидя себя за искательную улыбку, стала просить Гришина запросить справку у Ризина.

— Никаких запросов и не собираюсь писать, — сказал Гришин.

Ризин, услышав об отказе Гришина, заохал, проговорил задумчиво:

— Знаете что, попросите его, пусть хоть по телефону меня запросит.

На следующий вечер Жене предстояла встреча с московским литератором, Лимоновым, когда-то знавшим ее отца. Сразу же после работы она пошла в милицию, стала просить у сидевших в очереди, чтобы ей разрешили зайти к начальнику паспортного стола «буквально на минуточку», лишь задать вопрос. Люди пожимали плечами, отводили глаза. Она с обидой сказала:

— Ах так, ну что ж, кто последний?

В этот день милицейские впечатления Жени были особенно тяжелыми. У женщины с отечными ногами в комнате у начальника паспортного стола сделался припадок, — она громко вскрикивала: «Я вас умоляю, я вас умоляю!» Безрукий ругался у Гришина в комнате матерными словами, следующий за ним тоже шумел, доносились его слова: «Не уйду». Но ушел он

очень быстро. Во время этого шума одного лишь Гришина не было слышно, он ни разу не повысил голоса, казалось, его не было, — люди одни, сами по себе кричали, грозились.

Она просидела в очереди полтора часа, и снова ненавидя свое ласковое лицо и свое торопливое «большое спасибо», ответившее на малый кивок: «садитесь», стала просить Гришина позвонить по телефону ее начальнику — Ризин сперва сомневался, имеет ли он право дать справку без письменного запроса за номером и печатью, но потом согласился, — он напишет справку, указав: «в ответ на ваш устный запрос от такого-то числа такого-то месяца».

Евгения Николаевна положила перед Гришиным заранее заготовленную бумажку, где крупным, выпуклым почерком она написала номер телефона, имя, отчество Ризина, его звание, его должность, а мелким почерком, в скобках: «Обеденный перерыв» «от и до». Но Гришин не взглянул на бумажку, положенную перед ним, сказал:

— Никаких запросов я делать не буду.

— Но почему же?

— Не положено.

— Подполковник Ризин говорит, что без запроса, хотя бы устного, он не имеет права давать справки.

— Раз не имеет права, пусть не пишет.

— Но как же мне быть?

— А я почему знаю?

Женя терялась от его спокойствия, — если б он сердился, раздражался ее бестолковостью, казалось, было бы легче. А он сидел, повернувшись в пол-оборота, не шевельнув веком, никуда не спешил.

Мужчины, разговаривая с Евгенией Николаевной, всегда замечали, что она красива, она всегда ощущала это. Но Гришин смотрел на нее так же, как на старух с слезящимися глазами и на инвалидов, — входя в

его комнату, она уже не была человеком, молодой женщиной, лишь носителем просьбы.

Она терялась от своей слабости, от огромности его железобетонной силы. Евгения Николаевна шла по улице, спешила, опоздав к Лимонову больше, чем на час, но спеша, она уже не радовалась предстоящей встрече. Она ощущала запах милицейского коридора, в глазах ее стояли лица ожидавших, портрет Сталина, освещенный тусклым электричеством, и рядом Гришин. Гришин, спокойный, простой, вобравший в свою смертную душу всеисилие государственного гранита.

Лимонов, толстый и высокий, большоголовый, с молодыми юношескими кудрями вокруг большой лысины, встретил ее радостно.

— А я боялся, что вы не придете, — говорил он, помогая снять Жене пальто.

Он стал расспрашивать ее об Александре Владимировне:

— Ваша мама еще со студенческих времен для меня стала образцом русской женщины с мужественной душой. Я о ней всегда в книгах пишу, то есть, не собственно о ней, а вообще, словом, вы понимаете.

Понизив голос и оглянувшись на дверь, он спросил:

— Слышно ли что-нибудь о Дмитриии?

Потом он заговорил о живописи и вдвоем они стали ругать Репина. Лимонов принялся жарить яичницу на электроплите, сказал, что он лучший специалист по омлетам в стране, — повар из ресторана «Националь» учился у него.

— Ну как? — с тревогой спросил он, угощая Женю, и, вздохнув, добавил: — Грешен, люблю пожрать.

Как велик был гнет милицейских впечатлений! Придя в теплую, полную книг и журналов комнату Лимонова, куда вскоре пришли еще двое пожилых, остроумных, любящих искусство людей, она все время холодеющим сердцем чувствовала Гришина.

Но велика сила свободного, умного слова, и Женья минутами забывала о Гришине, о тоскливых лицах в очереди. Казалось, ничего нет в жизни, кроме разговоров о Рублеве, о Пикассо, о стихах Ахматовой и Пастернака, драмах Булгакова...

Она вышла на улицу и сразу же забыла умные разговоры.

Гришин, Гришин... В квартире никто не говорил с ней о том, прописана ли она, никто не требовал предъявления паспорта с штампом о прописке. Но уже несколько дней ей казалось, что за ней следит старшая по квартире, Глафира Дмитриевна, длинноносая, всегда ласковая, юркая женщина с вкрадчивым, беспредельно фальшивым голосом. Каждый раз, сталкиваясь с Глафирой Дмитриевной и глядя на ее темные, одновременно ласковые и угрюмые глаза, Женья пугалась. Ей казалось, что в ее отсутствие Глафира Дмитриевна с подобранным ключом забирается к ней в комнату, роется в ее бумагах, снимает копии с ее заявлений в милицию, читает письма.

Евгения Николаевна старалась бесшумно открывать двери, ходила по коридору на цыпочках, боясь встретить старшую по квартире. Вот-вот та скажет ей: «Что это вы нарушаете закон, а я за вас отвечать должна?»

Утром Евгения Николаевна зашла в кабинет к Ризину, рассказала ему о своей очередной неудаче в паспортном столе.

— Помогите мне достать билет на пароход до Казани, — а то меня, вероятно, погонят на торфоразработки за нарушение паспортного режима.

Она больше не просила его о справке, говорила насмешливо, зло.

Большой, красивый человек с тихим голосом смотрел на нее, стыдясь своей робости. Она постоянно чувствовала на себе его тоскующий, нежный взгляд, он оглядывал ее плечи, ноги, шею, затылок,

и она плечами, затылком чувствовала этот настойчивый, восхищенный взгляд. Но сила закона, определявшего движения исходящих и входящих бумаг, видимо, была нешуточная сила.

Днем Ризин подошел к Жене и молча положил на чертежный лист заветную справку.

Женя так же молча посмотрела на него и слезы выступили на ее глазах.

— Я запросил через секретную часть, — сказал Ризин, — но не надеялся и вдруг получил санкцию начальника.

Сотрудники поздравляли ее, говорили: «Наконец-то кончились ваши мученья».

Она пошла в милицию. Люди в очереди кивали ей, некоторые стали ей знакомы, спрашивали: «Ну как?»

Несколько голосов произнесли: «Пройдите без очереди... у вас же минутное дело, чего же опять ждать два часа».

Канторский стол, несгораемый шкаф, грубо раскрашенный под дерево коричневыми разводами, не показались ей такими угрюмыми, казенными.

Гришин смотрел, как торопливые пальцы Жени положили перед ним нужную бумагу, едва заметно, удовлетворенно кивнул:

— Ну что ж, оставьте паспорт, справки, через три дня в приемные часы получите документы в регистратуре.

Голос его звучал по-обычному, но светлые глаза Гришина, показалось Жене, приветливо улыбнулись.

Она шла к дому и думала, что Гришин оказался таким же человеком, как все, — смог сделать хорошее и улыбнулся. Он оказался не бессердечным, — и ей стало неловко за все то плохое, что она думала о начальнике паспортного стола.

Через три дня большая женская рука с чернокрасными лакированными ногтями протянула ей из

окошечка паспорт с аккуратно вложенными в него бумагами. Женя прочла четким почерком написанную резолюцию: «В прописке отказать, как не имеющей отношений к данной жилплощади».

— Сукин сын, — громко сказала Женя, и не имея силы сдержаться, продолжала: — Издеватель, бездушный мучитель!

Она говорила громко, потрясая в воздухе непрописанным паспортом, обращаясь к сидевшим в очереди людям, хотела их поддержки, но видела, как они отворачивались от нее. Дух бунтовщицы вспыхнул на миг в ней, дух отчаяния и бешенства. Вот так же кричали иногда, обезумевшие от отчаяния, женщины в очередях тридцать седьмого года, стоя за справками об осужденных без права переписки в полутемном приемном зале Бутырской тюрьмы, на Матросской Тишине в Сокольниках.

Милиционер, стоявший в коридоре, взял Женю за локоть, стал толкать ее к двери.

— Пустите меня, не трогайте! — и она вырвала руку, оттолкнула его от себя.

— Гражданка, — сипло сказал он ей, — прекратите, не вынуждайте на десять лет.

Ей показалось, что в глазах милиционера мелькнуло сочувствие, жалостливое выражение.

Она быстро пошла к выходу. По улице, толкая ее, шли люди, все были прописаны, имели прикрепленные к распределителям карточки...

Ночью ей снился пожар, она наклонилась над раненым человеком, уткнувшимся лицом в землю, пыталась тащить его и понимала, хотя не видела его лица, что это Крымов.

Она проснулась измученная, подавленная.

«Хоть бы скорей он приехал», — думала она, одеваясь, бормотала: «Помоги мне, помоги мне!»

И ей страстно, до боли захотелось увидеть не

Крымова, которого ночью она спасала, а Новикова, таким, каким видела она его летом в Сталинграде.

Эта бесправная жизнь без прописки, без карточек, в вечном страхе перед дворником, управдомом, старшей по квартире Глафирой Дмитриевной была тяжелой, невыносимо мучила. Женя пробиравлась на кухню, когда все спали, утром старалась умываться до того, как проснутся жильцы. А когда жильцы с ней заговаривали, голос у нее становился какой-то противно ласковый, как у баптистки.

Днем Женя написала заявление об уходе со службы.

Она слышала, что после отказа в паспортном отделе является участковый и берет подписку о выезде из Куйбышева в трехдневный срок. В тексте подписки говорилось: «Лица, виновные в нарушении паспортного режима, подлежат...» Женя не хотела «подлежать...» Она примирялась с тем, что ей нужно выбыть из Куйбышева. Сразу стало спокойно на душе, мысль о Гришине, о Глафире Дмитриевне, о ее мягких, как гнилые маслины, глазах перестали томить, пугать. Она отказалась от беззакония, подчинилась закону.

Когда она написала заявление и собиралась нести его Ризину, ее позвали к телефону, — звонил Лимонов.

Он спросил ее, свободна ли она завтра вечером. Приехал человек из Ташкента и очень смешно рассказывает о тамошней жизни, привез Лимонову привет от Алексея Толстого. Снова пахнуло на нее другой жизнью.

Женя, хотя не собиралась делать этого, рассказала Лимонову о своих делах с пропиской.

Он слушал ее, не перебивая, потом сказал:

— Вот история, даже любопытно: у папы собственная улица в Куйбышеве, а дочку вышибают, отказывают в прописке. Занятно, занятно.

Он подумал немного и сказал:

— Вот что, Евгения Николаевна, вы сегодня свое заявление не подавайте, я вечером буду на совещании у секретаря обкома и расскажу ему о вашем деле.

Женя поблагодарила, но подумала, что Лимонов забудет о ней тут же, положив телефонную трубку. Но все же заявление она Ризину не подала, а лишь спросила, сможет ли он через Штаб Военного Округа достать ей билет на пароход до Казани.

— Это-то проще простого, — сказал Ризин и развел руками: — Беда с органами милиции. Да что поделаешь. Куйбышев на особом режиме, у них есть спецуказание.

Он спросил ее:

— Вы свободны сегодня вечером?

— Нет, занята, — сердито ответила она.

Она шла домой и думала, что скоро увидит мать, сестру, Виктора Павловича, Надю, что в Казани ей будет лучше, чем в Куйбышеве. Она удивилась, почему так огорчилась, замирала от страха, входя в милицию. Отказали и — наплевать... А если Новиков пришлет письмо, можно ведь попросить соседей — перешлют в Казань.

Утром, едва она пришла на работу, ее вызвали по телефону и чей-то любезный голос попросил ее зайти в паспортный стол городской милиции оформить прописку.

ГРОССМАН Василий Семенович (1905-1964) — писатель. Окончил физико-математический факультет МГУ. Работал инженером-химиком в Донбассе.

В 1952 г. вышел из печати его роман «За правое дело», так и не оконченный автором. Роман подвергся травле со стороны партийной критики. После смерти писателя в 1964 г. рукописи его были конфискованы органами КГБ.

На Западе в издательстве «Посев» был издан роман Вас. Гроссмана «Все течет...».

Стихотворение

Иван Елагин

Ты сказал мне, что я под счастливой родился
звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный...
Постой —
Я родился под красно-зловещей звездой
государства!

Я родился под острым присмотром начальственных
глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного яблочка пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов,
В громохании митингов, съездов, авралов и слетов,
Я родился под гулкий обвал мировых катастроф,
Когда сходит со сцены культура, свое отработав.

Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный
стиль.
Кто ответит, зачем эти звезды на небо всходили?
По вселенной куда-то плывет серебристая пыль,
И какое ей дело до нас — человеческой пыли.

Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я
И стою на холодном ветру мирового вокзала,
А звезда, что плыла надо мной — не твоя, не моя,
Разве только морозный узор на стекле вырезала.

Оттого я на звезды смотреть разучился совсем.
Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной
леденя, —
Мне бы дружеский взгляд да очаг человеческий —
чем
Ближе к небу — как Дельвиг говаривал — тем
холоднее.

ЕЛАГИН Иван Венедиктович — родился во Владивостоке в 1918 году. Сын поэта-футуриста Венедикта Марта, арестованного в 1937 году. Закончил десятилетку в Киеве и поступил там же в Медицинский институт. Во время войны попал на Запад. Первый сборник стихов выпустил в 1946 году, уже за рубежом. В 1952 году в издательстве им. Чехова вышла книга стихов Елагина, объединяющая все предыдущие его сборники. Постоянно сотрудничал в «Мостах», «Новом журнале» и других изданиях. Много переводил с немецкого, английского и французского. В настоящее время живет в Соединенных Штатах.

Иосиф Богораз

«НАСЕДКА»

Повесть

(Окончание)

VII. Ортодоксы

Она сдержала свое слово — меня перестали вызывать. Таскали всех кругом, возили туда-сюда, днем, ночью, покою не давали — всем, кроме меня. На меня плюнули, меня похоронили заживо. Доверие следователя, сучок, на котором я рассчитывал удержаться, я подрубил собственными руками. Мой единственный шанс!

Я перебирал всевозможные варианты: заявление в ЦК партии; письмо товарищу Ярославскому, в ЦКК, заболеть, вызвать следователя к себе; новый текст показаний; все что угодно, я готов. Я придумывал трактаты, отбрасывал, принимался заново. Главная трудность — я не знал, чего от меня хотят. Мне не говорят. Но позвольте, не могу же я выдумывать, сосать из пальца?

Вообще, я не улавливал самой сути всей этой затеи. Две недели меня маринуют, полмесяца я бездельничаю, палец о палец! Теперь вот и вовсе вызывать перестали. Сколько это может тянуться: месяц? Год? Какой-то все-таки здравый смысл — должен быть? Они тут болтают: Магадан, рабсила,

кадры, освоение тундры, разверстка — ерунда всякая, как будто в этом дело. Если на то пошло — двадцать Магаданов! Одним росчерком пера! Миллионы комсомольцев, парни, девушки, по зову Партии! Нашими, социалистическими методами!

Шестое чувство подсказывало мне: какие-то пошли дела поважнее моего ВНИИМСХа, моей механизации, машинно-тракторных станций... А я думал, агрохимия — пуп земли! Нет, оказывается, главная линия фронта — она пролегает где-то здесь, рядом, она пересекает Лукьяновскую тюрьму, да-да, камеру нашу. И именно она, девчушка эта, следователь мой, занимает в данный момент передний край огня! Тогда чего же? Любые унижения, на брюхе, как Генрих в Каноссу, ползти, убедить ее. Если хочешь оставаться коммунистом.

В конце концов я отправил следователю письмо. Я решил: это будет самое благоразумное. Краткое заявление: прошу перевести меня в следственный изолятор, тюрпод так называемый; вы, мол, сами предлагали, я согласен, прошу ускорить. Красноречивей любых излияний, она поймет, сделает. Три дня истекал я кровью — ответа не последовало. Особенно подозрительным показалось мне внезапное охлаждение Бориса, они отвернулись от меня одновременно: следователь и он, Борька. Он перестал меня узнавать с того самого дня, после второго допроса, и это не могло не настораживать. Похоже было на то, что Борьке все решительно известно, даже то, что происходило в тиши ее кабинета; я готов был допустить самые невероятные вещи.

Борька делал вид, что занят по горло. Надо сказать, он был действительно нарасхват в нашем

заведении. Его ловили, рвали на части, его готовы были слушать день и ночь. Это была самая ходовая тема в нашей камере: лагерь! Борька был по этой части ходячей энциклопедией. Не говоря уже о практической стороне вопроса — режим, кормежка, общие работы, переписка, зачеты — тут, само собой, отбою не было. Соль, однако же, была не в этом. Борька был певцом, трубадуром лагерной жизни, и на это, представьте, все клевали. Его послушать — только там, в лагере, ты становился человеком. Сбрасываешь с себя личину, самое ненавистное. Черное есть черное, белое есть белое — ты не обязан притворяться, корчить из себя. Конечно, тундра, зона, ВОХРА — не в этом, однако, суть. Ты человек, и вокруг тебя люди, такие же. Естественно, выродки — они всюду, наплевать! Он никогда не променяет на так называемую вольную жизнь. Пусть их там грызутся, ордена выколачивают, степени, ему не нужно. Он не представляет, как он мог раньше жить в этой псарне. Ишачить всю жизнь — он согласен. По крайней мере — с чистой совестью...

Люди с ума сходили, какая-то открылась отдушина. Все мечтали: скорее! дорваться! Борис был мастер расписывать.

Были, однако, в камере двое — в их присутствии Борька умолкал, он не смел произнести вслух само слово «лагерь». Они занимали самое паршивое место, возле параша, им сунули туда, по иронии судьбы, еще и Редактора. Все, однако, понимали: это ничего не значит. Какой-то вокруг них был ореол, никто не мог бы объяснить толком — откуда. Они носили на себе звонкий ярлык: «ортодоксы» — понимай как хочешь. Никто не

докапывался, даже Громов. К ним вообще никто не совался, хотя они и не думали задирать нос — арестанты, как все, стриженные, голодные. Все чувствовали, включая Чуму: к ним не подступишься, особенно к старшему, его звали Сократ. Впрочем, никто не знал толком, кто из них старше, пожалуй, даже второй, Виктор. Но Сократ держался как-то скромнее, Виктор — тот срывался, и Сократ за ним присматривал, это заметно было даже со стороны. Было известно: они доставлены из-за тридевяти земель, из политизолятора; троцкисты; их перегоняют в лагеря на общих основаниях — они не делали секретов. Целыми днями не вылезали они из роскошного своего угла, они не могли наговориться, просто удивительно — после изолятора, столько лет вместе, в одном котле, — им не надоело. Зато в камере они были тише воды, ни во что не ввязывались. Ничто их не касалось, единственно — Борькины рассказы они почему-то не выносили, особенно Виктор, он их слышать не мог. Борис не напрашивался, он явно избегал с ними ссоры, и это было так непохоже на Борьку. Конфликт разразился самым неожиданным для меня образом.

Разговор состоялся ночью, на нарах у Максим Максимыча, выступавшего, видимо, в роле арбитра. Виктор цедил, слово за словом, с трудом сдерживая негодование:

— Людей! Сломанных! Сбивать с толку! Сулить им. Лагерный рай... Провокация, вы понимаете? — сорвался он.

Борька побагровел, но пропустил мимо.

— С шакалами, — продолжал Виктор, — бок

о бок гнать нормы... Под винтовкой. Загибаться в шахтах...

— Тюрьма, по-вашему, лучше? — вмешался Максим Максимыч, — политизолятор ваш? Заживо гнить?

— Силой! — отчеканил Виктор. — Пусть вяжут...

— Передают, — сказал Максим Максимыч, — это вам не царские времена.

— Перебьют, подумаешь, — сдержанно возразил Борис. — Интересно другое... Одним — лагеря, другим — рангом повыше — политизолятор? Так, что ли?

— Демагогия, — нахмурился Виктор.

— Привилегии, — настаивал Борька, — вы считаете удобным?

Виктора взорвало. Да, они считают удобным не участвовать в этом национальном позоре. Десять лет они кочуют по тюрьмам, ссылкам, изоляторам. Их устраивает. Однако — Его Величество не устраивает, — Хозяина. Унизить, вот чего ему захотелось. Втоптать в грязь! В конюшни, как скот, на убой! В лагеря...

— Лагерь не унижает, — начал Борька, но Виктор перебил его: — Лагерь возвышает, — язвительно сказал он, — в буквальном смысле слова... Вышки, по всей стране. Сплошная лагерная зона... Находятся, однако, любители воспевать... Срыть этот срам до основания!

Максим Максимыч замурлыкал:

Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем...

— А затем? — повторил он, насмешливо поглядывая на Виктора. — Самое занятное, что впоследствии затем?

— Не прикидывайтесь, — сказал Виктор. Подождав, он прибавил с яростью: — Всё сначала, вот что последует. Советская власть, настоящая! Социализм настоящий! Король умер — да здравствует король!

Борька сорвался с места.

— Повторение пройденного? — злорадно переспросил он. — Перемена декорации... Под знаменем Маркса-Ленина-Троцкого? Спасибо, не надо!

Они долго молчали все трое. Потом Виктор сказал тихо, про себя:

— Десять лет тирании, мавр сделал свое дело. Никто уже не мыслит по-другому, только кнут. Никто больше не представляет себе: жизнь без кнута...

Что-то доказывал еще Максим Максимыч, он как будто оправдывался, упрасивал. Они, троцкисты, строят на песке, они отстали от поезда... Не одни же, в самом деле, репрессии; политика кнута и пряника, старо как мир. У него самого, Максим Максимыча, внук архитектор, из породы преуспевающих. Попробуйте, поговорите с ним. У него мастерская, персональный оклад — социализм, он убежден! Правда, родной дед по тюрьмам где-то шляется, ну что ж, издержки революции... Лес рубят! Тоже миллионы, не думайте, баш на баш! Он продержится сто лет, этот грузин!

— Термидор, — мрачно произнес Виктор. — Персональные оклады, личные машины, с этого всегда начиналось...

Максим Максимыч сказал:

— Вам снятся... Кавеньяки, Бонапарты! История не повторяется.

Они еще долго путались, мне казалось, они в чем-то копируют друг друга, рыщут в заколдованном круге. Когда Виктор удалился, Борис сказал:

— Генералы без армии! Унылое зрелище...

Максим Максимыч возразил с грустью:

— Последние из Удеге... Всё, что осталось!

До меня не все доходило, я не мог еще предположить, что за всей этой словесной мишурой кроется нечто реальное и что в конце концов оно неминуемо прихватит и меня, поднимет, как щепку, и бросит в водоворот событий. Истинная подоплека ночной этой дискуссии стала разматываться утром, на другой же день.

Началось с ничтожного клочка бумаги, в уборной, во время утренней оправки. Кто-то поймал мою руку, чья-то ладонь, холодная, липкая, настоящая лягушка. Я вздрогнул, рванул руку, в кулаке у меня была зажата бумажонка, неизвестно откуда — в этой давке ничего нельзя было разобрать. Я не знал, куда мне деваться с этой таинственной запиской, все же я ухитрился, заглянул. Там было четыре строчки, крупным планом:

«Товарищи коммунисты!»

«Троцкисты поднимают голову!»

«Сплотимся вокруг нашей Партии!»

«Вокруг Сталинского ЦК!»

Вообще говоря, смех! Плюнуть и растереть! Тем не менее, не скрою, меня задело за живое. Ка-

кие-то зазвучали струны, знакомые отголоски... К тому же — тут были явные намеки, связь какая-то с ночной полемикой. Это-то меня больше всего взволновало.

В камере, когда мы вернулись после оправки, стало очевидно: воззвание пущено массовым тиражом, не мне одному. Все были взбудоражены, перепуганы, хотя было ясно, ничего тут нет, очередной трюк, сумасшедший этот Редактор, больше никому. После завтрака Громов подошел к нему и, сунув под нос смятую бумажку, ухватил за воротник:

— Это что, а? Опять за старое?

Редактор глазом не моргнул, он глядел поверх Громова, в пространство, ему как будто доставляло наслаждение.

— Смотри у меня, — прибавил Громов, выпуская его и с брезгливостью отряхивая руки. — Гнида!

В эту минуту распахнулась дверь и в камеру вошел надзиратель в сопровождении помощника. Кто-то еще, кроме того, оставался снаружи, в коридоре. Оба они, вошедшие, направились прямо-хонько в сторону Редактора. Все застыли.

— Вставай! — громко произнес надзиратель, обращаясь к Сократу. Только сейчас все обратили внимание на тех двоих, рядом с Редактором. Сократ лежал какой-то очень уж торжественный, он даже не обернулся на окрик. Виктор стоял возле, вытянувшись, как на часах.

— Кому говорят, — прикрикнул надзиратель, хватаясь за край одеяла, — будет дурака валять!

— Не смеете! — Виктор выступил вперед, за-

гораживая товарища. — Человек голодает третьи сутки. Не имеете права...

— Нако-ормят, — угрожающе произнес надзиратель, отстраняя Виктора. — Ну, кому говорю? — повторил он, подступая вплотную к Сократу. — Приговор ОСО подписывал?

— Не подписывал! — выкрикнул Виктор и прибавил с издевкой: — ОС-СО... подтереться этим приговором!

— Не лезь! — надзиратель толкнул Виктора и оглянулся на помощника, тот подхватил Виктора подмышки. — Подписывал? — повторил он, срывая с Сократа одеяло.

— Произвол! — крикнул Виктор, вырываясь. Сократ сделал ему знак молчать. Не глядя на надзирателя, он тихо заявил:

— Особое Совещание не суд. Самосуд, расправа, мы не признаем. Вызывайте прокурорский надзор.

В камере стояла мертвая тишина, все затаили дыхание.

— Там! — загадочно произнес надзиратель, показывая куда-то пальцем, — там будешь голодать... Понятно? За проволокой, на Воркуте.

— Только силой, — твердо сказал Сократ.

— Э, цацкаться! — надзиратель мотнул головой в сторону помощника. Тот, не выпуская из рук Виктора, пронзительно свистнул. Тотчас же дверь с грохотом растворилась и в камеру ввалились два тюремных санитара с носилками. Они остановились возле Сократа.

— Обоих! — закричал Виктор вне себя, пытаясь высвободить руки. — Мы вместе...

— Успеешь, — надзиратель усмехнулся, — у нас по расписанию.

Санитары подняли Сократа как перышко и швырнули на носилки. Его большая лобастая голова упала, повисла, у него закрылись глаза. Виктор закричал не своим голосом:

— Что вы делаете, изверги!

Сократ беззвучно проговорил:

— Насилие.

Уже в дверях он неловко улыбнулся и, пытаясь обернуться, произнес: — Да здравствуют ленинцы! — Дверь за ним захлопнулась.

— Жандармы! — прокричал вслед Виктор. Кто-то пробормотал, неизвестно в чей адрес: — Позор!

Когда процедура окончилась, Редактора уже не было на месте. Никто не заметил, как он перебрался тишком на другую сторону камеры и расположился на полу где-то, неподалеку от владений Чумы.

Я дрожал как осиновый лист. Трудно сказать, что потрясло меня всего больше, пожалуй — сознание собственного ничтожества. Меня мучил стыд: троцкизм в действии у меня на глазах. Я видел, я слышал, молча, как сторонний наблюдатель. Редактор, безумец этот, он оказался выше, он реагировал, один против всех... Я не знал, что там происходит с другими, они расползлись, попрятались, как мыши. Даже Борька, он не подавал признаков жизни.

Виктор остался в опустошенном углу, один как перст. Сидя на полу, он для чего-то перебирал оставшиеся вещи, какие-то лыжные брюки, нижнее белье, рубашки, — жалкая собственность, ко-

торую они каким-то образом уберегли после этапов и изоляторов. Он сортировал, укладывал, переливал из пустого в порожнее, находя, видимо, в этом забвение. Он не взглянул даже, когда в камеру внесли бачки с обеденной баландой и все ринулись к мискам. Когда же Максим Максимыч поднес ему миску остывшей похлебки, он поднялся, взял из рук у него посуду, постоял с минуту и, неожиданно размахнувшись, выплеснул на пол, попав в Редактора, в его новом укрытии. Это был плевок в лицо нам всем. Кто-то из банды Чумы пригрозил:

— Я тебе, гад, повыливаю...

Все чувствовали: этим дело не кончится. Атмосфера стала накаляться уже к вечеру, в тот же день, и душой путча, как и следовало ожидать, оказался все-таки Борька, никто другой. Неясно было, что там у него на уме, но для меня стало очевидно: он заваривает кашу не на шутку и мне на этот раз не отвертеться, я не смогу больше оставаться в стороне.

Бой шел вначале между ними двумя — между Борисом и Максим Максимычем — бой неравный и по всем признакам безнадежный для Максим Максимыча, хотя логика и здравый смысл были целиком на стороне последнего. Борька даже не спорил, он только морщился и повторял время от времени: «Голодовка!», «массовая голодовка!» Максим Максимыч бился над ним весь вечер, вдалбливая ему: голодовки, в наше время?! Анахронизм! Бессмыслица! Они не вправе вести людей заведомо на убой! Самоубийство! Ортодоксы, те, по крайней мере, никого не вовлекают. Сократ, в частности, он голодает в одиночку. У них, к тому

же, свои какие-то мотивы, требования, у Бориса и этого нет. У него вообще концы с концами не сходятся. Вчера он ратовал за лагерь, возносил, сегодня — голодовка! долгой лагеря! Любой скажет: переметная сума. Тем более, что Виктор, тот в стороне, он как будто и не претендует.

Борька, в конце концов, не выдержал, отступил. Через какой-нибудь час, однако, он вернулся снова, уже не один, они явились вдвоем с Виктором, два союзника, Борису, очевидно, удалось его склонить. Первая скрипка перешла теперь в более надежные руки, и Максим Максимыч как-то спасовал: у него опустились руки. Виктор выступил с настоящей декларацией. Совершенно грубое насилие над Сократом. Никогда раньше не позволяли себе глумления над голодающими, в самые черные годы реакции. Священное право заключенных, право на протест, его топчут. Пока существует произвол, будут применяться голодовки. И никакой Ежов не искоренит их.

— Кстати, — закончил он, — они этих вещей боятся как чёрт ладана! Заварушки всякие, шумиха, зарубежные отклики... Хозяин не любит! Он предпочитает втихую... Забéгают, можете не сомневаться!

Я поднялся с нар, ждать больше было невозможно.

— Неслыханно! — начал я. — В Советском Союзе голодовки...

Все трое уставились на меня, мне бросилась в глаза насмешливая и в то же время одобрительная, как показалось мне, ухмылка Максим Максимыча.

— Не наши методы... — продолжал я, но меня

оборвал Борька, он прошипел, подступая ко мне с кулаками:

— Замолчи... Без тебя обойдется!

Я бросился к нему.

— Борис, — заговорил я упавшим голосом, — это предательство! «Зарубежные отклики»... На кого ты делаешь ставку?

— Успокойте товарища, — вмешался Виктор, обращаясь к Максим Максимычу и не глядя в мою сторону. — Его не коснется...

— Коснется! — воскликнул я. — Всех! И меня не в последнюю очередь!

Внезапным порывом урагана я был в эту минуту сметен, отброшен в сторону. Громов! Как Феникс из пепла, он возник впереди меня, полутолый, буйный, обезумевший. Он напустился сразу, без предисловий. Ублюдки! Фраера несчастные! Турусы на колесах, нашли время. Чума, под самым носом...

Он метал громы и молнии, никто ничего не мог понять.

— Куда смотрите! — завопил он. — Виктора курочат! Всё до нитки... Чума проклятая! Вернуть сию же минуту! За мной!

Он кинулся вперед, Борька еле его удержал. Они обступили его, эта пара. Виктор с Борисом — до меня долетали обрывки фраз: политзаключенные, традиции, голодовка, человеческое достоинство... Коротко говоря, они принялись его обрабатывать: наплевать, мол, на тряпки, не надо связываться, размениваться на мелочи. Наоборот, — Чума, этот налёт как нельзя более кстати, лишний козырь для голодающих. Они категорически по-

требуют: убрать уголовников! Отдельные камеры для 58-ой!

Они без конца его уламывали, и им как будто удалось уже сбить его с толку, он застыл в нерешительности. Я бросился спасать положение.

— Не слушайте! — я схватил Громова за обе руки. — Безрассудство... Мы с вами несем ответственность! Как коммунисты...

Мое вторжение возымело действие, оно вывело Громова из состояния оцепенения.

— Психи! — рванул он на меня, как будто увидел главного виновника, — нашли время счета сводить! Какие голодовки? Чума! Лупить их, бандюг!

Он метнулся в сторону — никто не успел опомниться. Борька побежал его догонять.

— Глас народа, вы слышали? — спросил Максим Максимыч у Виктора. — С кем прикажете голодать?

Виктор возразил не очень уверенно:

— Борис гарантирует: тринадцать человек. Кроме того, соседние камеры, он уверяет.

Максим Максимыч сказал:

— Не знаю, как между вами распределены роли... Кто Дон Кихот, кто Санчо Панса?

Виктор промолчал, потом сказал:

— Я давно хотел спросить... Что такое Борька?

Максим Максимыч ответил нехотя:

— Троцкистом не назовешь, сами видите. Анархистом тоже. Смесь французского с нижегородским...

— Я не об этом, — перебил Виктор и замялся: — Его вечный треп... Вам не кажется?

Я воспрянул, всё повисло на волоске. Всё за-

висело в эту минуту от Максим Максимыча: одно словечко, один камешек в Борькин огород! Виктор ждал, и я был уже почти уверен: затея с голодовкой рухнула, развалилась, как карточный домик. Я боялся одного, — как бы не нагрязнул сам Борис в эту решающую минуту. Максим Максимыч вдруг помрачнел.

— Ничего мне не кажется, — проворчал он и прибавил с раздражением: — одно из двух: никому не доверять, ни одной собаке, или уж — махнуть рукой, будь что будет. Я предпочитаю последнее. Меня не подводили...

Его какая-то вдруг муха укусила, он набросился на Виктора с несвойственной ему горячностью:

— Назовите меня шляпой, развесистой клюквой, как угодно. Но не заставляйте ходить на голове... Играть в прятки, говорить шепотом... В каждом встречном видеть предателя, прохвоста — нет ничего омерзительнее! Все на этом помешались, сто пятьдесят миллионов! Вдохновляющий итог, ничего не скажешь...

— С волками жить, — сказал Виктор.

Максим Максимыч не ответил, он уже пришел в себя и почувствовал, видимо, неловкость за неуместную вспышку.

— Бог с ними, с волками, — сказал он. — И не в Борьке дело, в конце-то концов. Какая-нибудь забубенная голова всегда найдется, примкнет.

Он снова взялся убеждать Виктора, но тот уже не слышал его, сомнения его утасли и он беспокойно оглядывался, с нетерпением высматривал пропавшего Борьку. Момент был упущен.

— Поймите, — говорил Максим Максимыч,

уже без всякой уверенности, — какие еще протесты, голодовки... Люди деморализованы до последней степени, никто не хочет! Вас не поймут...

— Поймут, — рассеянно сказал Виктор и прибавил шутливо: — в крайнем случае — потомки! Тоже деньги...

Он взглянул на притихшего Максим Мыча и прибавил серьезным уже тоном:

— Без шуток... О них, о потомках, тоже кому-то позаботиться надо? Судьи наши... Пусть не подумают про нас: жили, мол, слюнтяи, губошлепы... Гибли безгласно, покорно, без звука...

У меня вырвалось:

— О других судьях вы подумали? О современниках наших? Поколений Октября...

Виктор даже обрадовался.

— Думать нечего, — весело сказал он, — слава Богу, все на местах, пристроены... По тюрьмам, по лагерям...

— Где бы ни были, — сказал я. Во мне накопало, меня выводила из себя эта его бравада. — Все равно, они с партией! Не отворачиваются, верят в нее, чтут...

— Умирают, — в тон мне подхватил Виктор, — с именем Сталина...

Ему не пришлось продолжать, — к нам, запыхавшись, подбежал Борька. — Скорее, — крикнул он на ходу, — Громов! С ума сошел!

Он ринулся обратно, в другой конец камеры. Оттуда донесся грохот, что-то грузное шлепнулось на пол. Мы бросились все вслед за Борисом.

Сцепившись и перекатываясь с боку на бок, на полу барахтались две груды — Громов и Чума. Их обступила кольцом команда Чумы, в ожидании

исхода. Они преграждали путь к месту драки. Зажатый между колен у Чумы, Громов хрипел и болтал в воздухе ногами. Поднятые с нар, со всех концов сбегались люди.

Виктору удалось прорваться первому, кольцо пришло в движение.

— Троцкисты, — прошипел кто-то, ловя Виктора за руку. Тот выскользнул.

— Из-за него, гада...

В него полетела майка: — На, даvisь...

Майка попала Виктору на голову, накрыла лицо, но он успел ухватить Чуму за ногу. С другого конца подоспел Борька, кольцо прорвали, начали теснить. Громов, наконец, выбрался из-под туши противника и, сжимая его глотку, шипел в ухо:

— Паразиты... Вернешь барахло! Удавлю...

Все совершалось беззвучно и глухо, поэтому так пронзительно врезался этот внезапный крик. Все отшатнулись. Хватаясь за бок, дико кричал Виктор. Кто-то под шумок пырнул его тупой железной штукой. Он свалился, истекая кровью.

И снова, вторично за эти сутки, в камере показались санитары с носилками.

На рассвете, не дожидаясь подъема, я подкрался к Борьке. Я действовал как лунатик.

— Борис, — прошептал я, опускаясь возле него на колени, — послушай, Борька, ты не должен...

Он медленно приходил в себя, протирая глаза.

— Сам видишь, что получается, — продолжал я. — Уже пролилась кровь. Только начало...

— Оставь меня, — отмахнулся он, натягивая на голову одеяло. Я не отступал.

— Против кого, подумай! Голодовка! В СССР!

— Катись! — крикнул он, высунув голову, и тут же отвернулся, зарылся в подушку.

— Вот так! — прошептал я, в бешенстве стаскивая с него одеяло, — в мутной воде...

Я спохватился, не договорил. Он вскочил, оба мы мерили друг друга взглядом полным ненависти и презрения. Я жаждал заглянуть ему в самую душу, проверить, что в ней... Он не выдержал, отвел глаза.

— Шкуру спасаешь, — проговорил он, снова забираясь под одеяло.

Вернувшись к себе, я тотчас написал записку моему следователю, я просил вызвать меня немедленно, по неотложному делу. Я еле дождался утренней поверки. Я больше не рассуждал, я даже перестал остерегаться. Записку я вручил надзирателю открыто, перед лицом всей камеры. Так начался для меня этот жуткий, семнадцатый день моего тюремного существования.

Я уже говорил — я промучился весь этот день, с замиранием сердца ожидая вызова. Очертя голову, я поминутно бросался к выходу и возвращался ни с чем, посрамленный, не смея взглянуть в глаза людям. К счастью, на меня не обращали никакого внимания. Камера зализывала свои раны после ночного дебоширства, она притаилась в предчувствии дальнейших катаклизмов. Редактор продолжал валяться на полу, он и здесь, на задворках, непрерывно строчил. Громов, завязав голову полотенцем и скрючившись в три погибели, выглядывал, как коршун, из своего угла, не сводя глаз с противоположной, вражеской половины камеры. Там царили разброд и уныние, Чумы не ста-

ло, его увели с самого утра. Борька весь день метался из конца в конец, сновал между нар, перебегая от одного к другому, у него, должно быть, не клеилось и он все время шушукался с Максим Максимычем. Постаревший после этой ночи, старик, тем не менее, выглядел сейчас особенно лощеным, на нем была свежая сорочка и неизменная бабочка — среди общей растерянности и уныния он являл пример собранности и готовности к действию. Впрочем, ксендз! Но тот не вмешивался. Отрешенный, он не трогался с места, с тревогой и грустью наблюдая за Борькиными маневрами.

Мои нервы были натянуты, как струны: ни ответа, ни привета — записка моя не сработала. В конце концов я впал в состояние полнейшей прострации. Поздно вечером — я потерял уже всякую надежду — дверь камеры тихо приоткрылась. Я боялся шевельнуть пальцем, еще не веря. Кто-то тронул меня за плечо. Через несколько минут черный ворон мчал меня навстречу долгожданному свиданию.

VIII. Во имя гармонии

Я не вошел, я ворвался в кабинет следователя, как будто за мной шла погоня с овчарками. Надо было успеть подать сигнал бедствия, я боялся упустить лишнюю секунду. Плюхнувшись на стул — я уже не держался на ногах — я выпалил: «Голодовка!» «Троцкисты!». Я даже не успел как следует оглядеться, взглянуть в глаза следователя. Ее, кстати, и не видно было, моей начальницы. Отгородившись, будто ширмой, развернутым номером газеты «Правда», она, видимо, углубилась в

чение. Я осекся. Только сейчас я обратил внимание: кабинет утопал в дыму, как после газовой атаки. Никогда она так много не выкуривала.

— Любопытно, — услышал я. Писклявый какой-то, не ее голос, неизвестно даже мужской или женский. — Весьма любопытно. Троцкисты, значит?..

Ширма заколебалась, стала медленно уходить, и я увидел за столом волосатую бочку, на лице у него я не разобрал ничего, кроме глаз — два громадных черных угля. Он улыбался.

Я только успел подумать: этакая махина — и такой птичий голосок. У меня все выскочило из головы, вся моя информация. Он улыбался мне и разглядывал: сверху вниз, снизу вверх, анфас, профиль — как фотограф.

— Тринадцать человек, — пробормотал я первое, что пришло в голову. — Завтра приступают. Еще не поздно.

— Так-так, — он побарабанил пальцами по столу, — дальше?

Я пошел что-то плести по поводу Сократа, и Громова, и вчерашней потасовки, я уже почувствовал, что влип, и барахтался, пытаюсь как-то выпутаться. Он не переставал улыбаться, ласково, с каким-то даже сочувствием:

— Любопытно... Чрезвычайно любопытно.

Порывшись у себя на столе, он достал замасленную бумажонку и стал читать вслух — я услышал вдруг свою фамилию. «Совещание четверки», «выборы голодовочного комитета», «разработка наказа». Какой-то бессмысленный набор фраз, я не улавливал связи...

— Кто, я? — выкрикнул я в ужасе. Точнее,

я хотел крикнуть, но ничего у меня не получилось, какие-то начались спазмы и я шевелил губами, как щука на прилавке. Он поднес мне стакан воды и услужливо поддерживал, пока я не опорожнил его до дна.

— Это же Редактор! — простонал я. — Кому вы верите?

Он загадочно повел бровями и, сунув бумажку в папку, стал для чего-то старательно разглаживать обложку. Я невольно скосил глаза и оторопел: надпись на обложке, большими буквами, говорила сама за себя: Борис Ткач. Я сжался в комок.

— Назовите, кто? — пролепетал я, чуть не плача.

Он прикрыл ладонью папку. Потом сказал уклончиво:

— У людей совесть... Помогают нам.

Несколько минут я был полностью предоставлен себе: он курил, затягивался, пускал в лицо мне клубы ароматного дыма, он держался непринужденно, без официальности, и всячески выказывал мне свое расположение. Вволю накурившись, он принялся утешать меня. Не надо принимать близко к сердцу. Он не собирается раздувать кадило, он прекрасно понимает: не моя инициатива, меня втянули. Они закроют глаза. Меньше всего их интересуют тюремные склоки.

— У нас с вами будут дела поважнее, — закончил он. — По большому счету... Вы знаете...

У меня вырвалось:

— Вызовите Ткача! Я настаиваю!

— Нервы, молодой человек, — ласково произнес он, — поберегите нервы...

Больше он не стал со мной возиться. Вдогонку, когда меня выводили, он крикнул:

— Грозный! Капитан Грозный! К вашим услугам! Если понадоблюсь...

Он загадочно скользнул по мне своими горячими, липкими глазами. Внутренний голос нашептывал мне: берегись! акула! Хотя, по правде говоря, по всем решительно статьям, в том числе и по обхождению своему, он был классом выше ее — рядом с ним она, первая моя, выглядела попросту кухаркой, официанткой, в лучшем случае. Тем не менее, что-то в нем пугало меня, приводило в трепет. Я, между прочим, так и не понял смысла этой перестановки. Одно я все же уловил: не в них тут дело, я сам себя загнал в тупик. Казалось бы, я шел единственно верным путем, следуя голосу совести своей, — этого, оказывается, недостаточно. Мог ли я в позорной истории с голодовкой действовать по-другому? И как же оно, в конечном-то счете, нелепейшим образом обернулось против меня? Впервые за все это время я ощутил себя между молотом и наковальней...

Сопровождаемый конвоиром, я медленно спускался с лестницы, голова у меня кружилась, ноги подкашивались, конвоир придерживал мой рукав, опасаясь, видимо, как бы я не рухнул в лестничный пролет. У поворота к выходу он остановил меня.

— Твое барахло? — он сунул мне под самый нос вещевой мешок, от которого разило дезинфекцией. — Твои вещи? — повторил он, вытряхивая под ноги мне содержимое мешка.

Обезумевшими глазами я въелся в конвоира. Точно: моя майка, моя рубашка, полотенце, кусок

мыла — откуда? Вдруг — здесь! У меня бешено заколотилось сердце, внезапная вспышка надежды, словно молния, пронзила меня насквозь. Боже, мои вещи, мне возвращают... Я судорожно вцепился в рубашку.

— Айда! — конвоир сгреб все снова в мешок и повел меня вниз куда-то, в подвальное помещение и дальше, по лабиринту, меж двух рядов обитых войлоком дверей. Над нами поминутно вспыхивали какие-то сигнальные огни. У одной из дверей мы стали. Сумасшедший! Как могло прийти мне в голову! Перемещение, всего-навсего! Из тюрьмы в тюрьму. Тюрпод следственного корпуса, не так трудно догадаться: я ведь подавал заявление, просил. Мне идут навстречу...

...С непривычки я зажмурился. От такого ослепительного света я уже отвык. Камера была залита электричеством; стены, пол, чуть ли не потолок — все было выкрашено масляной краской, и все это отсвечивало, пылало, на меня как будто направили сотню прожекторов. Я протираю глаза, не решаясь ступить.

— Люкс! Вы не находите?

Мне бросилось в глаза: металлическая кровать с сеткой, матрац, комплект постельного белья, тумбочка — купейный вагон! И этот новый мой сосед, в единственном числе... пижама, пенсне, даже прическа, ничего арестантского!

— Будьте как дома, — прибавил он.

Это комфортабельное купе чем-то отпугивало меня и угнетало — я не мог уловить причину. Оно показалось мне западней, я продолжал топтаться у порога.

— Очнитесь же, чёрт возьми! — Сосед мой шагнул вперед и принялся мне стелить, я не успел опомниться. Он уронил при этом свое пенсне и без него, близорукий, показался мне вовсе домашним.

— Блудов, Семен Игнатьич, — представился он. — Диаматчик. Завкафедрой. Не пугайтесь.

Эта ночь промелькнула как мгновение ока. Я попал на школьную парту. Блудов взял инициативу целиком на себя. Он начал с азов. Прежде всего, давайте расшифровывать, что сей сон значит: перевод из прославленной Лукьяновской тюрьмы в этот люкс. Мне не мешает знать: тюпод — это класс. Сюда мелюзгу не берут. Генералитет, прошу прощения! Партаппаратчики, идеологи, наука — публика гибкая, прошла огонь и воду. Процессы всякие, трибунал, военная коллегия, все это комплектуется здесь, в этом заповеднике. Отборочная база, так сказать. На меня, следовательно, делают ставку, иначе не стали бы пачкаться. Какое-нибудь групповое дельце, подпольный центр, что-нибудь в этом роде. Придется писать и писать, мне подскажут.

Я слушал разиня рот, он как-то сразу сумел подобрать ко мне ключи. В конце концов, я и сам заговорил, впервые за эти две недели у меня развязался язык. Я выложил перед ним всё, встреча с Борисом, события в камере, ортодоксы, голодовка, вплоть до последней кошмарной сцены у нового моего следователя, капитана Грозного.

Главным персонажем моей исповеди был, конечно, Борька. Я не мог освоиться с мыслью, что он способен сыграть со мной такую жестокую шутку. Перевернуть вверх ногами, выдумать, извратить, что же это? Времена святой инквизиции?

Блутов, мой новый сосед, был на этот счет другого мнения. Я должен взять себе за правило, заявил он, — ничему не удивляться. Капитан Грозный слов на ветер не бросает. Коль скоро Грозный намекнул — можно положиться.

Вообще же — личность Борьки чем-то его захватила, в частности его панегирики, восхваление лагерей Блутову показали Бог вест какой находкой, он пришел в неопиcуемый восторг. «В лагерях. Раскрепощение личности!». Он без конца смаковал, восхищался, повторял на все лады. Я это принял было за издевку — нет, оказывается, он все больше приходил в раж. «Попробуйте, скажите кому-нибудь! — восклицал он, — заключают! Между тем...»

Он носился из угла в угол, жестикулировал, возражал воображаемым оппонентам, как будто перед ним была тысячная аудитория. «Антинаучно, прежде всего... Ибо лагерь в советских условиях больше не лагерь! Оставаясь аппаратом принуждения, он в то же время перестает быть аппаратом насилия. Поскольку на первый план выдвигаются не карательные, а производственные функции. Вот тут-то, как это ни парадоксально, выступают с поражающей рельефностью «зримые черты» новой формации: отмирание денежных отношений, сближение умственного и физического труда, воспитательная сила труда. Секрет мощи ГУЛага, его созидательного размаха — именно в этом! Магнитка, Кузбасс, первенцы сталинских пятилеток — чудеса труда лагерников! Это вам не египетские пирамиды! Покорение севера, Магадан, Воркута — всё он, ГУЛаг-бабушка! Он далеко не дурак, ваш Борька, следует только убрать

идеалистическую оболочку, переставить формулу с головы на ноги. Труд, производство, в этом ключ!

Все это было замысловато и для меня ново, оно увлекало, заманивало в какие-то глубины, мне приходилось делать невероятные усилия, чтобы уследить за ним.

— Насчет пятилеток, — осторожно заметил я, — по-моему, зря...

Он рассмеялся.

— Вы не можете отрешиться, — сказал он. — Что же, давайте упростим: лагеря работают на социализм, сиречь — плоть от плоти... Что же вы можете возразить?

Я почувствовал внезапную усталость, он, очевидно, заметил.

— Глотайте, — сказал он, всучивая мне таблетку. — Бьет наповал.

Каким-то образом все у него было под рукой: таблетки, папиросы, даже минеральная вода, правда — в термосе, стекла не разрешали. Я мгновенно уснул.

Меня разбудило солнце, мне брызнуло в лицо море солнца! Я вскочил от неожиданности, увы! Все та же ненавистная электрическая лампа, гнусный этот прожектор, и Блудов в своем пенсне, он созерцал меня, как подопытное насекомое. Только сейчас я разгадал причину подавленности, сковавшей меня в первые же минуты, едва я ступил за порог этой шикарной клетушки. Здесь было всё: матрацы, простыни, минводы, всё — кроме дневного света, камера не имела окон. Наверху, где-то под самым потолком, подобие люка — очевидно, вентиляция.

— Привет! — произнес Блудов с напускной беззаботностью. Он продолжал висеть надо мной, внимательно наблюдая за моими движениями. Я шарахнулся от него, во мне вдруг заныло, как зубная боль: моя камера в Лукьяновской тюрьме, два окошечка, нары, один на одном, суматоха, толкучка, люди... У меня, должно быть, исказилось лицо, Блудов заметил — у него был собачий нюх.

— Вы что, — спросил он игриво, — детей там оставили? Тещу? Давайте питаться!

Только сейчас я заметил на тумбочке у себя чашку кофе, ломоть свежего хлеба, два кусочка сахара и несколько штук папирос. У меня слюнки потекли.

— Санаторный режим, — сказал Блудов, — чувствуете?

У него на тумбочке было то же, плюс белая булка и порция масла. Заметив мой взгляд, он небрежно сказал:

— Язвенник! У них на сей счет строго...

Он при этом подмигнул мне, мне стало как-то не по себе, я притворился, что не заметил.

Не успел я покончить с завтраком, как форточка в двери приоткрылась и чей-то палец помянул меня; здесь все у них строилось почему-то на пальцах: приказания, сигналы, вызовы... Меня пустили по конвейеру: душевая, парикмахерская, медосмотр, меня обрабатывали, чистили, проверяли, передавали из рук в руки, пропустили даже через фотокамеру, — словом, меня для чего-то готовили. Я вернулся к себе совершенно измочаленный. От внимания Блудова это, конечно, не могло ускользнуть. Он принялся за меня тотчас же, без передышки. Подсев ко мне на кровать, он начал:

— Главное в нашем положении — запомните: никаких эмоций! Здравый смысл, логика, ничего больше! Я уже перешагнул...

Мне было не до разговоров, я молчал, забившись в угол. Он, однако, и не думал отставать. Придвинувшись ко мне поближе, он сказал с подчеркнутой интимностью:

— Я понимаю... Вчерашний этот эпизод у следователя... Ваше поведение... Угрызение совести и тому подобная чепуха. Уверяю вас...

Я вспыхнул и перебил его:

— Я ничего не выдумывал! Мой партийный долг!

Он ухватился. К моему сведению: существуют два рода долга, с большой и малой буквы. То же относится ко всем прочим категориям: справедливость, честность, подлость. Сегодня — справедливо, завтра — подло; для вас — долг, мне — нож в спину; ничего абсолютного. Це-ле-сооб-разность! Единственный критерий истины. Разумеется — в историческом аспекте...

Должен сказать, я превратился в жалкого школьника, приготовишку, хотя тут не было никаких для меня откровений. Он сумел пригвоздить меня, у этого человека, казалось мне, какой-то особый, машинный мозг.

Свобода есть сознание необходимости, продолжал он, альфа и омега марксизма. Весь сыр-бор, по сути, вокруг этого. Я должен усвоить себе: социализм вступил в решающий диалог. Цель коммунизма, его пути и способы — все поставлено на карту. Монолитность системы, железное единство — таково веление Времени. Его выражает Сталин, как бы его ни поносили. Деспотизм, тирания, тому

подобные жупелы — интеллигентская истерика, иначе не назовешь. Если на то пошло, давайте искать аналогии — в природе, в искусстве. Достаточно обратиться к музыке: симфонический оркестр, для наглядности. Тоже тирания, тоже деспотизм. Железная диктатура дирижера! Во имя гармонии...

— Я думаю, — неожиданно закончил он, — они это поняли... Бухарин, Радек, и прочие все на процессах. И сделали для себя выводы...

Я заволновался. Заметив, должно быть, выражение моего лица, он пояснил:

— Все эти версии насчет гипноза, уколов, применения химии, таблетки всякие — бред... Они давали показания как все, как я, как завтра дадите вы... Заведомо, с ясной головой...

У меня мороз прошел по коже. Я прошептал:

— Не думаете же вы...

Не слушая меня, он закончил:

— ...шли на смерть, на позор, в интересах единства!

Дверь отворилась, и в камеру ворвался запах еды. Мне была поставлена миска щей и порция каши — невиданная роскошь. Блудову принесли что-то мясное, котлеты, кажется, оттуда запахло жареным. Я отвернулся, не в силах дотрагиваться до еды, меня взбудоражили последние фразы Блудова. Он, однако, уже успел переключиться и обо всем как будто позабыл.

— Это вам не лукьяновская баланда, — услышал я его бормотанье, и тут все кругом ходуном пошло, началось хлюпанье, чавканье, бульканье... Он захлебывался, торопился и не обращал больше на меня никакого внимания. Со своими котлетами он управился мгновенно, я не успел передохнуть.

— Не надо понимать слишком буквально, — раздался снова его голос, прерываемый икотой и причмокиванием, — он, видимо, обсасывал пальцы. — Я имел лишь в виду... все сегодняшнее, наносное... все эти следствия, допросы... время смоем. Останется — гармония...

Его жвачка, впремежку с этими рассуждениями — что-то во всем этом крылось оскорбительное, и я всеми силами старался преодолеть поднявшееся против воли моей ощущение брезгливости. Я не оборачивался, старался не глядеть в его сторону. Он ничего не заметил и продолжал тем же тоном, все еще занятый своими объедками:

— Мы еще не полностью осмыслили, — бубнил он, — необходима известная дистанция... Надо расплеваться со всеми этими юридическими деталями: признания подсудимых, прокурорские выступления, экспертизы... Чистая техника, суть в другом. Они войдут в историю, эти люди, как явление беспримерного самопожертвования, Бухарин, Рыков, вся плеяда... Уступить пальму первенства, отдать имя свое на поругание, подняться на Голгофу обещенными перед лицом поколений... Подвиг, которому нет равных! Царская каторга, декабристы — ничто...

Я поднял голову, — мне бросились в глаза его лоснящиеся жирные после еды губы, приспущенные веки. Меня вдруг озарило, полоснуло, с языка чуть не сорвалось, я с трудом удержался.

— Я, кажется, понял, — тихо сказал я.

— Превосходно, — подхватил он и, подойдя, подвинул мне мою миску. — Ешьте же, стынет!

Он разошелся и, потирая руки, приговаривал:

— Не стоит раздувать. Жить надо, есть-пить.

Идти со всеми, в ногу с эпохой... Плыть по течению... Поменьше самоанализа, — он хлопнул меня по плечу, — через какую-нибудь неделю, максимум две, ручаюсь, Карфаген будет взят...

Я молчал, опустив голову, я не решался поднять на него глаза. Он же, наоборот, входил во вкус, его потянуло на откровенность.

— Считайте меня циником, — сказал он, — но поймите — нельзя же в наши дни оставаться таким чистюлей...

Он собирался начать новую лекцию, но его остановил палец, все тот же безымянный голый палец — он просунулся в дверную форточку и устоялся на меня в упор. Меня вызывали к следователю.

— Ни пуха, ни пера, — услышал я за спиной у себя голос Блудова. — Напоминаю: свобода есть осознанная необходимость.

Я вырвался от него, как от зачумленного. Только сейчас, наедине с собою, я дал волю своей ярости. Я поднял восстание задним числом. Наседка же, подлинная наседка, как это я сразу не раскусил! Надо было высказать ему, плюнуть в лицо, замахнуться, любопытно, как бы он стал реагировать. Я жаждал повернуть назад, к нему, на один бы миг. Впрочем, он был все еще со мной рядом, он следовал за мной неотступно, как тень. «Какая же я наседка, — защищался он, — посудика сам...

Я ничего такого не говорил. Не подбивал, не провоцировал, — наоборот. Я подсказывал, наставлял тебя на путь истинный. И сейчас, у следователя, не вздумай...»

У дверей кабинета я замешкался, одну лишь секунду. Мне следовало бы чуточку передохнуть,

прийти в себя, но какой-то на меня вдруг напал зуд. Я не представлял еще, во что оно может вылиться, но незнакомое прежде чувство отчаяния неожиданно охватило меня. «Грозный, так Грозный!» — подумал я и перешагнул порог кабинета.

— Тю! Да вас узнать нельзя!

Я воспринял эту удачу как милость Божью. Снова она — я уже не рассчитывал! — опекунша моя. Она заметно поблекла, возможно, болела. Я не в состоянии был скрыть свой восторг, она, моему, осталась довольна.

— Итак, маэстро? — кокетливо спросила она, — какие будут пожелания?

Я не стал тянуть, подбирать выражения. Я говорил, как чувствовал. Как товарищу или сестре. С меня свалились оковы. Я прошу, сказал я, только об одном: перевести меня обратно в прежнюю мою камеру, в Лукьяновскую тюрьму. Всего-навсего. Этот Блудов, он замучил меня. Мне необходимо разобраться, один-два дня, не больше. Потом пожалуйста, вызывайте. Это подвальное помещение, я одурел, я не выношу, без дневного света.

Мне показалось, стекла посыпались, так звонко она завизжала. Ее вынесло из-за стола, резво, как на ринг. Подскочив ко мне, она замахнулась и так и застряла с занесенной рукой. Каскад проклятий, я еле успевал проглатывать.

— Христосика изображать! — кричала она, — прибедниваться! К своим потянуло! Сволочи! Змеи! Одна свора!

Она кружила вокруг меня и топала ногами, и странным образом ее топот и визг будили во мне ненависть к нему, к Блудову, и непоколебимое

упрямство: во что бы то ни стало не возвращаться в эту душегубку, к Мефистофелю. Учителю моему.

— Ваши претензии?

Рядом со мной очутился капитан Грозный, я не заметил, откуда он появился. Сейчас их было двое, он зачем-то тянулся обоими руками к моим глазам, а она, по-прежнему бегая вокруг да около, кривлялась и выкрикивала:

— Солнце подавай ему! Дневной свет! Не-женка! Профессор кислых щей!

— Претензии? — корректно повторил Грозный и, пока я жаловался ему на подвальные условия, на головные боли, резь в глазах, он кончиками пальцев щупал мой лоб, у надбровий, ровно бы я попал к нему на амбулаторный прием. Мне стало жутко.

— Нервы, молодой человек, нервочки, — как сквозь сон услышал я его излюбленное выражение. Он улыбнулся мне во весь рот, и я отшатнулся — всё в нем почему-то пугало меня, даже золотые коронки.

— Лечиться надо, — прибавил он дружелюбно.

Его тон, очевидно, вызвал у нее раздражение, она вдруг разразилась снова, он поморщился.

— Целочку корчить! — кричала она мне в самое лицо, — нитки мне... мотать! Я тебе намотаю!

Грозный выразительно поднял руку, останавливая ее. Взглянув в мою сторону, он незаметно подмигнул мне: «баба, мол, никуда не денешься. Мы-то понимаем друг друга, как мужчина мужчину».

От меня, однако, ничего уже не оставалось. Какой там мужчина! Мокрица, сороконожка. Ноль без палочки! Никогда в жизни не был я кандидатом наук, никакого не было на свете ВНИИМСХа, и партактивов, и сельхозкампаний. Сон! Я стоял навтыжку, не произнося ни слова.

Грозный что-то во мне уловил. Он вдругглянул на меня, скользнул только, и насторожился весь, подобрался. Ничего в нем, собственно, с внешней стороны не изменилось — физиономия, повадки, — но... трудно передать, какой-то вдруг вольтаж, стойка — учуял дичь. Она, его партнерша, смекнула сразу, она мгновенно притихла. И я — звериным каким-то чутьем — угадал: в эту минуту решается моя судьба. Он ухватился за телефонную трубку:

— Трифонов, ты? Принимай гостя! — сдержанно, вполголоса, как ни в чем не бывало.

У меня ёкнуло сердце, забилося как птица. Трифонов был начальник Лукьяновской тюрьмы. Неужели, все-таки? Я не мог поверить.

— Нет, не новенький, — произнес Грозный, незаметно, искоса, продолжая присматривать за мной, — твой же, из 264-й... Возвращен за ненадобностью.

Я спрятал лицо. Упаси Боже, не выдать бы хлынувшей на меня радости!

— Картотека номер семь! — услышал я голос Грозного, — добро?

Чёрт с ней, с этой картотекой! Семь, семьдесят семь, хоть бы и семьсот семьдесят семь, какая мне разница? Все в нем показалось мне вдруг восхитительным: громадные его глазища, одуряющий запах духов — от него разило за полкилометра —

и даже сама фамилия — «Грозный». Какой же я балда, как плохо еще разбираюсь в людях! Принять истеричку эту за ангела во плоти, а его, Грозного, за вампира. Да она мизинца его не стоит! Я готов был броситься ему в ноги, хотя все еще не уверен был в своем счастье. Только внизу, в черном вороне, я вздохнул, наконец, полной грудью. К тому же — меня ждал здесь новый сюрприз, я глазам своим не поверил: малыш этот, бухгалтер, попутчик мой после первого допроса — он забился в угол кабины, свернулся клубочком, наподобие ежа. Сомнений нет, я возвращаюсь в прежнюю свою камеру. Я кинулся его трясти, мне надо было убедиться, воочию!

Дорога в Лукьяновскую тюрьму была для меня триумфальным шествием, от начала до конца. Просто поразительно, как все удачно складывалось. Вдруг этот бухгалтер, я и фамилию его позабыл. Он был чем-то ужасно расстроен и не подавал признаков жизни, мне же, наоборот, не терпелось говорить, мы с ним на этот раз поменялись ролями. От него невозможно было добиться ни полслова, мне пришлось основательно с ним повозиться. Что произошло? У него, насколько мне помнится, благополучно закончилось? Допросы, следствие, все на свете. Почему снова? Вообще, что там могло стрястись? Хуже того, что случилось, во всяком случае уже не будет. Семь шкур, как говорится, никто драть не станет...

Он взвился, подскочил — я наступил ему на больную мозоль. Все семь шкур, вот именно! Сдерут, не задумаются... Ему шьют по новой, пятьдесят восемь восемь, террор. Он, было, подумал — шутка, игра какая-нибудь, мало ли что может

прийти в голову следователю. Оказывается — свидетели, честь по чести, ему предъявили показания. Действительно, было, он высказывался в камере, как раз тогда, после окончания следствия. Расхвастался на радостях, грозился головы снести стукачам — он не отрицает. Не мог же он думать, что переврут. Главное — свои же, друг на дружку, вот в чем ужас...

— Какие там ужасы?! Юмор! Какой из тебя террорист? Разберутся... Следователи — среди них тоже люди. Например, этот капитан Грозный...

Он проворчал:

— Знаем мы этих Грозных! Мягко стелят... Садисты, один в один! Повесить бы их на одном сучке...

Я ничего не мог с собой поделать, мне было радостно, я ликовал. Я принялся рассказывать ему все подряд, и все это выглядело теперь копеечной игрой, мои страхи, переживания, — даже это трагическое происшествие с голодовкой. Я ведь не собирался никого топить, я хотел предупредить, они поймут. Что касается Борьки, тоже сомнительно. Какая из него насадка? Скорее Блудов! Вы как считаете?

Я вцепился в своего бух'а и он в конце концов поддался, апатию с него как рукой сняло. Он взялся снова меня просвещать. Ничего я, оказывается, не понял, ни бум-бум. Объяснял же он мне: что такое насадка? Гончая, берет след... Ее дело — вынюхать, чем человек дышит, подловить, подставить ножку. Арестанты — у каждого наболело, а эти — тут как тут, подзуживают, масла в огонь подливают. Народ и клюет. Другое дело — толка-

чи. Не дразнят вроде, не подбивают, наоборот, учат тебя уму-разуму. Сулят, зубы заговаривают — пиши да пиши. Толкают живого в могилу. Толкачами и прозвали.

— Блудов, — мелькнуло у меня, — точная копия! У него дарование, у моего бух'а.

— Главное, — продолжал он, — сам же, уродина, одной ногой там... Статья, срок, все что полагается. Бывает даже — смертник, ждет приведения в исполнение — все равно старается... Чего ради, спросите у него? Наседки, те, по крайней мере, из вольняшек, как правило. Попросту говоря, переодетые энкаведисты, еще можно понять. Бывает, правда, приспособливают из старых лагерников. Самые, считай, отпетые...

— Не может быть, — вырвалось у меня.

— Продаю за что купил, — обиделся бух.

— Да нет же, — сказал я. — Это я про Борьку. Друзья же, кровные, одной ложкой ели...

— Какие теперь друзья, — надулся бух, — не верьте брату родному, продаст за понюшку табака.

— Борька не может, — упрямо настаивал я, — не из того теста...

Я вдруг вспомнил передряги наши, в камере, чувство жгучего стыда обожгло меня.

— Он не продажный, — пробормотал я, — быть этого не может.

Бух схватился за голову.

— Что с народом сделали, — произнес он запальчиво, — были люди как люди...

Он не договорил, вытянулся вдруг, уши торчком, он весь превратился в слух —

Широка-а страна моя родна-ая-а-а,
Много в не-ей лесов, полей и ре-ек...

Какой-то особый, необыкновенный выдался день! По стенкам нашей кабины вдруг шлепнуло, хлестануло с размаху, трубы, бубен, свистульки всякие — гром среди ясного неба, духовой оркестр. Наш ворон дрогнул, свернул набок, пристыженно уступил дорогу, стал. Оба мы прилипли к стенке, присосались к щели — два клопа. Нам навстречу выползала откуда-то колонна, цветастая, с блистающими кумачом знаменами.

— Октябрьские? — задыхаясь, прошептал бух.

— Какие еще октябрьские? — возразил я, — опомнись!

— Тогда чего? Проводы?

Его охватило неопишное волнение, во что бы то ни стало ему понадобилось установить дату, причину торжества. Он производил вычисления, лихорадочно припоминал, сопоставлял, он оказался на редкость дотошным, но был слабоват по части хронологии и без конца теребил меня. Возможно — двадцатилетие? Взятие Киева? Разгром Центральной Рады? Он начисто забыл собственные свои дела, второе следствие, обвинение в терроре — его влекло магнитом туда, наружу, в общий поток.

Под самым носом у нас колонна придержала шаг. Поднялась метушня, игры какие-то, визг, кувыркание, они валились чуть ли не на руки нам, на стенку. Бух заметался, ему вдруг почудилось:

— Наши! Ей-Богу наши! — завопил он, — глянь-ка, глянь! Имени Клары Цеткин... Переходящее знамя, голову на отсечение...

Он пополз вдоль стенки, заерзал, выискивая щель пошире. Кого-то из колонны вынесло вперед, с баяном, с частушками, они старались вовсю, как будто специально в пику нам.

— Людям праздник, — захныкал мой бухгалтер, — они даже не смотрят...

Он отпрянул, свалился на скамейку, сжал ладонями голову.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Я не мог оторваться. На глазах у меня ключом била жизнь, необыкновенная и прекрасная. Женщины, дети, взрывы смеха, простые человеческие радости, осколок далекого прошлого. Не две недели — два столетия отделяли меня от всего этого. С другой планеты, с того света глядел я на этот воскресший мир, близкий и недосягаемый. Он был когда-то моим. Неужели безвозвратно? «Свобода есть сознание необходимости...» Ложь! Вот она, истинная свобода, рядом, на улице. Надо, чтобы не только здесь, чтобы всюду, в каждом доме, в любом человеческом жилье. Для всех. Без страха, без черного ворона.

— Враги народа, — простонал малыш. — Кто-то придумал...

— Пустяки! — я похлопал его по спине. — И на нашей улице будет праздник.

Мы снова тронулись в путь. Наш ворон полз как черепаха, он то и дело застревал, кого-то про-

пускал, останавливался, он пробирался тихо, без гудков, как вор. Я ничего больше не замечал, охваченный единственным стремлением: добраться как можно скорее, объясниться, распутать этот клубок. В конце концов — люди же, Борька, Максим Максимыч, Громов, ортодоксы эти, и ксендз. Не вечно же ненавидеть, грызться. Должно же существовать между нами нечто связующее, объединяющее...

Я не разобрал последних слов несчастного бух'а, когда, прильнув ко мне и глотая слезы, он шептал что-то мне на прощанье. Я дорожил каждой минутой, необходимо было поспеть до вечерней поверки, застать их еще на ногах.

Как назло, меня слишком долго продержали в собашнике и я не на шутку перепугался. Мне показалось — вечность, и я готов был допустить самое ужасное. Возможно даже — Грозный передумал, она могла его настропалить, эта баба, и меня снова водворят на съедение к Блудову. Возможно — просто пошутили, позабавились, скуки ради. В голову лезла всякая дичь, мне самому показалось непристойным. Когда за мной, наконец, явились, я еле ворочал языком.

Паника моя оказалась напрасной. За мной пришли двое, надзиратель с помощником, те самые, что приходили забирать Сократа. У меня окончательно отлегло — пришли свои, все становится на места. Мы двинулись по знакомой лестнице, по тем самым коридорам, я узнавал каждый поворот. Я несли, как на крыльях, наступал на пятки конвоиру, шедшему впереди меня. На третьем этаже он нерешительно стал.

— Направо, — скомандовал я, совсем уже по-

теряв голову. Моя камера 264-я, была четвертой справа. Конвоир послушно свернул вправо. Надзиратель, позади меня, спокойно следовал за нами.

Мне показалось, я уже слышу голоса. Они не спят еще, нет! Я вовремя поспел! У двери своей камеры я остановился, меня уже невозможно было оторвать никакими силами. Помощник впереди меня сделал еще два шага, машинально, и, оглянувшись на меня, стал тоже.

— Прибыли, — объявил я срывающимся голосом.

— Вперед шагом марш! — отдал команду надзиратель, подступая ко мне вплотную.

Я ухватился за дверную ручку:

— Двести шестьдесят четвертая, вот она! — у меня зуб на зуб не попадал.

— Сказано вперед! — тихо произнес надзиратель, подталкивая меня в спину.

Не помня себя, я стал вырываться, хвататься за голые стены, я скользил по полу, меня оттаскивали, гнали вперед. Мы поднимались по каким-то еще лесенкам, пробирались по галереям, переходили в смежный какой-то корпус — я ничего не запомнил. Меня доставили, наконец, в глухой тупик с кованными железом дверьми. Тишина кругом стояла могильная. Я догадался — одиночки. Меня пропустили в камеру, узкую щель с крохотной решеткой под потолком. «Картотека семь», — прожужжал мне в ухо слащавый голос Грозного. У меня затряслись руки, ноги.

Я сделал несколько шагов и без сил опустился на пол, тут же, не сходя с места. В ушах у меня стоял звон, мне мерещились фанфары, гул духового оркестра. Возможно, я впал в беспамятство.

Внезапно музыка оборвалась, обратилась душу раздирающим стоном. Я подполз к двери, припал ухом. Мертвая тишина обступила меня, тюремная ночь, непроницаемая и глухая, без единого звука.

— Галлюцинации, — прошептал я и, прислонясь к двери, замер в ожидании; большое мое воображение, подумал я, понемногу приходя в себя. — Какие могут быть вопли среди ночи? Обыкновенные одиночные камеры, всегда были...

«Нервы, молодой человек», — проговорил я себе, подражая тону капитана Грозного, — «нервочки...». — У меня стали закрываться глаза... и вдруг! Земля разверзлась подо мной, ночь вспыхнула, взметнулась. Крик возник где-то совсем близко, рукой подать, и сразу же был придушен, оборвался. Минутный взрыв, как короткое конское ржание.

— Живоде́ры, — расслышал я, и в этом возгласе было что-то до ужаса знакомое, — кровопийцы...

Он, видимо, сопротивлялся, его волочили. Я стал в исступлении барабанить, пытаюсь вышибить дверь. Я надрывался и молил:

— Бори-и-ис! Боря-а-а...

Ответ послышался тотчас же, без промедления.

— Шку-ура-а, — простонал он еле слышно, тяжело.

Я скорчился, как под взмахом хлыста. Всякие сомнения отпали: Борька Ткач здесь, со мной рядом. Он отозвался, он узнал мой голос. В помраченном моем сознании, как на светящемся экране, прорезались Борькины слова, он произнес их од-

нажды в камере: «Они, возможно, братскую могилу нам готовят, — сказал он мне, — а мы? Мы в жмурки играем?» Он, выходит, оказался провидцем. Нас с ним воссоединили, в этом каменном мешке. Он валяется за дверью, постанывает...

Избиение! Возможно ли? Дыба петровских времен. Совместимо ли?! Не верю! Ушам своим! Глазам своим не поверю!

Он вдруг набрался сил, выкрикнул снова, неожиданно звонко, внятно, в каком-то даже упоенье:

— Что? Убедился!

— Нет! — яростно закричал я, собирая воедино последние какие-то крохи упрямства. — Нет, Борька, не-е-эт!

Мне было еще невдомек, что указание вождя о применении физических мер воздействия вступило уже в законную силу.

1965-66 гг.

«SVĚDECTVÍ»

Чехословацкий культурно-политический
ежеквартальный журнал
№ 48

- Павел Тигрид** — Советская сверхдержава и другие
Зденек Гейцлар — Советская политика разрядки международной напряженности и оппозиционные силы в СССР
Иржи Ковтун — Советские диссиденты: обсуждение реформы
Андрей Сахаров — Автобиографические данные
Александр Солженицын — Власов
Иосиф Бродский — Стихи
Ян Верих — Ночь убегает на черном коне
Осип Мандельштам — Стихи
Надежда Мандельштам — Такова моя вера
Арсен Похрибный — Из жизни московских прогрессивных кругов
Иосиф Шкворецкий — Пираты
Здена Саливарова — Плудек идет ва-банк, а Левит плутует

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ПАВЕЛ ТИГРИД

Стоимость подписки на год: в США — 12 ам. дол.; в Швейцарии — 40 шв. фр.; во Франции — 50 фр. фр.; в Великобритании — 5,50 англ. фунтов; в Австрии — 220 австр. шилл.; в ФРГ — 33 н. м.

Оплату подписки следует производить международным почтовым переводом на любой из указанных адресов:

«SVĚDECTVÍ»

в США — Box 1181 Grand Central Station. New York 10017, N. Y., USA.

во Франции — 6 Rue du Pont de Lodi, 75006 Paris, France.

в Австрии — Wien. V., Margaretenplatz 7, Autriche.

Россия и современность

Евгений Терновский

ПУТЕМ ИСТИНЫ

Прежде чем начать принципиальный разговор о сборнике «Из-под глыб», выпущенном издательством ИМКА-ПРЕСС, необходимо отметить ряд особенностей, нравственного, духовного и исторического характера, связанных с изданием этой книги, которые, в целом, ставят этот Сборник в совершенно исключительное положение.

Во-первых, он написан в России, все его авторы живут в России, кроме Солженицына, но его статьи написаны еще на родине. Это свидетельствует об огромной мужественности и жертвенности авторов, и о том, что зов нашего времени «Жить не по лжи» не остался не услышанным. Правда, и раньше, и теперь, путем Самиздата и зарубежной русской прессы расходится большое количество литературных, общественных и богословских работ, авторы которых тоже живут в России. Но никогда еще ни один сборник не объединял людей с таким высоким чувством единомыслия, не только мировоззренческим, но и конфессиональным. Безусловно, стержнем этого единомыслия являются статьи Солженицына, но это ничуть не ущемляет индивидуальности каждого автора,

«Из-под глыб». Сборник статей. М. С. Агурский, Е. В. Барабанов, В. М. Борисов, Ф. Корсаков, А. И. Солженицын, И. Р. Шафаревич. Москва, 1974 г. ИМКА-ПРЕСС, 1974.

постановки его собственных проблем. Духовная общность авторов кладет на книгу совершенно особый знак. Хотя некоторые статьи (А. Б., М. Агурский) чуть выпадают из общего духовного русла, но это выпадение не носит духовно-противоположного характера и ничуть не ослабляет напряженности Сборника. Быть может, ни в одной стране в настоящее время группа мыслителей не может выступить с таким глубоким единомыслием. И этому нельзя не радоваться.

Во-вторых, Сборник воспринимается как естественное продолжение и развитие той религиозной линии русской интеллигенции, которая дала нашей культуре сборники «Вехи» и «Из глубины». Родственность Сборника с двумя предыдущими очевидна. Не входя сейчас в подробный анализ этих связей, мне бы хотелось с удовлетворением отметить самый факт исторического «взаимодействия», налаживание коммуникативных связей с русским религиозным наследием, что мне кажется в тысячу раз более ценным, чем многие современные искания в России, зиждущиеся на чуждых опытах и культурах, будь то Хайдеггер или буддийская философия.

И третье — самое главное — внимательное чтение Сборника убеждает, что большинство авторов с удивительной духовной собранностью и трезвостью сконцентрировали свое внимание на тех проблемах, которые являются самыми безотлагательными и болезненными для текущего часа современной России. В Сборнике и следа нет того, что так часто ослабляет Самиздат: погружение в частную и мелочную полемику, конструирование сомнительных концепций, в которых сама проблема быстро улетучивается, либо мельчает с непостижимой быстротой, экскурсивные размышления о метафизических ситуациях или богатое, красочное — декоративное! — описание внутренних проблем, до того декоративное, что часто узор остается, а основа исчезает. Конечно, в жажде вну-

тренней свободы могут быть испробованы все пути, но не все пути могут научить нас чему-то и заставить поверить. А нам всем, людям, связанным с Россией неистребимыми узами, надо теперь очень многому учиться...

Любая духовная проблема подобна реке, и разветвление её на множество мелких рек ведет к высыханию. А Сборник «Из-под глыб» весь озарен изнутри духовной необходимостью, и если мы только в состоянии думать и тревожиться, мы не можем остаться равнодушными к этой книге. Да, уже сейчас можно сказать, что она уловила самый главный процесс, происходящий сейчас в России — не «метафизический», не «литературный» — вопрос гибели или воскрешения нашей страны.

И прежде чем мы обратимся к поставленным авторами проблемам и пойдем за ними в их разрешении, хочется попытаться восстановить, хотя бы в общих чертах, атмосферу духовной жизни современной России. Почему представляется — и это чувство пронизывает весь Сборник, — что сейчас Россия переживает совершенно особое время, что от решений, принятых сегодня, будут зависеть духовные судьбы многих поколений?

Сознательно сужая эту тему (слишком обширную для небольшой статьи), не останавливаясь на экономических и общественно-социальных аспектах — да и трудно сказать после «Письма к вождям» что-то конструктивно новое, — подводя её к тому общественному слою, к которому, как кажется поначалу, и обращена эта книга — к интеллигенции, — можно сказать, что именно в среде интеллигенции идет сейчас жесточайшая борьба за обладание человеческой душой, за «полную отдачу» души. (А. Солженицын). Результаты этой борьбы изменят нравственный и религиозный климат России. Хоть и известно — но для многих и сейчас это звучит кощунственно, — что ин-

интеллигенция всегда была самым лучшим проводником официальных идей за годы советской власти, но в последнее время она показала, что нравственные и религиозные идеи не вовсе ей чужды. Образование слоя «инакомыслящих» говорило о том, что в этой интеллигентской среде навсегда нарушена привычная помраченность ума и духовная отстраненность. Последнее десятилетие с небывалой остротой поставило перед интеллигенцией проблему «выбора», «волевого момента» в собственном существовании. Я знаю, как мучаются этим многие наши интеллигенты. Часто итоги этой муки — компромиссны, несовестливы, но, может быть, и это не так плохо — ведь путь от «лжи» к «правде», если он внутренне глубок, — долгий. И эта мука — прямое следствие и мощного влияния самого Солженицына, и деятельности А. Д. Сахарова, и «Хроники текущих событий», читаемой с таким благоговением, с каким в первые века христианства, может быть, читались апостольские послания, — и демократического движения, и волны Самиздата, и произведений Максимова и Синявского. А в последнее время участвовавшее хождение интеллигенции в Церковь — не связано ли оно с этим нравственным надрывом? Слова Солженицына — «жить не по лжи» — обещали быть словами целой эпохи в сознании интеллигенции. Для многих, как я знаю, они таковыми и стали. Можно ли сказать, что если и не преобразилась интеллигенция, то хотя бы тоскует по этому преображению, ищет его? Она пережила трудное для себя десятилетие (трудность была как раз в пробуждении, в других-то отношениях оно было благополучнее многих других!) — и каков же итог его? Последние события многих заставляют глядеть на это пробуждение как на мнимое, обманное. Или интеллигенция дала максимум того, что только могла — слой «инакомыслящих», — и снова духовно помрачилась и безвольно оцепенела? Почему никому особенно в нашу интел-

лигенцию не верится, и даже к самым искренним её порывам (подписание писем, например) многие религиозные люди относятся с затаенным недоверием?

Текуче и трудноуловимо понятие «интеллигенции». Авторы Сборника не раз это отмечают. Все её определения («некий новый орден», «религиозно-гуманистический», «духовная элита» — Н. Бердяев, «создание Петрово... героизм — вот то слово, которое выражает ...сущность интеллигентского мировоззрения» — С. Булгаков; «современная образованщина» — А. Солженицын) недостаточны, как мне представляется, хотя в терминологических образах Солженицына дана самая сердцевина русской интеллигенции.

Как бы не исследовалось интеллигентское сознание, как бы не вычленялись отдельные его свойства, оно все равно для многих остается непонятным, так как из этих понятий утекает тот метафизический воздух, вне которого они представляются лишь определенными клишированными характеристиками. И в этом метафизическом воздухе живет одно губительное свойство русской интеллигенции, вечный её спутник, источник самых опасных её соблазнов. Это — ирония, та самая ирония, которой, по-моему, не знал лишь Пушкин; все остальные русские писатели захлебывались ею, как отравой. Это — страшная точка русской культуры, в которой становятся «родственными» такие антиподы, как Гоголь и Толстой, Розанов и Блок, Соловьев и Бакунин. От иронии шел и героизм интеллигенции, так замечательно означенный Булгаковым, и эгалитаризм (в социальном ли плане, или в культурном), и гуманизм как «религиозное мироотношение».

Ирония рождается там, где человек, «обладающий Истиной», метафизически ей не однороден. Эсхатологический акцент русского самосознания в образованном классе как раз перешел в иронию, — присущую каждому сознанию, насильст-

венно «обладающему истиной». Такова ирония Кьеркегора, философа, случайно не родившегося русским интеллигентом. Такова ирония Гоголя, снижавшего высокие прозрения о России до «неумытого рыла». Эта ирония истерзала Блока, слив воедино образ Прекрасной Дамы и недотыкомки... И в наше время русский писатель растворяет свой опыт не в мистическом акте «прощения», который ему, как христианину, должен быть доступен, а в той же иронии; а где владычествует ирония, там действительно не поймешь, кто она — Россия: Мать или Сука? Можно возмутиться, болью может обжечься сердце — но это наше, родное, интеллигентское...

Но если большинство русских художников преодолевало как болезнь эту злосчастную иронию — в с л у ж е н и и, то в стандартизованном русском интеллигентском сознании оно, как кажется, вкоренилось навеки. Оттого и мука выбора может кончиться той усмешкой, с которой, наверное, Ставрогин Кириллову проповедовал атеизм, а Шатову — почвенное православие. Оттого-то и в Церковь современный интеллигент идет не в сознании смирения и слезной благодарности, а упоенно, победительно, г е р о и ч е с к и! Всё следы той же иронии...

Выше я сказал, что Сборник кажется обращенным исключительно к интеллигенции. Но авторы Сборника слишком хорошо понимают, что не интеллигенция спасала веру и Церковь в черные годы сталинизма, и не она — источник религиозного возрождения. Она сама издалека, запутанно и темно приближается (а приблизится ли?) к этому источнику. Уже одно это внушает, как кажется, авторам и надежду и веру на преображение (перерождение) интеллигенции. Но вот существенное обстоятельство, представляющееся для меня особенно ценным: Сборник — обращение ко всем мыслящим людям России, обращение истинно христианское по своей сути. Многие,

конечно, полагают, что этими людьми является интеллигенция и только интеллигенция. У меня такого оптимизма нет.

А. Солженицын поместил в Сборнике три статьи: «На возврате дыхания и сознания» (по поводу известного трактата А. Д. Сахарова), «Раскаяние и самоограничение как категория национальной жизни» и «Образованщина». Первая статья, написанная как ответ и возражение трактату Сахарова, не только не устарела, но и приобрела особую полемическую новизну в связи с тем, что мысли и положения, по-видимому, давно изжитые А. Д. Сахаровым, «разделяют немалые круги на Западе». Но и интеллигенции, живущей в России, еще читать её и перечитывать! События последних лет показали, что «уютная, удобная дрема советских ученых» продолжается. К несчастью, не только ученых. Разве можно предположить всерьез, чтобы кто-нибудь из наших деятелей культуры и науки коснулся этих проблем? Сразу припоминается, как под неграмотно и злобно составленными газетными статейками плясали подписи именитых ученых, вроде Колмогорова! Уж наверное, его деятельность, отмеченная такой великой любовью к изящной словесности, вдохновлялась (и может стать-ся, искренно!) верою в ПРОГРЕСС и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СВОБОДУ!

Но, по сути дела, эта статья, как мне кажется, в бóльшей степени сейчас оказалась обращенной к Западу, чем к России. Мысль, бытовавшая в России лет десять назад, о деструктивном характере лишь советской модели социализма, неоленинские тенденции, может быть, уж и не представляются особенно характерными для сегодняшней интеллигенции, хотя и не означают, что эти положения полностью изжиты. К тому же, многие пункты и мысли этой статьи Солженицына нашли стремительное развитие в «Письме к вождям».

Но вот его статья «Образованщина» для многих интеллигентов грянет как гром среди ясного неба. В этой статье ошеломительно все: и оценка старой интеллигенции, и анализ идеологии современной советской интеллигенции, и, увы, очень горестные для интеллигентского самолюбия, выводы.

У этого Сборника нет обличительного пафоса. Да и где там обличение, когда он весь — боль и тревога за Россию. И если у читателя возникает впечатление о всецело отрицательном отношении авторов к интеллигенции, то позволительно напомнить, что раз Сборник обращен и к интеллигенции, это уже само говорит о надежде на её преобразование. Могут спросить: почему Солженицын и другие авторы обращают свой упрек лишь к интеллигенции? Что ж, она разве виновнее тех, кто задолго выстраивается до открытия винного магазина, гремит на весь квартал передачами телевидения и костяшками домино — от пятницы до воскресенья — и, с точки зрения интеллигента, и лица человеческого уже не имеют?

Вопрос о том, кто виновнее, пусть мучает того, кому интересно самооправдаться чужой виной. На мой взгляд, факт интеллигентского убожества и истребление «человеческого» в простых людях — одинаково трагические факты для христианского сознания. Но одинаковая трагичность не делает эти два факта одинаковыми по своей сущности. Издавна отмечено, что нравственное падение, потеря веры в простых людях и в интеллигенции происходит совсем по-разному. Простой человек, теряя веру, не выстраивает тут же «новую иерархию духовных ценностей»; он живет, как дерево, как трава, для него единственными земными ценностями становятся хлеб, семья, труд. Водка и домино не способны ведь создать что-то конструктивно новое, демоническое, идеологически влиятельное. И, может быть, «простому человеку» не потребуется производить в своей душе той

гигантской ломки, которая нужна для разрушения ложных ценностей, без которых нельзя и представить интеллигента. Системы «ложных ценностей» так уплотняются в его сознании, что их «взрыв» подобен землетрясению. (Вспомните Ивана Карамазова, этого истинного русского интеллигента!) В романе В. Максимова «Карантин» два человека движутся к покаянию: Мария («простой человек»!) легче принимает его, чем Борис, ум которого, современный интеллигентский ум, весь наполнен «иерархией ложных ценностей», а следовательно, ложным самосознанием, иллюзорным укреплением своего Я («Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя самого» — К Галатам, 6).

В статье «Образованщина» (вникая в это необычное слово, невольно различаешь: о б р а з о в ы в а т ь и д ь я в о л ь щ и н а !) непредвзятый читатель найдет все этапы духовного развития (и истребления — тоже духовного) русской интеллигенции, от сборника «Вехи» до наших дней. Они даны в совершенно новой идейной освещенности. Давно устоялось, на эмоциональном уровне, клишированное понятие старой русской интеллигенции как образцовой, высокодуховной; Солженицын сильно колеблет это представление. Он пересматривает заново её «достоинства» и «недостатки». По Солженицыну, между «старой» и советской интеллигенцией такая бездна различий, что невольно приходит на ум, что нынешняя интеллигенция как бы и н о п р и р о д н а «старой». Солженицын это замечательно формулирует: при всей сложности определения самого понятия интеллигенции, советская может определяться лишь при наличии образовательного ценза, да и то относительного: «Под этим словом понимается в нашей стране теперь весь образованный слой, все, кто получил образование свыше семи классов школы» (стр. 228), и «верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно и оп-

рометчиво зовется сейчас «интеллигенция», называть ОБРАЗОВАЩИНОЙ» (там же).

А «старая» интеллигенция, как-никак, искала и «целостное мировоззрение», и жажды веры (хоть «и земной») сопутствовала ей в её развитии, и не оставляла души «фанатическая готовность к самопожертвованию» (стр. 219). Так что при сравнении «старой» и советской интеллигенции можно только воскликнуть: «Всё — не о нас!»

Стало быть, не имеет нынешняя, «самозванная» интеллигенция корневых связей с прежней, действительно, «иноприродна» ей? Читая Солженицына, думаешь — что так. Но интересно отметить, что в своем анализе «старой» интеллигенции Солженицын слишком мало освещает религиозные и церковные планы.

Вот, к примеру. В шкалу достоинств попали следующие: «Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского («старого»!) интеллигента исключительное место; личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному». Но с точки зрения христианской нравственности, эти качества и подвели к тому, что «социальная идея в России убила нравственную» (Н. Бердяев), идеологически разрушили попечение о спасении души.

Богато и полно характеризуя «старую» интеллигенцию, Солженицын почти не выделяет её неприязнь к Церкви, переросшую затем в ненависть, безразличие к самой личности Христа. «Вопрос о Боге — самый нелюбопытный вопрос в наши дни», — с болью писал в то время Мережковский. Невероятным представляется факт, что любимая книга русского народа «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» была почти неизвестна широким кругам интеллигенции, а один из немногих, в ком, по мнению многочисленного русского духовенства, просиял Свет Христов в XX веке — преподобный Иоанн Кронштадтский — был излюбленной мишенью издеватель-

ств и насмешек! Невозможно удержаться от соблазна сопоставить два отношения к культуре, старой интеллигенции и советской: над гениальным романом Андрея Белого «Петербург» потешалась вся тогдашняя интеллигенция; одно из самых горчайших стихотворений Блока вызвало шутовской отклик какого-то профессора, который глумливо предлагал «сто рублей тому (включая автора), кто разъяснит ему это стихотворение». И это не одиночное непонимание свиноподобного обывателя; достаточно вспомнить мемуары Белого, чтобы понять, каким было отношение тогдашней интеллигенции к культуре. А когда говорят о «религиозном ренессансе», «Вехах», как общеинтеллигентском деле, то ведь с этим никак нельзя согласиться. И от советской интеллигенции откололся слой «инакомыслящих» — может быть, как раз та часть, которая уже преобразилась внутренне. Так и старая интеллигенция, — от неё был отторгнут слой религиозного движения, но сама интеллигенция осталась ему вполне чуждой...

Так что — несмотря на убедительность и доказательность положений Солженицына, внутренне при этом анализе не отпускает чувство родственности обеих интеллигенций. И даже разговор о «центральной образованщине», удивительно глубокий, все же не убеждает.

«Центровой образованщиной» Солженицын называет тех идеологов (или кажущихся таковыми) интеллигенции, которая мыслит себя неким эгалитарным образованием внутри самой интеллигенции (Телегин, Венцов, Х. У., Алтаев, Померанц, статьи которых расходились в Самиздате и печатались в «Вестнике РСХД»).

Сейчас, надо заметить, круг этих идеологов и сфера их влияния значительно поубавились: одни уехали за границу, другие приумолкли, третьи — как Померанц — в искании; кстати, хочется отметить, что

самый характер искания в работах Померанца сильно отличал их от прочих идеологов: те, казалось, уже всё «нашли». Но, читая статью Солженицына, я вдруг ярко вспомнил то время, когда влияние этих идеологов было почти безоговорочным: вот тогда же слова «верующий», «церковник» (презрительный эквивалент) звучали в этих «образованских» кругах с таким же презрением, как в парткоме, только искренней. Надо полагать, кое-где звучат и до сих пор. Те бедные и несчастливые идеи, которыми упивались эти идеологи — элитарность интеллигенции, «соблазны» России (дурно понятая бердяевская концепция из книги «Истоки и смысл русского коммунизма»), внациональный (скорее — антинациональный) аспект — все это, хоть недолго, но ядовито прошумело в сознании интеллигенции. Прошумело, отошло, но — не бесследно: даже нынче составило фундамент для тех интеллигентов, которые вроде и в Церковь потянулись («жить по правде!»), но все живут в «троедушии», как и завещал Телегин, видевший в этом «нашу победу!» и «внутреннюю свободу»! От него пошли те неофиты, которые как-то сочетают хождение в Церковь с публикацией в «Сборниках кино» статей, где с прямо-таки детской наивностью шпыняют несчастного попа из вполне атеистического кинофильма «Двенадцать стульев» или вздохнув славословят на страницах центральной прессы фильм «Сладкое слово свобода»!

Не стоило бы и говорить о дрянном факте интеллигентского сознания идеологов, вроде Телегина, если бы за ними не стояла солидная интеллигентская корпорация, «центровая образованщина». И преодоление этой «образованщины» Солженицын видит «через сознательную жертву». Уже возникали многочисленные разговоры о том, что никто не имеет права «призывать» к жертве. Солженицын и не призывает. Не многие обладают таким мужеством, как Буковский; но

не лгать, теряя при этом какие-то жизненные привилегии, может каждый, считает Солженицын. Вряд ли должен быть судим беспощадным судом каждый, кто уехал за границу, подобно мне, хотя ни себе, да и никому я не вменяю это в достоинство; мне и легче быть судимым, чем защищаться. Но тот, кто в эмиграции видит не блуждание уставших и изнемогших людей, а путь спасения России, может и должен быть судим. И таковой последней мудростью как раз наполнилась «центровая образованщина». И Солженицын пишет: «...из этой страны — бежать (мудрость образованщины. — Е. Т.). Спасая ли свою неповторимую индивидуальность («там буду спокойно развивать русскую культуру»). Затем — спасая тех, кто остается. Там будем лучше защищать ваши права здесь» (стр. 237).

Здесь небольшое отступление.

Я предчувствую, как это место будет с удовольствием прикладываться (и между прочим — истинными «образованцами», друзьями и сострадальцами Телегина) к тем, кто, оказавшись в эмиграции, действительно связан с Россией. Здесь очень важно понять тот идеологический клубок, который разматывает Солженицын; жил Телегин в России или нет, не существенно: уже и в России он был ей совершенно чужд и никакие уверения в том, что он близок к русской культуре и питает к ней сердечное влечение, не помогут: любовь к культуре не соседствует с проповедью лжи и снисходительным презрением к нации, породившей эту культуру (кстати, в Сборнике В. Борисов удивительно тонко запечатлел это «образованское» противоположение культуры и народа, стр. 202-203 — сноска). Не страх, не усталость, не слабость могла привести Телегина к эмиграции — нет, его собственная идеология. Но это путь Телегина. Как бы в персонологическом отношении не были различными причины, побудившие некоторых писателей уе-

хоть из России, уже сейчас по делам их видна непоручаемая связь и боль по России, тогда как «теггинские гиганты» вкушают заслуженный покой в эмиграции и наскребывают статьи для европейского обихода.

Кроме того, в каждом из нас, если нам дорога Россия, — до смерти не умрет вина перед ней...

Вопрос наиболее болезненный и тревожащий каждого, кому дорога Россия: куда мы идем? На каких путях ждет нас если не спасение, то во всяком случае — исцеление?

Об этом Солженицын много говорит в своем «Письме к вождям». В статье «Раскаяние и самоограничение как категория национальной жизни» Солженицын особенно разрабатывает проблему покаяния — и личности, и нации в целом. Она в каком-то смысле вы светляет духовные основы «Письма», которые, по видимому, в силу специфического обращения, не даны во всей прямизне.

Снимая паутину идеологически устоявшихся схем и научных концептуальных слоев, Солженицын при обдумывании проблемы использует метод, давно осужденный современными науками: считая, что «известный спектр человеческих побуждений» не утрачивается, а следовательно, «оценки и требования, применимые к отдельным людям», могут быть применимы и к «миллионным ассоциациям», Солженицын и переносит эти «оценки и требования» от личности — на целую нацию. Правда, тут же он бегло роняет одно замечание, с которым не только очень трудно согласиться, но оно даже в сильной степени может лишить этого переноса предполагаемой «естественности»: «И без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается» (стр. 116). Действительно, такой перенос возможен, например, при анализе социальных категорий жизни, но без «религиозной опоры» он немислим для характеристики таких явлений, как рас-

каяние и самоограничение. И то обстоятельство, что Солженицын не дает этим категориям строгой религиозной формы, в конце концов сильно ослабляет эти категории, превращая их в понятия «исправления» и «самоограничения как защиты», а не в итог внутреннего духовного опыта.

Солженицын пишет: «Мы так заклинили мир, что подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уже не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на земле-то нам уцелеть» (стр. 117). И без раскаяния «каждого отдельного человека, каждого направления общественной мысли вообще мы вряд ли сможем уцелеть» (там же).

Отмечая «между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической нерукотворности» (стр. 120), Солженицын развивает понятие покаяния в общенациональных планах. С чувством редкой заботы Солженицын приходит к выводу, что единственный путь реального сохранения жизни в современных условиях — путь раскаяния. Оно может быть осуществимо, «ибо виновны — все». Полемизируя с различными авторами (Горский, Челнов — которые с чисто интеллигентским пафосом громят Россию за её «поддельный мессианизм», якобы переродившийся в коммунизм; сколько трудов они потратили, твердя, что коммунизм — чуть ли не из самых недр России поднялся!), Солженицын переходит к конструктивной части понимания и возможностей общенационального раскаяния.

Вот здесь-то и возникают некоторые недоумения, которые, как мне кажется, связаны с особенностью метода, избранного Солженицыным.

С чего начинается раскаяние? Если речь идет об эмоционально-позитивном уровне этого понятия (хотя бы во внешнем его проявлении), то можно утверждать о психологической нестойкости этого покаяния.

Связанное с ним чувство стыда обычно чем острее, тем недолговечней. Вряд ли на нем можно основывать какие-то коренные изменения и личности, и, тем более, нации. Уровень этого покаяния нам всем знаком. Он бывает иногда пугающе обратимым, что вполне понятно: человек (или нация) в таком типе покаяния внутренне ничего не конструирует и когда иссякает эмоциональная отзывчивость, создается ситуация «новой готовности» к греху.

Но религиозное покаяние начинается с самых глубинных истоков — с сознания своей греховности прежде всего перед БОГОМ («...яко беззаконие мое я знаю и грех мой предо мною есть выну... 50 псалом»), перед ХРИСТОМ. Только перед ХРИСТОМ греховны («виновны») — все. Иначе — если вести покаяние от той или иной степени виновности перед людьми или нациями — мы не можем не попасть в ту ситуацию психологической нестойкости, безосновности, о которой я выше говорил. К чему привело раскаяние (покаяние) русской дворянской интеллигенции в XIX веке, по-видимому, совершенно лишенное христианского аспекта? К неисчислимым бедам. И неизвестно, к добру ли приведет раскаяние «страны, несущей на себе вину двух мировых войн» (А. Солженицын). Пока лишь оно запечатлевается в «восточной политике», которую сам же Солженицын называет «опрометчивой».

В преддверии Великого поста в Православной Церкви поется: «Покаяния отверзи мне двери Живодавче Христе»... Религиозное покаяние личности и, стало быть, целой нации, осуществленное в недрах христианского сознания, является не только благодатным, но и реально, действительно преображающим. А что способно преобразить внерелигиозное покаяние? И в какой сфере оно тогда мыслимо и желательно? В общественной — с тем чтобы больше не жить «по лжи»? Но ведь «жить по правде» — тоже

прежде всего религиозный вопрос. И потом — действительно ли является для нерелигиозного сознания устрашающим фактом возможность истребления земной жизни? Такой факт должен прежде всего быть понятым как эсхатологический, — любые имажинативные пути психологически, увы, недостоверны. В этом — суть ограниченности любого позитивизма: Улита едет, когда-то будет, сегодня атомный взрыв в Японии, а не на Урале или на Дунае, так что — чего там говорить о конце мира! Только религиозное сознание реально, в апокалипсическом провидении может воспринять эту роковую возможность.

Мне кажется, можно иметь смелость утверждать, что никакое покаяние на земле не устроится вне ХРИСТА. Не мыслимо и раскаяние как формообразующая сила жизни. Отцы Церкви и православные подвижники всегда учили, что покаяние утверждается Богом и для Бога, а не во имя «человеков». И надежда на возможность внерелигиозного покаяния является в их глазах новым грехом. «Если у тебя появится мысль... что спасение твое совершается не силою Бога твоего, но твоею мудростью и твоею собственною силою, — если согласится душа на такое внушение, благодать отходит от нея» (св. Симеон Новый Богослов, слово 4-ое). А что ж такое безрелигиозное покаяние, как не надежда на «свою мудрость» и на свою «силу»? О да, конечно, «охват раскаяния — бесконечен», но лишь тогда, когда оно обращено к ХРИСТУ. И как бы предчувствуя, что в механике безрелигиозного покаяния может возникнуть дурная бесконечность, Солженицын замечает, что «где-то должен быть пресечен бесконечный счет обид». Но где и как может быть установлен их предел?.. Солженицын вовсе снимает с покаяния религиозный смысл: «раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется и с -

правлением». (стр. 142, разбивка автора.) Но что в «частной жизни» называется исправлением? Ведь даже самое незначительное исправление — пресечение своей грубости или несдержанности — требует довольно напряженного внутреннего акта. А на чем он будет зиждиться? На эмоционально-позитивном фундаменте, что песка сыпучей? Не оттого ли наша тепло-хладная интеллигенция, поисправлявшись по части правдивости, вскоре забросила эти нравственные упражнения?

Существенней, чем правота Солженицына в данном вопросе, нам представляется открытие им этой глубочайшей проблемы. Писатель — это самый чуткий диагностик своего времени. Бег времени, неслышимый другим, открывает ему самые насущные задачи. Такими диагностиками были Аввакум («Выпросил у Бога светлую Росию сатона, да же очервленит ю кровию мученическую», — писал Аввакум в XVII веке — и как всё живо, неизменно!), Достоевский, Блок. Таким диагностиком нашего времени в России стал Солженицын. И — великое ему за это благодарение!

Из трех статей И. Р. Шафаревича, помещенных в Сборнике («Социализм», «Обособление или сближение» и «Есть ли у России будущее?»), наиболее значительной мне кажется статья о «Социализме». Она представляет «резюме тех выводов, к которым автор пришел в более обширной работе, посвященной тому же вопросу» (стр. 29).

Указывая на охваченность мира социализмом, будь то модель советского социализма, китайского, арабского, албанского и т. д., Шафаревич пытается определить его «происхождение», «силу», «причину успеха» и «цель». Для этого он «реставрирует» различные социальные учения (постоянно отмечая неадекватность социальных учений и социализма); снимая пресловутую экономическую первичность, основным «родовым» признаком социализма Шафаревич считает ИДЕО-

ЛОГИЮ. Направление этой идеологии одно и то же во всех социалистических учениях: «...это упразднение частной собственности, уничтожение религии, разрушение семьи» (стр. 34). Известно, что в истории остро «социалистические» элементы в формах государственного правления возникали довольно часто (примеры Шафаревича: Месопотамия XXII-XXI вв. до Р. Х., Египет, империя инков). Средние века и Возрождение суммировали эти социальные учения, Реформация закрепила их. Но «социализм нельзя сравнивать ни с определенной эпохой, ни с географической средой, ни с культурой» (стр. 48). Шафаревич считает, что «СОЦИАЛИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ И НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СИЛ, действующих на протяжении ВСЕЙ ИСТОРИИ» (стр. 50, выделено автором).

Ограничение целей человечества исключительно материальными задачами, коренная ломка человеческой структуры и тех ее свойств, которые являются определителями личностного начала в человеке, искажение «человеческого в человеке», истребление религии, к которой социализм питает «не объяснимую ни экономическими, ни политическими причинами ненависть» (стр. 32), — если бы всё это было полностью воплощено, то привело бы к «универсальному результату: ВЫМИРАНИЮ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЕГО СМЕРТИ» (стр. 66, выделено автором).

Людам, жившим и живущим в той среде, где социалистическая идеология господствует уже более полувека, выводы этой оригинальной и глубокой концепции не покажутся странными. Они по собственному опыту знают, как близко подвел социализм людей к тем самым безднам, о которых пишет Шафаревич.

Но и естественно задаться следующим вопросом: если социализм — это не только глубоко отрицательное явление, но и попросту ведет человечество к истреблению, то чем объяснить очарованность этим уче-

нием и целых народов, и разных выдающихся людей — особенно в России? «Какая ошибка мысли, какая абберрация чувств может двигать людей по пути, в конце которого стоит — смерть?» — спрашивает Шафаревич.

Как это ни парадоксально — именно в этом новизна концепции Шафаревича — связь со смертью и является наиболее привлекательной, заманчивой силой социализма: **«СРЕДИ ОСНОВНЫХ СИЛ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОТОРЫХ РАЗВИВАЕТСЯ ИСТОРИЯ, ИМЕЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ К САМОУНИЧТОЖЕНИЮ, ИНСТИНКТ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»** (стр. 70, выделено автором).

Невозможно не дрогнуть перед таким выводом... И хотя он, как отмечает Шафаревич, «...не может быть доказан при помощи логических дедукций» (стр. 67), жизненная практика социализма его полностью подтверждает, от массовых уничтожений человечества в XX веке до известного высказывания Мао, «что гибель половины земного шара была бы не слишком дорогой ценой за победу социализма во всем мире».

Что же может противостоять этому безумию? Если жуткий опыт XX века, в котором так полно проявилось торжество социализма, не только не отшатнул нации от него, но напротив, способствовал его укрупнению, то на что может рассчитывать еще человек, пытающийся спасти самого себя от этой мощной силы? Шафаревич в конце статьи намекает, что таким «самым надежным оружием» является «разум», который парализует гибельная сила социализма. С этим, неожиданно картезианским выводом смыкается и рассуждение автора о характере инстинкта смерти человечества («Проявление инстинкта всегда связано с областью эмоций... и наоборот, понимание, способность к обучению, к интеллектуальной оценке события — почти не совместимы с действием инстинкта» (стр. 70). Но фрейдовский Танатос — это «инстинкт непреоб-

раженного человека». Является ли инстинкт смерти, по Шафаревичу, общей категорией человеческой психики или — об этом Шафаревич не говорит, но есть основания думать, что проблема эта мыслится именно так — инстинкт смерти, бессознательная тяга к смерти характеризует лишь языческое сознание, «отпавшее», непросвещенного тем Светом, что «...просвещаяй всякого человека грядущего в мир»?

И потом: «самое надежное оружие», разум, как мы знаем, не только бывал щитом против разрушительных сил, но иногда и сам довольно успешно сокрушал Откровение (вспоминаются слова Шестова о Соловьеве: «Он задался целью во что бы то ни стало оправдать Откровение перед разумом — и, в конце концов, у него от Откровения ничего не осталось»^{*}). Может ли быть разум «непреображенного» человека таким мощным оружием? И не является ли им — единственно — вера — которая, в сущности, и была той силой, во все времена противостоявшей соблазнам социализма? В «Архипелаге ГУЛаг» есть поразительное место: простая русская православная женщина, совершенно беззащитная перед сонмом следователей, по вере своей свидетельствует чекистам, что она помогла спастись от преследования ГПУ митрополиту, которого ищут арестовать; говорит это, нисколько не скрываясь и не страшась, утверждая, что коли убьют её — то она своей мученической смертью часть грехов снимет! Вот такому «надежному оружию» можно поверить сразу же. Но — не разуму...

Не случайным кажется тот факт, что наивысший подъем массового тяготения к смерти всегда сопровождается в истории массовым же отпадением от веры и Церкви, как это было, например, в семнадцатом году. К сожалению, Шафаревич не исследует в статье эти связи...

^{*} Лев Шестов. Умозрение и Откровение.

С вопросом национального самосознания и судьбой народов СССР связаны две статьи Сборника: «Национальное возрождение и нация-личность» В. Борисова и Шафаревича «Обособление или сближение». Оба автора отмечают, что национальный вопрос стал самым «больным» вопросом в России. Это особенно видно по самиздатской литературе. В Прибалтике и на Востоке идет медленная, глубокая и, по-видимому, ничем не останавливаемая борьба за национальное достоинство, национальную культуру, наконец, за само существование наций. Сейчас можно сказать, что национальный вопрос почти вытеснил все прочие, или, во всяком случае, по остроте его положения ни один иной с ним не может сравниться.

Рассматривая различные точки зрения по национальному вопросу в самиздатской литературе, Шафаревич останавливается на ряде принципиальных вопросов. Те, кто винят в своей национальной раздавленности только Россию, пишет он, не желают видеть, что социалистическая идеология так же (если не больше!) давила и уничтожала русский народ. Они, естественно, стремятся всячески отмежеваться от России, добиваются не только отделения от России, но и национального «обособления». Правильно ли это? Ведь если история «спаяла наши народы и наделила их единственным в мире опытом», то «мы сейчас способны увидеть и сказать миру, что никто другой не в состоянии» (стр. 108). Это — самый глубокий смысл национального единения России, основанного, естественно, не на социалистической идеологии.

Многие яркие и глубинные мысли Шафаревича всё же вызывают некоторое сомнение. Да, народы СССР спаяны одной судьбой, но корень этой спайки был и остается насильственным. А как на таком основании построишь что-то прочное? Уж как крепко была спаяна — всей историей! — Польша с Россией,

а не помешала эта связь глубочайшему духовному обособлению Польши.

Кроме того, обладание одним и тем же страшным опытом еще не предполагает одинаковое самосознание этого опыта. И русские, и эстонцы обладают одним и тем же опытом, но вот ведь пишет же Шафаревич, что «группа эстонских националистов обращается с письмом в ООН, уверяя, что сейчас создалась опасность для самого существования эстонского народа. И одновременно призывая к тому, чтобы порвать все связи до конца с народами СССР, выселить русских и украинцев из Эстонии, ввести войска ООН» (стр. 108). Чтобы сказать миру, «что никто другой не в состоянии», надо иметь общую, не только освободительную — но и религиозную — основу. Иначе обособление — единственный выход. Конечно, нельзя не радоваться идее Шафаревича не разрушать многовековые связи, а менять и улучшать, но, как мне кажется, возможно это при наличии духовного единства...

Не совсем, на мой взгляд, справедливы слова Шафаревича, что «сотрудничество разных народов порождает культуру, качественно более высокую, чем мог бы создать один из них» (стр. 109). Если культура есть духовный лик народа, то взаимодействие его с соседствующей культурой может истекать лишь из глубоких духовных причин; только по этой причине, как я уже писал в статье «Взыскательный художник», географически близкие нам азиатские культуры фактически никак не соприкоснулись с русской культурой. А тот «страшный опыт», о котором говорит Шафаревич — может ли он спаять, взаимообогащать столь разный тип культур, как русская и эстонская, например?

В качестве примера такого взаимодействия Шафаревич приводит Гоголя, «чей грандиозный гений... не смог бы раскрыться в такой глубине, если бы не был обогащен русской культурой». Гоголь, как легко это

можно понять хотя бы из его «Выбранных мест», считал себя русским, а не украинцем (ср. его обращение: «Друг мой! Или вы не знаете, что для русского — Россия?»). Он был русским писателем, насыщавшимся украинской культурой, а никак не наоборот. Но, могут возразить, важен, мол, сам факт взаимодействия культур, а уж верховодила ли русская, или украинская — не важно. Действительно, русская проза была бы скучнее без «Тараса Бульбы» или «Вечеров на хуторе близ Диканьки», как и английская поэзия — без шотландских баллад Вальтера Скотта (пример Шафаревича), но трудно согласиться, что это примеры подлинного взаимодействия культур двух различных типов. Скорее — при единой типологии — слияние периферийных явлений с центральным типом.

Впрочем, все эти упреки терминологического характера будут высказаны тогда, когда Сборник рассмотрят как вклад в историю русской общественной мысли (чем он, безо всякого сомнения, является). Сейчас же слишком живо, кровоточаще, накаленно понимается вся эта проблематика. Несравненно насущнее те конструктивные идеи, которые выдает Шафаревич, и боль души, живущая в них...

Когда я говорил о поразительном единомыслии авторов Сборника, я, между прочим, имел в виду следующий факт: обдумывая национальный вопрос с различных точек зрения, Солженицын, Шафаревич и Борисов в углубленной разработке его духовно конвергируют: если Солженицын придает этой проблеме межнациональный и глубоко общественный характер, а Шафаревич — внутринациональный, то В. Борисов исследует духовные основы христианского понятия нации, ее место в истории и христианском «космосе». Каждому непредвзятому читателю духовное сродство этих авторов будет очевидно. И поэтому — произвольно — многие положения статьи Шафаревича как бы просветляются теоретическим обоснованием нации

в статье Борисова; то, что принципиально и является духовным единомыслием.

В. Борисов приводит слова Достоевского: «Нация есть ничто больше как народная личность». Они и являются (вкуче с образами Солженицына) как бы духовным указателем, основной установкой разрешения проблемы, прослеживая, как гуманистическое сознание, безрелигиозное и рационалистическое, искажило и обеднило полноту духовного значения нации, прежде всего потому, что отринула понятие личности как образа Божьего. Следствием этого воззрения возникло понимание «условности» личности. Но так как личность «есть понятие религиозное и даже специфически христианское», и христианская история — это «множественность личностей единого человечества» (стр. 209, разбивка автора), то этому представлению, естественно, сопутствовала и «условность» нации. С этого-то и начались все беды и катастрофы... Поэтому первенствующий, наиболее важный акт «восстановления» человека — это самосознание самого себя как личности, призвание «не к отрицанию своей реальной (национальной. — Е. Т.) структуры, не к образованию из себя некоей бескачественной сплошности, но к тому, чтобы всё в нем проросло «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Единение таких личностей «во имя Христова» и составляет мистическое Тело Церкви — соборное единство — нацию. Национальное, «качественное определенное» и приближается к тем метафизическим основам, когда личность и нация взаимно пронизываются...

Почти нет ни одного автора в Сборнике, который бы с неотвязчивой страстью и внутренней болью не писал бы или не думал о будущем России. Только здесь, в эмиграции, для многих — в том числе и для меня — стало ясно: любовь к родине в себе несут многие, не окончательно еще «огуманизированные» люди,

но русские одержимы Россией... Следы этой «одержимости» — во всем Сборнике. Третья статья Шафаревича так и называется: «Есть ли у России будущее?» С первых слов автор жестко, почти в крик (не случайно эти слова взяты вразрядку) ставит вопрос: «КАКОВО БУДУЩЕЕ РОССИИ И НАШЕ МЕСТО В ЕЁ СУДЬБЕ?» (стр. 261). Сковывающая печаль может охватить человека, любящего Россию и преданного ей, — от этого мрака, безверия, произвола и насилия, деспотически царствующих уже шестой десяток! Что ж — действительно конец, приближение тлена и смерти? А тут еще многие — свои и чужие — голоса твердят о том, что России и вовсе нет!

Шафаревич развивает полемику с «одним из самых ярких и умных произведений, которые дала русская мысль после революции» (стр. 262), с книгой Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» При всем уважении к автору и его судьбе никак нельзя согласиться с такой оценкой. Нам представляется, что признаки одряхления режима (что, естественно, не означает его смягчения) Амальрик счел за какие-то баснословные знамения; некоторые утверждения, вроде того, что «христианская мораль выбита и выветрена из сознания народа», свидетельствуют о недостаточном знании религиозной жизни России. Если было бы так — полное угашение Света Христова в русской нации — тогда бы, действительно, наступили апокалипсические времена. В этом же Сборнике Солженицын настаивает на неучастии народа в массовой лжи — что само по себе катастрофично, но никак не апокалипсично. Процессы верующих в Кирове, события в Почаевской лавре, да и другие, многие — разве не говорят нам эти факты, что вера пока еще не «выветрена» в России? Впрочем, и сам Шафаревич отмечает, весьма деликатно, «некий нехристианский характер мировоззрения Амальрика». Для христианского сознания «кончина века сего» —

великая тайна, не предсказуемая ни социологически, ни политическими, ни экономическими прогнозами. Амальрик разработал один из вероятных вариантов государственной катастрофы; сделал он это, наверное, ярко и хватко, но совершенно без религиозна... К тому же, как наставляет нас история, катастрофы чаще всего случаются, когда их не ждут.

Торжество социалистической идеологии возможно было, пишет Шафаревич, лишь с предельным погружением человека в «несвободу». Запуганность, лицемерие, бездумность — с чего может начаться освобождение от них? Шафаревич считает, что одно лишь способно остановить «ту тень смерти, которая начинает спускаться уже над Россией», — «ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА», усилием отдельных индивидуальностей должен быть начат путь к свободе, то есть «путь к свободе начинается внутри нас, с того, чтобы перестать карабкаться по ступенькам карьеры или материального квазиблагополучия» (стр. 269). «...Мы оцепенели лишь потому, что сами поверили в реальность своих цепей» (там же). «Отказавшись от них (жизненных приманок. — Е. Т.), приобретем то, что составляет смысл жизни...»

Неужто путь к свободе начинается с этого? Все мы знали в своей жизни — особенно в среде интеллигенции — тех, которым было в высшей степени наплевать на карьеру или материальное благополучие, а вот на — водку, карты, хоккей или женщин — нет. Что ж, стали они свободными? Или те, которые уклонились от погони за земными благами и самодовольно позамкнулись в сознании собственной эгалитарности? Просветились разве свободой?

Разве «одной из причин» непобедимости христианства было «непризнание им мировоззрения античного мира и его иерархии?» Не заключалась ли непобедимость в самом явлении Откровения? И путь к свободе — христианской свободе, ибо каждая иная

означает новое рабство — не начинается ли с покаяния? Чтобы освободиться, надо задорожить свободой, полюбить её; а наш современник не потому не любит свободы, что ополонен материальным благополучием; ему сама свобода не дорога. А если и желанна, то, по-видимому, не настолько, чтоб из-за нее терять хорошую службу или комфортабельную квартиру.

И далее Шафаревич набрасывает план действия «жизни не по лжи», какой возможен человеку лишь верящему, если не верующему. Откуда же он возьмет силы, жертвенность? Для этого надо уверовать. А вера-то что-то у современного человека не очень проглядывается...

И уже под конец Шафаревич роняет фразу, которая может только опечалить: «...Нельзя не вспомнить о той сфере культурной деятельности, которая может быть важнее всех других для здорового существования нации — религии» (стр. 271).

Нельзя не вспомнить... А из контекста самой статьи — казалось: с нее-то надо и начать! Ведь может быть, весь вопрос будущего России таинственно связан с другим вопросом: «Будет ли Россия христианской?»

Эти слова Шафаревича до того несвойственны всему тону статьи, что кажутся какой-то чужеродной вставкой. А если бы другие факторы были «важнее для здорового существования нации», так что ж, религию можно и побоку? Так получается; а лишь оттого, что не указан смысл того, что путь ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА и через ЖЕРТВУ предполагается путем К ХРИСТУ.

«Так не получается ли, что этот путь (отказа от предлагаемой жизнью системы ценностей) не только не уводит нас от культуры, а наоборот, помогает найти те самые нужные и самые скрытые тропинки, которые без него не были бы видны?» (стр. 272).

Чуть выше Шафаревич вскользь говорит о том,

что «третье поколение живет в страшном мире, лишенном Бога», и «здесь и есть ключ ко всему вопросу» (стр. 272). И тут же совершенно неожиданно стремится уверить, что те, кто отказываются от советской системы ценностей, непременно придут к культуре... Что это означает? Ведь не из-за недостатка же культуры все беды! Да простят мне эти упреки — но ведь Шафаревич начинает говорить о том, что может быть или умолчено, как святыня, — или ПРОПОВЕДАНО! Тогда и разные неотчетливые рассуждения об общественной жертве станут понятными и нужными, тогда и уточнятся те слова, загадочные для всех, которые приводит Шафаревич не до конца: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение» (I Кор. 15 : 21) — продолжаю цитату — «Как в АДАМЕ все умирают, так во ХРИСТЕ все оживут» (I Кор. 15 : 22).

По духу осиянно церковная статья Е. Барабанова «Раскол мира и церкви» затрагивает вопрос «глубокого и мучительного кризиса, который разлагает русскую Церковь» (стр. 179). Это один из самых сложных вопросов — не только в смысле разрешения этого кризиса, но и в оформлении самой постановки: здесь более где чем-либо нежелательны и яростный тон, как это иногда случается в статьях Ф. Карелина, и поспешные, опрометчивые дебаты, характеризующие полемику, затеваемую не так уж редко почтенным о. С. Желудковым. Конечно, и горячность, и опрометчивость — дело простительное, понятное. И все же с глубоким удовлетворением отмечаешь духовную сдержанность статьи Барабанова, в которой вся взволнованность, забота ушла «вовнутрь». Дискуссионные, концептуальные моменты сняты в ней вовсе. Барабанов, обдумывая горестное положение, в котором уже давно пребывает православная Церковь, рассматривая различные точки зрения на церковный вопрос в современной России, всё время удерживает свою проб-

лематику на истинно церковной почве, не сходя на общественные или демократические пути. И — более того: современная церковная катастрофа рассматривается «протяженно», она мыслится постоянно не только в историческом плане, но и в мистическом (константная память о Христе). Я думаю, что после известного письма Солженицына к Патриарху Пимену не появлялось статей более конструктивных и принципиальных — по церковному вопросу...

Те, кому знакома православная жизнь России, поймут справедливость общего положения Церкви, воссоздаваемого Барабановым. Стремление государства изолировать Церковь, «загнать её в угол», отсечь от жизни народа, оставить ей функцию «требоисполнительницы» в значительной степени реализовано. Одни верующие переживают эту загнанность как тяжкое бремя, другие — и по опыту я знаю, как глубоки и верны слова Барабанова — «притерпелись, вошли во вкус и даже, пожалуй, полюбили этот контраст» (стр. 178). Это не означает, что таковой психологией поражена вся Церковь: и свидетельство тому — известные письма двух священников, о. Якунина и о. Эшлимана, выступления епископа Ермогена и другие факты, говорящие о противодействии этому государственному удушению.

По статье Барабанова — и по собственному знанию — как-то чувствуется, что русская Церковь сейчас вступает в период, может быть, очень тяжкий, но с которого может начаться возрождение. Для людей, чье церковное сознание развивалось во времена примиренщины митрополита Сергия, вполне понятно желание остаться в своем церковном «углу», пока еще разрешенном властью. Для них «противостояние Церкви и государства» опростилось до предела, «устремление к небу» обернулось «проклятием земле». Но если Царствие Божие «через Христа вошло в мир, стало его «закваской», «пребывает внутри нас», то и здесь, еще

на земле, человек призывается Богом устроить мир по совершенству, как осуществление Царствия Божьего с Христом и во Христе».

Для старшего поколения нынешних христиан оказалось чрезвычайно трудно синтезировать «две стороны христианского отношения к миру» — созидательное, творческое отношение к миру с отречением от зла его... Но в последнее время к Церкви потянулась молодежь. В зародыше, у нее то же самое правосознание, которое привело многих христиан либо к религиозному изоляционизму, либо к отпадению. Для этой части Русской Церкви — в каком-то смысле ее будущему — трудно переоценить важность этой статьи. Когда-то Мережковский писал, что в Церкви страшна не позитивная, а мистическая косность. Именно ею могут заразиться новокрещаемые — а для незрелого сознания она особенно трагична. Ведь там, где нет сознания всемирности и надмирности дела Христова, где подлинная культура оборачивается лишь «сакрализацией быта», там так легко возникнуть ложно-аскетическому сознанию, презрению к миру, субъективной религиозности вместо «общего дела» спасения и веры, там надолго застревают в псевдоцерковности, когда создается уютное и приятное сознание своей будущей «спасённости» (раз в церковь каждый день ходим и последование службы хорошо знаем).

«Очевидно, что лучшее будущее России неотрывно от христианства, — пишет Барабанов, — и если суждено ей возрождение, то совершиться оно может только на религиозной почве» (стр. 196). Какими путями идти, чтобы преодолеть этот болезненно затянувшийся кризис церковного сознания?

«Нужна христианская инициатива... Христианская активность должна вести не к реформации, а к трансформации христианского сознания и жизни, а через нее к преображению мира» (стр. 197). Может быть, ко-

му-нибудь эти слова могут показаться религиозной утопией. Но мы знаем, что надежда и вера выводили из самых страшных тупиков, а заранее искушенная и усталая мысль никого не спасала. Так что для нас слова «о преображении мира» в его современном положении, таком далеком от «преображения», звучат реальной надеждой на «путях спасения»...

Духовно направление Сборника так рельефно и напряженно, что две статьи, чей духовный вектор не особенно совпадает со Сборником, все равно поддерживаются общим направлением. Есть, правда, и еще одна разность: все статьи, о которых я говорил выше, отмечены прямой обращенностью, знанием точного «адреса»: отсюда их живонасущность, проблемность. Статья М. Агурского «Современные общественно-экономические системы и их перспективы» анализирует положение экономических связей и систем социалистического и капиталистического образцов. Агурский принадлежит к числу известных и очень влиятельных публицистов. Особенно популярны его статьи из истории гонений на православную Церковь. И, вполне вероятно, статья в Сборнике, будь она напечатана в ином издании, вызвала бы максимально почтительное уважение: её строгие характеристики, объективный подход к явлениям двух систем, тонкий анализ психологии не с в о б о д ы той и другой экономической ориентации — дают ей на это право. Но в Сборнике она производит совсем иное впечатление: духовная неопределенность исходных пунктов, размытая отправная точка футурологических прогнозов как-то скрадывают её ценность. В свете всего Сборника невольно спотыкаешься о следующие фразы: «марксизм стал анахронизмом, препятствующим дальнейшему прогрессу, хотя в нем, разумеется, есть нечто имеющее значение для будущего» (стр. 89). Хотелось бы знать, какой именно кирпичик из своего здания принесет марксизм для строительства будущего, тем более, что

некоторые черты экономических систем будущего, намечаемые Агурским, хранят духовные корневые связи с социалистическими государствами. («Политический строй будущего общества... должен основываться на духовных и нравственных ценностях» (стр. 92). Сразу же возникает вопрос — каких? Та заманчивая картина, что рисует нам Агурский, поражает тем, что при детальном прогнозировании экономических факторов совершенно отсутствует вариант духовного прогноза, который зачастую спутывал карты всех экономических преобразований.)

То же самое можно сказать о статье А. Б., хотя и в другом роде. Она называется «Направление перемен». Если большинство авторов Сборника, как духовные сейсмографы, уловили реальные духовные перемены, уплотнили их в проблему, то А. Б. лишь описал внешне и рыхло — то, о чем болеет русская душа. Духовная надобность не осенила его статьи. Слова о том, что «христианство не есть просто система взглядов, но особая жизнь», а «путь внутреннего духовного подвига — это единственный путь, который приведет человека к освобождению», — по сути дела, ни к кому не обращены, то есть обращены к христианину, которому нет нужды говорить об этом. И если внешние «перемены» кое-как названы, то «внутренние» заменены упоминанием «возвращения христианского сознания» и что «несмотря на заблуждения и отречения, мы живем в христианской культуре». Отсутствие прямого «адресата», обращенности движет автора к ничемным формулам (которые куда печальней смотрятся, когда речь идет не о казенщине — о «дорогих истинах»!): «Так не пора ли... заменить в нашем сознании идеал борца идеалом подвижника?» (стр. 155). Сохрани нас Бог «заменять» (как будто речь идет о замене одного портрета вождя другим!) идеалы! И непонятно, откуда у А. Б. такая величавость, такое неощущение своего греха в общероссийском: «А мы растеряны. В

поисках решения мы по укоренившейся привычке оглядываемся на Запад. Там «прогресс», там «демократия» (стр. 157). О ком и к кому обращены эти стандартные слова? В поисках пути, как мы видим, издается Сборник, который ищет свои, русские пути. И потом — неужто все поиски русской мысли, всех слов русского общества нацелены на прогресс, чтобы издали ничего, кроме него, — не видеть?!

Статья А. Б. «Направление перемен» — единственная лишняя статья в этом Сборнике, на мой взгляд. Дело ведь не только в том, что в статье ничего дельного не сказано и существенного в русской жизни не уловлено. Статья Ф. Корсакова «Русские судьбы» тоже не строит каких-либо проблем. Но она заполнена таким свежим духовным «лиризмом», такой искренней и подлинной риторикой, таким плачущим повествованием о духовных русских судьбах! В ней, как в стихах, есть слезность и горение, ощущение тайны и чуда. И, прочитав эту статью, какой-нибудь ироничный и всепонимающий европеец или наш насмешливо-усталый интеллигент вдруг задумается: может, его в какой-то степени проймет рассказ о мужике «на паперти одного из московских храмов: «Православные! Я из Курска — у нас всё сожжено, хоть какую-нибудь книжку о Боге, ради Христа!» (стр. 163). Или пронзит мысль Ф. Корсакова о причине наших бед — «Не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее» (Евр. 37-40): так, через самосознание наших страданий мы получим дар просвещать своим опытом других...

А статья А. Б. никого не проймет и никого не пронзит.

Горестный факт истории русской общественной мысли: «Вехи» не были поняты и приняты, «Из глубины» — не был услышан. Будет что-то злое в

том, что и этот Сборник не будет принят — после такого устрашающего, кровавого опыта.

Из-под каменных глыб обычно по весне пробивается трава. Так и здесь пробились сквозь серую неподвижную толщу тоталитаризма первые ростки, которые со временем дадут цепкий корень и несгибаемый ствол. И эта мысль наполняет не только благодарностью к авторам Сборника, но и надеждой на будущее России, от которой легче дышать и проще нести эту «тяжесть бытия».

Вена, 15/1 - 75 г.

день преп. Серафима Саровского

ТЕРНОВСКИЙ Евгений Самойлович — прозаик и критик. Родился в 1941 году под Москвой. Печатался в советской и русской зарубежной прессе («Вестник РСХД» и «Грани». Автор двух повестей: «Странная история» и «Приемное отделение» (печатаются в журнале «Грани»). В ноябре 1974 года выехал из Советского Союза. В настоящее время живет в Париже.

Дело нашей совести

Пожалуй, нет в русском Зарубежье человека, который не знал бы, что такое **Толстовский Фонд**. Фонд хорошо известен также в самых широких кругах культурной и благотворительной общественности всего мира. Но только познакомившись с его работой непосредственно, можно воочию представить себе всю грандиозность этого дела, начатого почти сорок лет назад.

Почти сорок лет назад две замечательные русские женщины современности — Александра Львовна Толстая и Татьяна Алексеевна Шауфус на участке земли, переданной им в собственность за один символический доллар, основали ферму, где затем нашли приют и заботу тысячи русских людей, оказавшихся в нужде или болезни.

За эти годы Толстовский Фонд провел громадную культурную, просветительную и социальную работу. Его филиалы обосновались и успешно действуют сейчас в тринадцати странах мира. На центральной его базе в США, наряду с уже существующими, создан санаторно-лечебный комплекс, оборудованный по последнему слову современной техники. Планируется строительство большого духовного центра, где иноязычная молодежь могла бы изучать русскую речь и культуру.

В связи с началом третьей эмиграции из СССР Фонд добровольно взял на себя заботу о сотнях вновь прибывших беженцев, всячески помогая им в устройстве на новом месте, профессиональной и языковой адаптации. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что не будь этой помощи, судьба многих и многих из них сложилась бы крайне драматически. Множество писем в адрес Толстовского Фонда от новых эмигран-

тов со словами приветия и благодарности — красноречивое тому свидетельство.

К сожалению, возраст и здоровье двух беззаветных основательниц Фонда уже не позволяют им с прежней активностью продолжать сбор средств в пользу своего детища, что несомненно сказывается на эффективности работы организации в целом. Зачастую приходится отказываться от самых насущных реконструкций, сокращать благотворительность, ограничивать себя в самом необходимом. Толстовский Фонд бьет тревогу!

Дело чести и совести каждого выходца из России, к какой бы по счету эмиграции он ни принадлежал, и каждого, кому близки сегодняшние проблемы этой страны, сделать все посильное, чтобы благородное начинание Толстовского Фонда, осененное именем великого писателя России, не только продолжило свое существование, но и обрело еще большую силу и значение. Со своей стороны, все нижеподписавшиеся будут всесторонне этому содействовать.

Толстовский Фонд должен жить!

*Иосиф Бродский, Галина Вишневская,
Александр Галич, Наум Коржавин,
Владимир Максимов, Виктор Некрасов,
Мстислав Ростропович,
Андрей Синявский.*

10 апреля 1975 г.

Адрес Толстовского Фонда:

Tolstoy Foundation, Inc.

250 West 57 th Street, Room 1004

New York, N. Y. 10019.

ЗАКУЛИСНАЯ ИСТОРИЯ ПАКТА «РИББЕНТРОП - МОЛОТОВ»

По теории психологической вероятности, преступник должен обходить то место, где он когда-то совершил памятное злодеяние. Так поступают и советские историки с «пактом Риббентропа - Молотова». Они его тщательно обходят, когда пишут о предпосылках нападения Германии на СССР. Обходят потому, что заключением этого пакта Сталин прямо-таки злодейски приглашал Гитлера напасть на СССР тем, что, во-первых, создал для Германии территориально-стратегические предпосылки (общая граница между СССР и Германией из-за раздела Польши между ними), во-вторых, наперед снабдил Гитлера военно-стратегическим сырьем из запасов СССР, в-третьих, поссорил СССР с западными демократическими державами, желавшими заключить с СССР военный союз против развязки Гитлером второй мировой войны. Разберем, как всё это произошло.

В своем докладе на XVIII съезде (март 1939 г.) Сталин дал понять Гитлеру, что их интересы идентичны в возможной новой войне. Сталин доказывал, что западные демократические державы натравливают Германию и СССР друг на друга, стараясь «не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами,

выступить, конечно, «в интересах мира» и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия... Характерен шум, который подняла англо-французская и североамериканская пресса по поводу советской Украины... Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований» (Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 571).

Первая часть этой цитаты выдает скрытые замыслы самого Сталина — спровоцировать войну между Германией и демократическими державами, дать им истощиться во взаимоуничтожающей войне, а потом самому вступить в войну (как с Японией), чтобы диктовать им «условия мира». Это его типичный приём (мы знаем это на примерах разных оппозиций): успешно критиковать собственные коварные намерения, выдавая их за намерения своих противников.

Вторая часть цитаты метит на союз с Гитлером, что, как мы увидим из дальнейшего, в Берлине очень точно поняли.

Прямым следствием этой установки Сталина было снятие с поста министра иностранных дел еврея и англофила М. Литвинова, с которым Риббентроп и Гитлер не хотели иметь дела. Сталин назначил 4 мая 1939 г. председателя правительства Молотова министром иностранных дел по совместительству и предложил ему вступить в контакт с правительством Гитлера. Первой акцией новоявленного дипломата и была его беседа с германским послом в Москве фон Шуленбургом 20 мая 1939 г. (эту дату очень важно заметить, ибо с этого времени и по инициативе Кремля начнутся переговоры о заключении будущего пакта, а англо-французские военные миссии приглашаются в Москву накануне этого пакта только для шантажирования Гитлера, чтобы последний шел навстречу со-

ветским требованиям по разделу Польши, захвату Прибалтики, Бессарабии и части Финляндии).

Прежде чем проанализировать официальные документы германского министерства иностранных дел по истории пакта, остановимся на том, как ее освещает советская официальная шеститомная «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Авторы «шеститомника» пишут, что 30 мая 1939 г. германский статс-секретарь заявил советскому поверенному в делах в Берлине Астахову, что «имеется возможность улучшить советско-германские отношения» (т. I, стр. 174). 3 августа Риббентроп якобы предложил тому же Астахову «советско-германский секретный протокол, который разграничил бы интересы обеих держав по линии «на всем протяжении от Черного до Балтийского морей» (стр. 174) и как будто советское правительство на это ответило так: «не желая идти на такие соглашения с Германией и все еще рассчитывая на возможность добиться успеха в переговорах военных миссий СССР, Англии и Франции, советское правительство 7 августа сообщило в Берлин, что оно считает германское предложение не подходящим, а идею секретного протокола отвергает» (там же). Разумеется, никаких документов в подтверждение этого важного заявления советские авторы не приводят. 14 августа, — пишут авторы, — Германия повторила свое предложение, а 20 августа Гитлер направил Сталину телеграмму, в которой говорилось, что в отношениях между Германией и Польшей «каждый день может наступить кризис», в который может быть вовлечен и СССР, если он не подпишет договор о ненападении с Германией (в телеграмме Гитлера этого утверждения нет, как мы увидим дальше). Единственный пункт телеграммы Гитлера 20 августа, который советский источник цитирует правильно, — это предложение Гитлера Сталину принять Риббентропа для заключения пакта 22 или 23 августа. Сталин про-

телеграфировал свое согласие. Советский комментарий: «СССР мог либо отказаться от германских предложений, либо согласиться с ними. В первом случае война с Германией в ближайшие недели стала бы неминуемой. Во втором случае Советский Союз получал выигрыш во времени» (там же, стр. 175-176).

Словом, путем шантажа Гитлер заставил Сталина подписать пресловутый пакт в течение каких-нибудь 12 часов!

Если бы мы поверили столь наивной версии советских историков, то выходило бы, что пакт, развязавший вторую мировую войну, не был вообще подготовлен секретными дипломатическими переговорами, а просто продиктован Гитлером. Но дело обстояло, конечно, иначе.

Кто внимательно читал известную публикацию документов из архива германского министерства иностранных дел «Нацистско-советские отношения» (Государственный департамент США, 1948 г.), тот знает, что Гитлера сначала интересовал собственно не «пакт Риббентроп — Молотов», а «пакт Риббентроп — Микоян». Другими словами, Гитлеру куда больше нужно было стратегическое и военно-стратегическое сырье СССР, чем пустая бумажка Молотова о ненападении и нейтралитете. Недаром Гитлер, ссылаясь на Бисмарка (впрочем, ссылка должна была быть на Макиавелли), говорил в ноябре 1939 г. о «пакте Риббентроп — Молотов»: «пакты продолжают иметь силу до тех пор, пока они полезны в выполнении своих целей», и тут же добавил: «Россия тоже будет соблюдать пакты, пока они ей полезны». (A. Rossi, *Russian-German alliance 1939-1941*, Beacon Press, Boston, 1957, p. 74).

Интересно поэтому констатировать, что идея экономического пакта с Советским Союзом принадлежит Германии, а идея политического пакта — советскому правительству. Так, на предложение германского посла в Москве графа Шуленбурга 20 мая 1939 г. Моло-

тову о том, чтобы начать экономические (торговые) переговоры между Микояном и уполномоченным Берлина, Молотов впервые высказал идею будущего политического пакта как предварительное условие экономического соглашения. Сделал это Молотов в довольно туманной форме, заявив, что прежде чем заключать какие-либо экономические сделки, надо создать «политический базис». Если начать с политики, то хорошо пойдут и экономические дела. Настойчивые попытки графа Шуленбурга узнать как у Молотова, так и у его заместителя по иностранным делам Потемкина, что же конкретно Молотов подразумевает под «политическим базисом», остались тщетными. („Nazi-Soviet relations 1939-1941, Dokuments from the archives of the German Foreign Office“, Dep. of State, p. 6-7, 1948).

Скоро граф Шуленбург получил указание из Берлина: пока Кремль сам не расшифрует свой тезис «политический базис», граф должен занимать выжидательную позицию. В ведомстве Риббентропа безошибочно установили, что фраза Молотова есть не игра в дипломатию, а серьезный признак предстоящего резкого поворота в советской внешней политике в сторону «держав оси». Наматывая себе это на ус, руководители третьего Рейха начали действовать исподтишка — во-первых, они делают все, чтобы разжигать у Кремля аппетит к повороту на свою сторону, во-вторых, они создают соответствующую психологическую атмосферу среди немецкого населения, чтобы подготовить его к факту возможного прекращения давнишней идеологической войны национал-социализма против большевизма. Надо сказать, что в осуществлении обеих целей Риббентроп хорошо преуспел.

В надежде на заключение политического пакта советское правительство решило заключить с Германией крупные экономические сделки. Оно поручает

Микояну начать переговоры сначала с советником германского посольства Густавом Гиллером, а потом и со специальным уполномоченным германского правительства доктором Шнурре. Переговоры кончаются успешно для Германии заключением торгового «пакта Шнурре — Микоян» 19 августа, за четыре дня до «пакта Риббентроп — Молотов».

Восстановим по немецким и советским нотам действительную историю заключения «пакта Риббентроп — Молотов». 30 мая 1939 г. статс-секретарь министерства иностранных дел Вейцекер действительно принял советского поверенного Астахова, который повторил еще раз точку зрения Молотова, что политические и экономические дела нераздельны, они тесно связаны между собою (там же, стр. 16). 5 июня граф Шуленбург пишет из Москвы своему шефу в Берлин, что Молотов желает политической дискуссии. Наше предложение «начать только экономические переговоры кажется ему недостаточным» (там же, стр. 19). 15 июня Астахов посетил болгарского посланника Драганова. Болгария была в тесных отношениях с Германией, поэтому с явной целью, чтобы Драганов информировал немцев, Астахов заявил ему: у Советского Союза в создавшейся обстановке три возможности, именно: либо заключать пакт с Францией и Англией, либо затягивать переговоры, либо возобновить дружеские отношения с Германией. Астахов многозначительно добавил: «Если бы Германия объявила, что она не нападет на СССР или заключила бы пакт ненападения с СССР, то СССР, возможно, воздержался бы от заключения договора с Англией» (там же, стр. 21; договор с Францией о взаимной помощи был заключен еще в 1935 г.).

29 июня Шуленбург, вернувшись из поездки в Берлин, напомнил Молотову, что Берлин все еще ждет ответа Молотова относительно того, что он подразумевал в беседе с послом под словами «создание

новой базы отношений» между СССР и Германией. После беседы с Молотовым посол телеграфировал в Берлин, что Москва очень заинтересована в продолжении контакта. Однако 30 июня посол получил директиву Риббентропа не форсировать больше политические переговоры с Кремлем. 22 июля во всех советских газетах сообщалось, что в Берлине успешно заключены советско-германские торговые и финансовые переговоры. 27 июля, в связи с окончанием этих переговоров, Астахов был вызван в министерство иностранных дел, где ему д-р Шнурре заявил, что советско-германские отношения, по мнению Берлина, пройдут через три стадии: 1) заключение торгового договора, 2) нормализация политических отношений, 3) восстановление хороших политических отношений либо путем возвращения к старому «берлинскому договору» 24 апреля 1926 г. о дружбе и нейтралитете между Германией и СССР, или заключения нового договора (там же, стр. 33). Д-р Шнурре счел нужным подчеркнуть существующую общность в идеологиях большевизма, нацизма и фашизма. Он сказал: «Имеется одна вещь, общая в идеологиях Германии, Италии и СССР: оппозиция против капиталистических демократий. Ни мы, ни Италия не имеем ничего общего с капитализмом Запада. Поэтому нам казалось бы совершенно парадоксальным, если бы Советский Союз, как социалистическое государство, оказался на стороне западных демократий» (там же, стр. 33). Шнурре добавил, что еще 31 мая сам Молотов в публичной речи заявил, что «Антикоминтерновский пакт» по существу представлял собою маскировку союза держав «Оси» против западных демократических держав, относительно же политического развития СССР, то, по словам Шнурре, давно нет старого большевизма, есть «амальгама большевизма» с многими элементами, в том числе и с русским национализмом, что привело к «реальному изменению интернационального

лица большевизма». Все это представляется Шнурре элементами, сближающими большевизм с нацизмом и фашизмом.

Через два дня, 29 июля, Астахов сделал запрос в министерстве в Берлине, согласна ли Германия, чтобы интересующие обе стороны вопросы обсуждались бы представителями более высокого ранга. Оказалось, что Риббентроп был прав, запретив Шуленбургу разговаривать с Кремлем о новых переговорах в расчете, что Москва долго не выдержит такого молчания. После этого, 4 августа, Риббентроп вызвал Астахова и заявил ему, что Берлин готов идти на улучшение отношений с Москвой при двух условиях: Москва не вмешивается во внутренние дела Германии и отходит от политики, враждебной Германии. Он объявил, что между Балтийским и Черным морями нет проблем, которые СССР и Германия не могли бы разрешить мирно. Сообщая обо всем этом Шуленбургу, Риббентроп предлагает начать разговор с Молотовым, но без всякой спешки. На все это Молотов ответил немецкому послу, что советское правительство тоже желает нормализации и улучшения отношений с Германией. 14 августа Кремль сообщает Берлину, что он готов начать политические переговоры, но они должны вестись в Москве и «по этапам» (Кремль теперь сам прибегает к тактике «затягивания», узнав, что Берлин и всерьез хочет заключить новый пакт). Того же 14 августа Риббентроп телеграфирует Шуленбургу, чтобы он прочел Молотову следующую телеграмму без вручения ее в письменном виде. В телеграмме говорится, что Англия и Франция хотят вновь втянуть Россию, как и в 1914 году, в войну против Германии, от которой выиграют только «западные демократии». Риббентроп проявляет готовность сделать краткий визит в Москву, чтобы «доложить точку зрения Гитлера Сталину». Поскольку сам Молотов выдвинул идею заключения пакта о ненападении, то когда Риббентроп приедет в Москву,

надо не обмениваться мнениями на этот счет, а «принять конкретные решения» (там же, стр. 53). Но Молотов думает, что до приезда Риббентропа надо провести еще подготовительную работу. Риббентроп с этим не согласен. 16 августа Риббентроп телеграфирует в Москву Шуленбургу, что поскольку Германия согласилась с идеей Молотова о заключении пакта, то надо спешить, так как каждый день может вспыхнуть конфликт между Германией и Польшей. В тот же день Молотов сообщил немецкому послу, что СССР готов заключить пакт о ненападении, «приложив» к нему «специальный протокол», в котором будут определены интересы (то есть сферы влияния) держав, подписавших пакт, но Кремль предпочел бы заключить такие договоры без больших торжеств и церемоний и даже без приезда Риббентропа в Москву. Под давлением Берлина Москва все-таки согласилась, чтобы Риббентроп приехал в Москву через неделю после подписания торгового соглашения (19 августа) — значит, 26-27 августа. Одновременно Молотов направил в Берлин свой собственный проект будущего пакта. Берлин проект одобрил, одобрил также идею Москвы о «специальном протоколе», но Гитлер протелеграфировал Сталину, чтобы он принял Риббентропа для заключения пакта не 26-27 августа, а 22 или 23, «ввиду напряженных отношений между Германией и Польшей» (стр. 67). Сталин ответил согласием.

«Пакт Риббентроп - Молотов», официально называемый «Договором о ненападении между Германией и СССР», был заключен 23 августа 1939 г. К нему был приложен «Секретный дополнительный протокол», предрешивший раздел Польши, аннексию Советским Союзом балтийских государств, Бессарабии и части Финляндии. Договор развязывал Гитлеру руки для ведения войны против Запада, да еще обеспечивал его жизненно важным для этой войны стратегическим сырьем. Молотов должен был под видом «нейтралите-

та» поддерживать Гитлера политически, а Микоян под видом «торговли» — экономически. Чтобы обеспечить то и другое, Риббентроп начал доказывать Сталину, что «Антикоминтерновский пакт был заключен главным образом против западной демократии», на что Сталин тут же заметил: «Антикоминтерновский пакт на деле испугал только лондонский Сити и британских мелких торговцев» (там же, стр. 75).

Когда в заключение переговоров Молотов устроил Риббентропу пышный банкет в присутствии Сталина, Микояна, Кагановича, Ворошилова, Берия, то все были в самом отличном расположении духа. Тосты следовали за тостами. Риббентроп сообщил Гитлеру, что Сталин произнес тост, который даже не был предусмотрен протоколом. Сталин сказал:

«Я знаю, как крепко германский народ любит своего вождя. Поэтому мне хочется выпить за его здоровье» (там же, стр. 75).

Нужно только на минуту вообразить себе анти-семита Риббентропа, чокающегося с евреем Кагановичем, чтобы постичь всю бездну аморальности этих торговцев судьбами человечества. Риббентроп не только по-дружески чокался со Сталиным и Кагановичем, Микояном и Берия, с Молотовым и Ворошиловым, но даже сообщил в беседе с итальянским министром иностранных дел Чиано, что во время этого банкета он «чувствовал себя в Кремле, словно среди старых партийных товарищей» (А. Rossi, p. 71).

Чиано рассказывает, что Риббентроп уверял его, что Сталин, став главой русского национализма, отказался от идей мировой революции. К этой мысли склонялся и Гитлер, а Муссолини в октябре 1939 г. прямо заявил: **«Большевизм в России исчез и на его место встал славянский тип фашизма»** (там же, стр. 77).

Гитлер и Муссолини амнистировали сталинский большевизм как «славянский тип фашизма», в чем они были глубоко правы, а Сталин и Молотов заявили на

весь мир, что гитлеризм есть закономерная политическая идеология и вести войну на уничтожение гитлеризма — просто преступление. Вот заявление главы советского правительства, опубликованное в «Правде» от 1 ноября 1939 г.:

«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признать или отрицать... Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной, поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война на уничтожение гитлеризма»!

Торговое соглашение 19 августа, явно выгодное для Германии, предусматривало, что СССР экспортирует в Германию зерно, нефть, лес, платину, фосфат и другое сырье, «которое для нас имеет более или менее ценность золота», — писал доктор Шнурре в своем меморандуме. В ближайшее время германо-советский торговый оборот должен был расшириться до одного миллиарда рейхсмарок.

Доктор Шнурре правильно оценил значение нового торгового договора, когда писал в указанном меморандуме в Берлин:

«Не говоря уже об экономической важности договора, его политическое значение состоит в том факте, что переговоры служат также обновлению контакта с Россией и кредитное соглашение обе стороны рассматривают как решающий шаг к изменению политических отношений» („Nazi-Soviet relations...“, p. 85).

Иначе говоря, Шнурре-Микоян подготовили «пакт Риббентроп - Молотов». Через шесть месяцев, 11 февраля 1940 г., последовало новое советско-германское торговое соглашение, которое оказалось еще более выгодным опять-таки для Германии. Интересны сроки поставок с обеих сторон. В то время как немцы поставляют свои товары Советскому Союзу в течение 27 месяцев (машины и оборудование), Советы должны закончить свои поставки Германии в течение 18 ме-

сяцев. Причем за первые 12 месяцев СССР поставляет Германии сырье, включая прошлые обязательства и вспомогательную службу транзитных перевозок, на сумму около 800 миллионов рейхсмарок. Кроме того, по новому соглашению, СССР обязывается покупать для Германии металл и сырье в третьих странах, чтобы она таким образом могла обойти английскую блокаду. Не высохла еще подпись под новым соглашением, как доктор Шнурре победоносно телеграфирует Берлину:

«Несомненно, СССР обещает куда больше поставок, чем это оправдано с чисто экономической точки зрения, и он должен делать эти поставки частью за счет собственного снабжения... В переговорах были важны, с психологической точки зрения, вездесущее подозрение русских, а также их боязнь всякой ответственности. Нарком Микоян предпочитал множество вопросов докладывать персонально Сталину... Соглашение означает для нас открытие дверей в страны Востока... Покупку сырья в СССР и в пограничных к нему странах можно еще больше расширить... Эффект английской блокады будет значительно ослаблен» (там же, стр. 134).

Однако, насколько Сталин был аккуратен в сроках и щедр в поставках военно-стратегического сырья Германии из СССР, равно как и в ускоренных транзитных перевозках немецких закупок из Румынии, Ирана, Афганистана, дальневосточных стран (особенно из Маньчжурии), настолько же Гитлер оказался скупым и неаккуратным. Видно, что контуры «плана Барбаросса» (нападения на СССР) вырисовывались в голове Гитлера еще за несколько месяцев до его официального возникновения (декабрь 1940 г.). Поэтому надо было выкачивать из СССР побольше добра и давать ему поменьше. Советские лидеры не могли этого не заметить. Во всяком случае, Микоян решил выразить вслух свое недовольство создавшимся положением.

нием. Граф Шуленбург телеграфировал в Берлин 2 ноября 1940 г., что в беседе с доктором Шнурре «Микоян в раздраженном тоне жаловался на наше нежелание поставлять Советскому Союзу военные материалы, тогда как мы поставляем их Финляндии и другим странам» (там же, стр. 217).

Но из меморандума доктора Шнурре от 28 сентября 1940 г. мы узнаем, что Берлин действовал в невыполнении своих обязательств по договорам вполне преднамеренно и сознательно. В меморандуме сказано: «Имеется директива рейхсмаршала (Геринга) избегать поставок в СССР всякого материала, который прямо или косвенно усилил бы советский военный потенциал» (там же, стр. 200).

На рассвете 22 июня 1941 г. германские самолеты, запавленные советским бензином, начали на широком фронте бомбить советские города. За ними двинулись германские танки, запавленные тем же советским бензином. Под прикрытием этих танков двинулась и германская пехота, которая ела советский хлеб.

В торговле с немцами Молотов и Микоян показали себя круглыми банкротами. Конечно, это было банкротство политики самого Сталина. Молотов и Микоян были, хотя и усердными, но все-таки только исполнителями воли Сталина. Давно прошли времена, когда со Сталиным можно было дискутировать. Его надо было только слушаться. Так и поступили Молотов и Микоян, подписывая договоры с Берлином. Но Сталин за банкротство собственной политики обычно наказывал ее наиболее добросовестных исполнителей. И если после объявления войны головы у Молотова и Микояна уцелели, то только потому, что Сталин потерял собственную в великой панике от первых военных катастроф.

Хрущев засвидетельствовал на XX съезде от имени всего ЦК и всего генералитета, каким «героем» оказался в тяжелый час прославленный «гениальный»

полководец: «Было бы неправильным забывать, что после первых серьезных неудач и поражений на фронте Сталин думал, что наступил конец. В одной из своих речей, произнесенных в те дни, он сказал: «Все, что создал Ленин, мы потеряли навсегда». После этого, в течение долгого времени Сталин фактически не руководил военными действиями, прекратив делать что-либо вообще. Он вернулся к активному руководству только после того, как несколько членов Политбюро посетили его и сказали, что необходимо немедленно предпринять определенные шаги, чтобы улучшить положение». (Хрущев, Речь на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 32).

Ведь этим дезертирством Сталина объясняется тот факт, что первым председателем Ставки Главного Командования Вооруженных Сил СССР (переименованного потом в Верховное Главнокомандование) был не председатель правительства Сталин, а нарком обороны маршал С. Тимошенко («История Великой Отечественной войны...», т. 2, стр. 21). В своих мемуарах, опубликованных сразу после свержения Хрущева, бывший советский посол в Лондоне И. Майский писал: **«Наступил второй день войны — из Москвы не было ни звука, наступил третий, четвертый день войны — Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ожидал каких-либо указаний от Советского правительства и прежде всего о том, готовить ли мне в Лондоне почву для заключения формального англо-советского военного союза. Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел. Именно в силу этого 22 июня по радио выступил Молотов, а не Сталин, и советские послы за границей в столь критический момент не получали никаких директив из центра»** (журнал «Новый мир» № 2, 1965 г.). По существу, это дезертирство

Сталина подтвердил и такой его великий энтузиаст, как А. Чаковский в «Блокаде» (1971 г.).

Вот этого бога-дезертира его соратники насилу притащили к микрофону только через две недели — 3 июля 1941 г. Тогда все заметили, что Сталин не только назвал советских граждан впервые в своей жизни словами «сестры и братья», но и голос у него дрожал, обрывался. Люди думали, что он дрожит за родину, но выяснилось, что он дрожал за себя.

Однако на протяжении войны великолепно действует партийно-полицейская машина, созданная Сталиным, действует даже в те первые месяцы войны, когда сам Сталин бездействует из-за полной деморализации и паники. Эту партийно-полицейскую машину составляли:

1) **По партийной линии:** аппарат ЦК во главе с Маленковым, его формально — руководящие, фактически — исполнительные органы: Политбюро и Оргбюро, местные органы аппарата ЦК ВКП(б): райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и центральные комитеты союзных республик.

2) **По полицейской линии:** НКВД во главе с Берия и его местные органы, особые отделы армии, «Смерш» и его сеть, заградительные отряды на фронтах, чекистские войска в тылу, военно-прокурорская и военно-судебная сеть в армии и в тылу, сеть концлагерей.

Важно отметить, что в той же мере, в какой эта машина начала эффективно организовывать оборону страны, а армия оказывать упорное сопротивление немцам, к Сталину начало постепенно возвращаться «мужество» полководца. Накануне решающих наступлений немцев на Ленинград и Москву он все еще спрашивал маршала Жукова, удержим ли мы Ленинград и Москву. Сам он собирался эвакуироваться в Куйбышев (по свидетельству его дочери Светланы Аллилуевой, в Куйбышеве здание обкома партии было срочно приспособлено под жилой дом для Сталина). Туда же

были эвакуированы ЦК (во главе с секретарем ЦК Андреевым) и Совнарком (во главе с председателем Госплана и зам. председателя Совнаркома Н. Вознесенским). Жуков заверил паникера Сталина, что ни Москва, ни Ленинград не будут сданы немцам. Остановка немцев под Ленинградом и их разгром под Москвой подтвердили правоту Жукова. Политбюро предложило Сталину 7 ноября 1941 г. выступить с речью перед парадом Красной армии в день 24 годовщины Октябрьской революции. Что Сталин принял это предложение не без колебания, свидетельствуют воспоминания маршала Буденного об этом параде. Он рассказывает, что Сталин вызвал его и других лиц, ответственных за оборону Москвы, и допрашивал их, гарантируют ли они, что немецкие самолеты не будут допущены до Красной площади в день праздника. Получив заверение в этом, Сталин выступил. Это выступление имело выдающееся значение для морального подъема армии, партии и народа. Заодно Сталин реабилитировал этой речью и себя. Вождь-дезертир вернулся в строй.

Мы много читали о полководческом гении Сталина до его смерти, мы много читали о его дилетантстве в военном деле и о его крупнейших, порою преступных, просчетах накануне и после начала войны не только у Хрущева, но и у самих советских полководцев. Мы много читали после свержения Хрущева у тех же самых советских полководцев, что Сталин так-таки был «великим полководцем». Когда же эти полководцы были правы: при Сталине, при Хрущеве или при Брежневе? На этот вопрос ответят историки только тогда, когда советские архивы о второй мировой войне станут достоянием исследователей, а официальная догма режима о «партийности науки» будет похоронена. Однако величия Сталина ищут все-таки не там, где он действительно был велик. Он был велик теми качествами, что и Гитлер. В докладе 6 ноября

1941 г. на заседании Моссовета Сталин вложил в уста Гитлера и германского командования такие слова, которые (хотя они никогда и не были произнесены — никаких документов на этот счет нет), вполне и точно характеризуют не только Гитлера, но и самого Сталина. В самом деле, читая Гитлера в изложении Сталина, вы восхищаетесь поразительным сходством этих близнецов в политике. Вот эти слова: «Человек, — говорит Гитлер, — грешен от рождения, управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать... Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка...» Дальше идут выдержки якобы из приказа немецкого командования солдатам: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого... не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от гибели и прославишься навеки» (Сталин, «О Великой Отечественной войне Советского Союза», 1952 г., стр. 29-30). Это была вполне аутентичная автохарактеристика Сталина. Здесь и надо искать его величие.

Советская довоенная пропаганда все время твердила, что Красная армия лучше всех обучена, лучше всех вооружена, лучше всех снабжена. Если вспыхнет война — твердила она, — то враг будет разбит в короткий срок малой кровью и на его собственной территории. На XX съезде Хрущев говорил:

«До войны вся наша печать и вся наша политиковоспитательная работа отличалась своим хвастливым тоном: если враг вступит на священную землю, то на каждый удар врага мы ответим тройным ударом, мы

будем бить врага на его территории и выиграем войну без больших потерь» (Хрущев, там же, стр. 29).

На самом деле случилось так, что через год после начала войны германской армией была оккупирована советская территория, на которую приходилась почти половина продовольственно-снабжениеского потенциала СССР. Вот данные. Районы, оккупированные немцами, занимали накануне войны по отношению ко всей территории СССР следующий удельный вес:

По численности населения	— 45%
По валовой продукции промышленности	— 33%
По посевным площадям	— 47%
По поголовью скота	— 45%
По протяженности железных дорог	— 55%

(Н. Вознесенский, «Военная экономика СССР», Москва, 1948 г., стр. 157).

Вместе с тем Сталин был выдающимся эксплуататором самых сокровенных мыслей и священных чувств людей. Его мудрое решение делать в начавшейся войне ставку не на мировой коммунизм, а на русский национализм, его молчаливое отмежевание даже от таких немцев, как Маркс и Энгельс (за всю войну этих имен у Сталина вы не встретите), его не менее мудрое решение амнистировать прославленных в истории России царских полководцев и источник русского религиозного и национально-исторического правосознания — православную Церковь (почти все ее уцелевшие пастыри были в концлагерях), распустить Коминтерн и «отложить» мировую революцию, словом, вести не революционную войну, а «Великую Отечественную войну», — все это предрешило гибель Гитлера. В цитированном докладе Сталин, к всеобщему удивлению догматиков, принял только русский тип социализма, причем, на первое место поставил не его большевистскую, а меньшевистскую интерпретацию, не Ленина, а Плеханова, а их обоих поставил в один ряд... с царскими генералиссимусом Суворовым и фельдмар-

шалом Кутузовым! Как говорят в таких случаях, Плеханов и Ленин, наверное, перевернулись бы в гробах, если бы могли узнать о таком своем духовном родстве.

В основе сталинской военной стратегии лежал принцип не уничтожения техники и вывода из строя живой силы противника, а **физического истребления всех солдат** (Сталин, 7 ноября 1941 г.: «Отныне наша задача истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей родины». «О Великой Отечественной войне», стр. 30), и пропагандистский штаб Щербакова в основу военной пропаганды кладет систематическую проповедь **кровожадности** и физической мести, требуя «истребить всех немцев» — не только в униформах, но и гражданских лиц. Ведь это факт, что в Красной армии распространялась листовка, подписанная Ильей Эренбургом, в которой говорилось: «Убивайте каждого немца. В Германии не виноваты только собаки и неродившиеся дети». Даже после капитуляции Германии такой «гуманист», как писатель Шолохов, писал, обращаясь к советской оккупационной армии: «Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша ненависть ко врагу, даже поверженному» (журнал «Родина», Москва, № 3, 1965 г., стр. 3).

Сталинская военная стратегия, вся мудрость которой заключалась в массированном перерасходе солдатских жизней, стоила СССР гигантских жертв. Подводя итоги войны, в день рождения Сталина член Политбюро Микоян заявил, что эти жертвы не так велики, как о них принято думать. Он писал: «Руководство т. Сталина обеспечило народам нашей страны завоевание великих побед с **наименьшими потерями**» («Правда», 21 декабря 1949 г.).

В дни 20-й годовщины окончания войны секретарь ЦК М. Суслов сообщил, каковы же на деле эти «наименьшие потери». Он сказал, что «Советский народ понес во Второй Мировой войне самые большие поте-

ри. Война стоила ему 20.000.000 человеческих жизней».

Таков трагический итог «военного гения» «генералиссимуса», которому курят фимиам заслуженные маршалы и генералы Советской армии под диктовку неосталинистов из аппарата ЦК.

АВТОРХАНОВ Абдурахман — родился на Кавказе, был номенклатурным работником ЦК ВКП(б). В 1937 году окончил Институт Красной профессуры по специальности «русская история». В СССР издал шесть книг, главным образом, по истории Кавказа. В том же 1937 году был арестован как «враг народа». Освободился в 1942 г. и в следующем году эмигрировал. На Западе защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора и опубликовал ряд трудов по истории СССР и ВКП(б): *Stalin ou Pouvoir*, Paris 1951 (под псевдонимом Alexandre Ouralov) — переведенную на многие языки и вышедшую по-русски под названием «Покорение партии»; «Положение исторической науки в СССР», 1951; «Нарокоубийство в СССР (Убийство чеченского народа)», «Свободный кавказец», 1952; „*Stalin and Soviet Communist Party*“, New York 1959; „*The Challenge of Coexistence*“, London 1965; „*The Communist Party Apparatus*“, Chicago 1966.

Наиболее широкую известность в СССР и за рубежом получили две его книги, изданные по-русски: «Технология власти» (1959) и двухтомник «Происхождение партократии» (1973).

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе

Требуйте каталоги



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Восточноевропейский диалог

Юлиуш Мерошевский

РОССИЙСКИЙ «ПОЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС» И ТЕРРИТОРИЯ УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия)

Мы боимся русских. Мы боимся русских не на поле битвы — сравнительно недавно мы одержали над ними крупную победу. Еще живут среди нас люди, принимавшие участие в битве под Варшавой в 1920 году.

Мы боимся русского империализма — русских политических планов. Почему русские хотят иметь государства-сателлиты — такие, как Польша, Чехословакия или Венгрия, — вместо благожелательных или нейтральных соседей? В сегодняшней ситуации логического ответа на этот вопрос нет. Если бы Западная Германия обладала могучей армией, атомным оружием, если бы она питала тотальную идею мести — тогда роль государств-сателлитов, как оборонительного вала России, была бы понятной. Но, как мы знаем, сегодняшняя Германия ничего общего с милитаризмом не имеет. В книге о Германии, вышедшей 10 лет назад, я рискнул высказать убеждение, что немецкие танки больше никогда не появятся в предместьях Москвы. Некоторые ситуации и схемы в истории повторяются. Но в большинстве случаев история — это каталог премьер. История увлекательна, ибо «то же самое» никогда не бывает «тем же самым» и почти идентичные ситуации в новых обстоятельствах дают иные результаты.

Тем не менее исторические условия ведут к тому, что мы недостаточное значение придаем изменениям. Пожилые люди, такие, как автор этих слов, особенно склонны повторять, что в принципе ничего не изменилось. Россия — империалистическая страна, ибо всегда была империалистической. Инстинкт нашептывает нам, что и Германия в действительности не изменилась и, если возникнет благоприятная обстановка, вооружится до зубов и протянет руки к нашим западным землям.

Политика — это на 70, а то и на 80 процентов спор на исторические темы. Никто из нас точно не знает, о чем говорят на тайных заседаниях члены Политбюро в Кремле. Никто из нас не знает, о чем в глубине души думает и что планирует Брежнев. Но из истории мы знаем, о чем думали и что планировали его предшественники на протяжении последних двухсот лет. Мы, следовательно, делаем вывод, что Брежнев думает так же, как и его предшественники, поскольку «в принципе ничего не меняется».

Исторические условия в определенных обстоятельствах могут прийти в явное противоречие с действительностью, но в принципе история обладает большей силой внушения, нежели действительность. История возвышается над действительностью, как отец возвышается над своим малолетним сыном.

Мы глядим на Россию, отягощенные историческим балластом. Но есть ли этот исторический балласт во взгляде русских на Польшу?

Эдгар Сноу приводит в своей книге «Путешествие к началу» длинный разговор с Максимом Литвиновым в Москве. Разговор происходил без свидетелей 6 октября 1944 г.

Стоит, быть может, напомнить, что Литвинов был женат на англичанке, хорошо знал Запад и свободно говорил по-английски. В это время карьера его близилась к финалу и он отдавал себе в этом отчет.

Когда Сноу задал вопрос о Польше, Литвинов ответил, что русские ни в коем случае не могут согласиться с возвращением «группы Бека» (так Литвинов назвал польское правительство в Лондоне).

Интересно отметить, что Литвинов не выдвигал никаких претензий идеологического характера. Он не говорил о польских реакционерах, капиталистах или помещиках. Зато он утверждал, что польское правительство в Лондоне — в особенности же Соснковский — представляет концепцию польского исторического империализма и стремится восстановить польскую империю XVI и XVII веков. По мнению Литвинова, Бек готов был заключить союз с Германией, дабы достигнуть этой цели, а лондонские поляки были готовы с этой же целью заключить союз с американцами.

Мы находились на краю биологической гибели, понеся чудовищные потери в результате гитлеровской оккупации и подпольной борьбы, мы мечтали о клочке польской крыши над головой, а не об империи. Для Литвинова же мы оставались потенциальным соперником.

Лично я был поражен, читая книгу Эдгара Сноу. Мне казалось трагичным, что опытный политик мог подозревать нас в 1944 г. в империалистических притязаниях. Это выглядело примерно так: умирающего с голоду нищего серьезно предупреждают о вреде злоупотребления пищей и напитками.

И все же... Вторично прочитав высказывание Литвинова, я пришел к выводу, что в нем нет ничего комического. Литвинов смотрел на Польшу так, как поляки смотрят на Россию — с точки зрения исторической.

Для русских польский империализм — вечно живой исторический поток. Не нужно долго искать, чтобы найти свидетелей пребывания поляков в Киеве.

Когда Миколайчик сказал Сталину, что Львов

никогда не входил в состав Российской империи, Сталин ответил: «Львов не входил, а Варшава — входила». И добавил: «Мы помним, что поляки были некогда в Москве».

Многие из нас считают, что поляки от империализма вылечились. Русские — иного мнения. Историческое воспитание подсказывает им, что если бы поляки приобрели независимость — они вступили бы на путь империализма, с которым они всегда идентифицировались.

Действительно ли высохла в нас эта империалистическая струя, есть ли основания у исторического для России «польского комплекса»?

Я этого не думаю. Многие поляки сегодня мечтают не только о польском Львове и Вильно, но даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу, связанную федеральными узами с Литвой, Украиной и Белоруссией. Другими словами — альтернативой российского империализма может быть только польский империализм — так, как это было всегда.

При случае стоит, быть может, проанализировать некий типичный эмигрантский феномен. После появления на страницах «Культуры» моей статьи «Польская «остполитик» я получил много писем от поляков, живущих в разных странах, которые полностью поддерживали программу, изложенную в статье. Среди писем было немало посланий от журналистов. Некоторые из них отмечали, что они уже давно примирились с мыслью о потере Львова и Вильно, хотя и не пишут об этом, чтобы не дразнить общественного мнения.

Мы дошли до парадоксального положения. Взгляды эмиграции эволюционируют и меняются, зато взгляды «эстаблишмента» и печати, им руководимой, 30 лет остаются неизменными. Более того, есть у меня доказательства, что определенные лица, входящие в

состав эмигрантского «эстаблишмента», разделяют наши взгляды относительно Львова и Вильно, но никогда публично этого не высказывали, опасаясь общественного мнения. Какого мнения?

Есть две группы, отвергающие всякую дискуссию и все аргументы, касающиеся этой проблемы. В первую группу входят, прежде всего, родившиеся в Восточной Малопольше или на Виленщине. Привязанность к земле, на которой они родились, — пусть это и не их родина — мешает этим полякам принять аргументы, диктуемые разумом.

Ко второй группе относятся те, кто для сохранения принципа легитимизма, сводят идею независимости к абсурдной концепции восстановления Второй Речи Посполитой. Нет другой Польши, кроме Польши, основанной на досентябрьской конституции с президентом, сеймом и сенатом. Только возродившаяся и независимая Вторая Речь Посполита могла бы решением сейма, утвержденным президентом, отказаться от Вильно и Львова.

Концепция эта прочна, ибо если можно быть уверенным в том, что пусть не мы, то следующие поколения дождутся независимости Польши, то так же можно быть уверенным в окончательной смерти досентябрьской конституции. Освобожденный народ изберет сейм, который утвердит новую конституцию, соответствующую новым политическим, общественным и экономическим условиям. Подавляющее большинство поляков, как в Польше, так и в эмиграции, никаких сомнений на этот счет не имеет.

Тем не менее, хотя никто в присоединение Львова и Вильно не верит, миф этот официально поддерживается — по соображениям легитимизма. Существует, кроме того, всеобщее убеждение, что поскольку легитимное эмигрантское правительство никакой реальной политики не ведет, то совершенно безразлично — пре-

тендует ли оно на Львов и Вильно или на Минск и Киев.

В действительности, однако, это совсем не безразлично. Мы, эмигранты, не можем осуществить никаких территориальных изменений, но мы можем и должны определить некоторые принципы. На Западе рождается новая русская эмиграция. Мы должны начать с этими людьми разговор и искать соглашения. Первый вопрос в этом диалоге должен касаться национальной проблемы.

Новые русские эмигранты настроены антисоветски. Мы знаем, однако, что среди русских империалистов были люди, чуравшиеся как огня не только коммунизма, но и социализма. Поэтому критерием политической позиции каждого нового русского эмигранта должно быть его отношение к национальному вопросу.

Само собой разумеется, что критерий этот мы должны относить и к самим себе. Мы не можем утверждать, что каждая великорусская программа — это империализм, в то время как польская восточная программа — это возвышенная ягеллонская идея.

Другими словами — мы можем требовать от русских отказа от империализма при условии, что мы сами раз и навсегда откажемся от нашего традиционно-исторического империализма во всех его формах и проявлениях.

Ягеллонская идея только для нас не имеет ничего общего с империализмом. Для литовцев, украинцев и белорусов — это традиционный польский империализм в чистейшей его форме. Речь Посполитая обоих народов закончилась полной полонизацией литовской шляхты, и самое страстное признание в любви к Литве написано на польском языке.* Поляк не может себе

* Гимном любви к Литве начинается поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

даже представить подобной ситуации. Можно ли себе представить Словацкого, который пишет только по-русски? Русские пытались нас русифицировать, но не сумели отобрать у нас ни одного поэта или прозаика. Напротив, нажим русификации вызвал в XIX в. небывалый расцвет польской литературы и языка.

Приятно сказать себе, что польская культура привлекательна, что для многих она привлекательнее русской культуры. Но этот же самый факт, рассматриваемый с точки зрения литовца или украинца, означает, что поляки, как ассимиляторы, еще страшнее русских. В соответствующей обстановке поляки полностью развернут свои ассимиляторские крылья.

В своей коварной национальной политике русские используют козырь привлекательности польской культуры. В Вильно выходит ежедневная газета на польском языке, приезжают из Польши театры и т. д. Мишень этой операции — не поляки, проживающие в Литве и жаждущие родного слова. Мишень этой операции — литовцы, и только литовцы. С русской точки зрения, влияние польской культуры — даже в издании ПНР — тормозит процесс рождения чисто литовского национализма и коренной литовской культуры. Совершенно очевидно: все, что тормозит процесс кристаллизации литовской национальной специфики, как нельзя более приятно Москве.

В Восточной Европе — если на этих землях хотят добиться не только мира, но и свободы — нет места империализму, ни русскому, ни польскому. Мы не можем кричать, что русские должны отдать украинцам Киев и одновременно требовать возвращения Львова Польше. Это та самая «двойная бухгалтерия», которая в прошлом не позволяла нам сломать стену исторического недоверия между Польшей и Россией. Русские подозревали, что мы антиимпериалисты только по отношению к русским, то есть, что мы хотим

заменить русский империализм империализмом польским.

Территория Украины, Литвы и Белоруссии (сокращенно назовем ее — УЛБ) — в прошлом (а в какой-то степени и сегодня) была чем-то значительно более серьезным, чем просто объект раздора между Польшей и Россией. Территория УЛБ определяла форму польско-русских отношений, обрекая нас либо на империализм, либо на положение сателлита.

Было бы безумием допустить, что согласие признать проблемы УЛБ внутрирусскими проблемами, позволило бы Польше выпрямить отношения с Россией. Соперничество между Польшей и Россией на этой территории всегда имело целью достижение преимущества, а не установление добрососедских отношений.

С русской точки зрения, включение территории УЛБ в российскую империю — необходимое условие, позволяющее сведение Польши до ранга сателлита. С точки зрения Москвы, Польша должна быть — в той или иной форме — сателлитом. История учит русских, что по-настоящему независимая Польша всегда протягивала руки к Вильно и Киеву, стремилась установить свое превосходство на территории УЛБ. Успех этих исторических устремлений поляков означал бы одновременно потерю Россией ее имперских позиций в Европе. Другими словами, Польша не может быть по-настоящему независимой, если Россия сохранит свой имперский статут в Европе.

С польской точки зрения, вопрос представляется аналогично. Мы искали превосходства на территории УЛБ — военным путем или выдвигая проекты федерации, ибо история нас учит, что Россия, доминирующая на этой территории — соперник непобедимый. От победоносного соперника нельзя ждать ничего другого, кроме неволи.

Я хотел бы подчеркнуть два пункта. Во-первых:

невозможно дискутировать о польско-русских отношениях, исключив территорию УЛБ, ибо польско-русские отношения были всегда функцией положения, царившего на данном историческом этапе на этой территории.

Если бы не было Гитлера, если бы не было второй мировой войны, если бы немцы оказались мирно настроенными добрыми европейцами — все равно существовала бы угроза независимости Польши со стороны России, потому что в 1920 году мы одержали победу под Варшавой, а не под Киевом. После смерти Сталина кончились бы чистки, ликвидация лучших офицеров советской армии, Россия начала бы гонку вооружений, которую в конечном счете Польша должна была бы проиграть. Раньше или позже военное преимущество России над Польшей стало бы таким значительным, что Москва — с помощью Германии или без нее — навязала бы нам свой протекторат. Это было очевидно, и немало политических писателей в Польше отдавали себе в этом отчет. Отличный публицист Адольф Бохенский, погибший под Анконой, следуя своему тезису: «с этой войны не следует возвращаться», в книге, опубликованной на заре эры «Новой Германии», когда никто в Европе еще не понимал, кто таков Гитлер и каковы его планы, предлагал заключить союз с Германией. Целью этого союза был бы отрыв Украины от России. Речь всегда идет об Украине, Литве и Белоруссии, ибо положение на этой территории обуславливает польско-русские отношения.

И второй пункт. Мне кажется, что если русские никогда не ценили надлежащим образом — они их по-прежнему не ценят — украинцев, то они всегда переоценивали — и по-прежнему переоценивают — поляков. Они всегда видят в нас соперников — активных или потенциальных, но всегда — только соперников. Хрущев, правда, разрешил вывезти из Львова

Рацлавицкую панораму, но одновременно категорически не рекомендовал показывать ее польским зрителям. Он полагал, что Рацлавицкая панорама будет напоминать полякам о вооруженном восстании против России. На этой же почве произошел и знаменитый эпизод с постановкой «Дзядов» Мицкевича.

Лично мне кажется значительно более правдоподобным повторение в Польше «декабрьских событий»* в широком масштабе, нежели вооруженное восстание против России. В эмиграции нет ни одного политика, который призывал бы поляков в Польше к восстанию. А русские боятся как раз не столько социальной революции в Польше, сколько национального восстания. Они убеждены также, что рабочая революция, ставящая своей целью свержение партийного вождя и его режима, в течение нескольких дней утратила бы свои социально-экономические черты, превратившись в общенациональный мятеж против России.

Мы должны также помнить, что поляки, а не русские пережили шок Варшавского восстания, шок, вызванный поведением союзников, бросивших Польшу. Шок оккупации страны советскими войсками. Мы тотально проиграли войну, ибо не сохранился даже клочок независимой Речи Посполитой. Рухнула наша традиционная концепция Польши как бастиона западной цивилизации. Нас предала наша собственная история, которой мы воздвигали алтари в литературе, живописи, музыке. Мы сделали открытие, страшнее которого народ сделать не может: мы открыли, что история это — черновик записок из «мертвого дома», а не живое прошлое, подтверждающееся в сегодняшнем дне. В этих условиях поляку трудно было удержаться от ревизии истории. Неудивительно, что даже католические писатели, далекие от коммунизма, от-

* Выступление рабочих балтийского побережья в декабре 1970 г., приведшее к падению Гомулки.

крещивающиеся даже от социализма, провозгласили — на развалинах «экзотических союзов» — новую концепцию: союз с Советским Союзом должен стать фундаментом польской политики. Это был сознательный отказ от позиции соперника и принятие роли вассала.

Следует помнить, что весь этот травмирующий опыт был совершенно односторонним, касаясь только поляков и не затрагивая русских.

Нет такого предмета, который оптимистически называют — «всеобщая история». Нет не только всеобщей истории, нет даже европейской истории. Существует только история польская, русская, французская, немецкая... Битва под Веной с королем Яном Собеским, на первом плане представленная польской историей, мало напоминает битву под Веной, описанную в немецкой истории.

История это — политика, задержанная в беге. Поэтому политический писатель должен уметь смотреть на историю с птичьего полета. В интересующем нас вопросе политик должен уметь взглянуть на ход событий глазами поляков и глазами русских. Если политика — это дальнейшее развитие истории, то нельзя понять русской политики, не понимая подхода русских к истории. Польский народ всегда играл важную роль в русской истории и поэтому необходимо хорошо понять точку зрения, с которой смотрят на нас русские.

Положение в последний период второй мировой войны напоминало ситуацию после битвы под Иеной. Наполеон царил в Европе, непобежденными оставались только два государства — Россия и Англия. Наполеон был в Москве, Гитлер — в предместьях Москвы. В обоих случаях главными союзниками русских были климат и пространство. На жителей Западной и Центральной Европы русские пространства производят впечатление, которое трудно описать. Во Фран-

ции или Германии 100 километров — это огромное расстояние, в России 100 километров — это пустяк. В дневнике одного немецкого офицера я нашел определение: Россия — страна без горизонта. За горизонтом, когда до него доберешься, видны снова поля, холмы и реки, а за новым горизонтом — снова поля, холмы и реки и так без конца, неделя за неделей, месяц за месяцем. Цитируемый немецкий офицер пишет, что даже летом, после многонедельных маршей, это некончающееся русское пространство вызывает чувство бессилия даже у самого твердого человека.

Русские понесли огромные потери. Но история их не предала: то есть — современность подтвердила прошлое. Армия Гитлера, как армия Наполеона, измученная русским климатом и пространством, была разбита и отброшена далеко за границы российской империи.

Технологический переворот — появление авиации и танков — лишил Польшу ее традиционного оружия — кавалерии. Мы обладали бесспорно лучшей кавалерией в Европе, но в нашем случае история не подтвердила современность. Наоборот, традиция оказалась беззубой старушкой перед лицом моторизованных танковых колонн, сваливших нас за 17 дней.

Все вышенаписанное должно иллюстрировать тот факт, что история не изменила России а, наоборот, подтвердила традиционные русские концепции. В результате, русские — в отличие от поляков — считают, что со времен битвы под Иеной ничего не изменилось. В России другой строй, но она по-прежнему — непобедимая империя. Как образно сказали бы англичане: из нашего польского мира выпало дно. Из русского мира революция дна не выбила, ибо Россия осталась исторически неизменной, т. е. империалистической и захватнической.

Возьмем еще один пример. Революция, происшедшая в оттоманской империи после первой мировой

войны, сопровождавшаяся поражением, лишила Турцию ее исторической идентичности: Турция перестала быть имперской державой. В результате, сегодня турки мыслят совершенно иначе, чем мыслили их деды и прадеды всего несколько десятков лет назад. Октябрьская же революция не лишила России ее империи и ни на йоту не изменила русского отношения к истории. После второй мировой войны Сталин вел себя и действовал как царь и самодержец Всея Руси, символизируя русскую имперскую идею.

Мы все об этом знаем, но лишь немногие из нас отдают себе отчет в том, что этот русский исторический консерватизм включает также оценку Польши и поляков. Литвинов говорил о восстановлении польской империи в границах XVI и XVII веков. Нам это кажется комичным, но в отличие от нас для Литвинова XX век был продолжением XVI и XVII веков с той же самой традиционной проблематикой, не исключая польской проблематики. Как и цари, Сталин, Литвинов и Брежнев считали и считают, что на территории Украины, Литвы и Белоруссии могут господствовать либо поляки, либо русские. Третьего исторического выхода нет — есть лишь выбор между польским или русским империализмами.

Русские переоценивают нас, ибо глядят на нас с точки зрения русской истории. А в это самое время поляки — продолжая гордиться своим историческим прошлым, испытывая по отношению к нему сентиментальные чувства — считают, что их древняя имперская слава ничего общего с нынешней действительностью не имеет.

Мы ведем себя, как шляхтич, потерявший свое имение. Неудачное ведение хозяйства, превратности судьбы, а главное — злой сосед были причиной утраты нами «поместья», которое полагалось нам по божеским и человеческим законам. Утешаемся мы тем, что «историческая справедливость» наказала украин-

цев, литовцев и белорусов, сменивших добрых польских панов на злых советских.

Триста лет превосходство на Востоке принадлежало нам. Если мы примем в качестве поворотного пункта в истории польско-русских отношений мирный договор Гжимултовского (1 мая 1686 г.), то можно констатировать, что теперь вот уже 300 лет превосходство на Востоке принадлежит России. Эта «альтернативность» — либо мы, либо они — делает невозможной нормализацию отношений между Польшей и Россией. Эта «альтернативность» — причина того, что ни поляки, ни русские не верят в третье решение. А поскольку *tertium nouidatur* — мы принимаем положение сателлита, как мрачное, но актуальное положение вещей. В системе «мы или они» на этот раз — их верх.

Между поляками и русскими есть, однако, разница. Преимущество русских подтвердила история. В то же время нашу борьбу, восстания, даже победы — история обратила в прах. Мы держимся системы — «мы или они», ибо другой системы мы не знаем и не имеем. Но большинство поляков в эту систему уже не верит, не верит, что когда-нибудь нам удастся добиться превосходства над русскими. Плод этого неверия — образ мысли сателлита и сервизм.

Я также не верю в систему «мы или они», не верю, что когда-нибудь нам удастся отбросить Россию с окраин Пшемисля под Смоленск. Я считаю одновременно, что эта система — хотя и имеющая глубокие исторические корни — сегодня является анахронизмом, варварским анахронизмом. В двадцатом веке украинцы, литовцы и белорусы не могут быть пешками в польско-русской исторической игре.

Я хотел показать, что система «мы или они», хотя и черпает свои силы в многовековой традиции, по сути дела — отравленный источник. Мы должны искать контакты и соглашение с русскими, готовыми

признать за украинцами, литовцами и белорусами полное право на самоопределение и, что одинаково важно, мы должны раз и навсегда отказаться от Вильно, Львова, от всякой политики и планов, имеющих целью установление, при благоприятных обстоятельствах, нашего превосходства на Востоке ценой перечисленных выше народов. Как поляки, так и русские должны понять, что только неимпериалистическая Россия и неимпериалистическая Польша имели бы шансы упорядочения взаимных отношений. Мы должны понять, что каждый империализм — польский и русский, осуществленный и потенциальный, выжидающий конъюнктуры, каждый империализм — это зло.

Украинцам, литовцам и белорусам должно быть в будущем предоставлено полное право на самоопределение, ибо этого требуют польско-русские государственные интересы. Только на этом пути было бы можно похоронить катастрофическую систему «мы или они», которая сегодня предлагает России союз с Польшей-сателлитом, но в результате которой, если бы завтра вспыхнула русско-китайская война, подавляющее большинство поляков желало бы победы китайцам.

Проанализированные выше причины объясняют тот факт, что так называемый национальный вопрос — это не только русская, но и русско-польская основная проблема. Лишь радикальное решение этого вопроса позволит преобразить польско-русские отношения.

Мне кажется, что растет процент русских, отдающих себе в этом отчет. Я хочу еще раз резко подчеркнуть, что образ мысли: «мы или они» — должен исчезнуть не только у русских, но и у поляков. Это двусторонний процесс. Поляки, терпеливо ждущие момента мести и реставрации «предполья христианст-

ва», — разжигают всеми силами русский империализм.

В начале статьи я вспоминал М. Литвинова, для которого система «мы или они» была в 1944 г. так же жива и актуальна, как на протяжении минувших 300 лет. Литвинов считал, что необходимо окончательно завершить дело, начатое Андрусовским миром (30.1.1667), когда Польша отдала Москве Смоленск, Чернигов, Северск, Севеж и Киев.

Ровно через тридцать лет Павел Литвинов установил связь с парижской «Культурой».

И, наконец, последний пункт. Поляки относятся сегодня с неприязнью к возвышенным призывам, к лозунгам, ко всякого рода романтической фразеологии. Я не могу, однако, отделаться от впечатления, что в своем антиромантизме поляки вместе с водой выплескивают и ребенка. Политика народа, находящегося в неволе, должна объединять людей разных убеждений и поэтому должна опираться на моральный идеал, который очищал бы нашу программу независимости и придавал ей этический смысл. Всем современным программам достижения независимости не хватает этого морального, сверхнационального размаха.

Идея экономического развития, или лозунг «цветной телевизор в каждой квартире и автомашина перед каждым домом», никого увлечь не может. И хотя все хотят иметь автомашину, никто не собирается умирать за автомобиль и цветное телевидение. Во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Северной Ирландии, в Анголе и Мозамбике люди умирают за идеи — часто ложные, но в которые они горячо верят.

Для современных поляков — как в стране, так и эмиграции — нет идей, в которые бы они беззаветно верили. Безыдейные люди совершенно беззащитны перед насилием и представляют собой классический материал для массового изготовления рабов.

Читая «Архипелаг ГУЛаг», неминуемо приходишь к выводу, что эти гигантские, многомиллионные лагеря были бы немыслимы без сотрудничества лагерников. Философия «смерть фраерам», исповедуемая подавляющим большинством лагерников, в сочетании с насилием советских властей превратили «Архипелаг» в процветающий «бизнес».

Совершенно очевидно, что те, кто исповедует лозунг «смерть фраерам», и есть самые большие фраера: «Архипелаг ГУЛаг» — монументальное подтверждение этой истины.

Идея самоопределения и свободы для братских народов, отделяющих нас от России, и одновременный искренний отказ от всех империалистических планов, в число которых необходимо включить и надежду договориться с Москвой через голову этих народов и их ценой, — такая идея могла бы вернуть польской политике борьбы за независимость высокий моральный мотив, которого ей до сих пор не хватает.

Что мы можем противопоставить «Архипелагу ГУЛаг», если примем его за символ системы? У нас нет Солженицыных, зато есть Ивашкевичи — апостолы дозволенного успеха. В эмиграции царит яростный антикоммунизм, плодящий лишь звериную ненависть к России. Этому антикоммунизму не хватает морального размаха, ибо он сплавлен с национальным эгоизмом и даже с узким национализмом. «ГУЛаг» интересуется нас лишь постольку, поскольку в этой пирамиде замученных тел и душ мы можем обнаружить надежду на гибель России, что, в свою очередь, позволило бы нам вернуть Польше Вильно, Львов, а может быть, и еще что-либо.

Мы должны вернуться к Мицкевичу. Он лучше и истиннее нас понимал слово «свобода» и моральный его смысл.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Справедливо осуждая «исторический подход» к явлениям современности, автор, тем не менее, сам находится в плену у такого подхода. Уже первые строки его статьи свидетельствуют об этом: «Мы боимся русских. Мы боимся русских не на поле битвы — сравнительно недавно мы одержали над ними крупную победу. Еще живут среди нас люди, принимавшие участие в битве под Варшавой».

Автор — знающий публицист и не нам напоминать ему, что польский поход был первым походом не русского, а советского империализма. Покорными и многонациональными войсками командовали: русский Тухачевский, грузин Сталин, венгр Бела Кун, армянин Гай, калмык Ока Городовиков, еврей Якир, а за их спиной стояли русский Ленин, поляки Дзержинский и Мархлевский, евреи Троцкий, Каменев и Зиновьев.

Так что, как видим, уже сама авторская посылка таит в себе принципиальный изъян. Ибо смешивать русский империализм панславистского характера прошлого столетия и тотальный, ставящий себе целью мировое господство, империализм советский, значит невольно подменять понятия, имеющие в наше время поистине огромное по своим возможным смертельным последствиям значение.

Не беря под защиту никакого империализма прошлого, будь то русский, английский или немецкий, мы все же должны отметить, что ни один из них не имел на своих просторах Архипелага, где людей гноили бы заживо, морили беспримерным в истории голодом, убивали без суда и следствия. Ни один из них не ставил перед собой целью всемирную тиранию, какой еще не знала земля. Ни один из них не затапливал мир морем такой лицемерной лжи.

Поэтому, говоря о современной разновидности так называемого русского империализма, следовало бы, на наш взгляд, заменить слово «русский» словом «советский».

В лагерях Архипелага содержалось большинство именно русских людей. В годы коллективизации погибли миллионы именно русских крестьян. По законам о принудительном труде погибло несметное число именно русских рабочих. И хотя бы во имя этих скорбных миллионов следовало бы снять указанный политический ярлык с русского народа, чтобы не впадать более в «историческую концепцию» при рассмотрении насущных проблем современности.

Что же касается так называемой проблемы УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия), то мы всегда заявляли и заявляем теперь, что признание священного права на самоопределение каждого из названных народов, без всякого вмешательства со стороны является одним из **основополагающих** принципов нашего журнала.

МЕРОШЕВСКИЙ Юлиуш — родился в Кракове. Перед войной видный журналист местной прессы. Затем служил в польской армии на Среднем Востоке, в Северной Африке и в Италии. После войны поселился в Лондоне. Активный сотрудник и публицист польского ежемесячника «Культура», выходящего в Париже.

СУДЬБА ПИСАТЕЛЕЙ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЯХ*

(Окончание)

При изучении революций нашей эры сам собой напрашивается вывод: каковыми бы — благотворными или вредными — ни были их другие аспекты, революции приводят к разочарованию, а часто к трагическим последствиям для писателей, затянутых под колеса революционных и пореволюционных режимов. Другие в результате революции могут и выиграть, но писатели — как подлинные писатели — не выигрывают никогда. Это подтверждается столкновением между писателями и властителями Восточной Европы. Конфликт этот обострило и то, что странам Восточной Европы, за исключением Югославии, революционные режимы были навязаны извне: местных революций не было. Но и там писателям была уготована такая же судьба, и реакция их была той же, что и у их коллег, живущих при революционных режимах более подлинного типа.

Историю судьбы писателей в Польше, Венгрии, Чехословакии и в других восточноевропейских странах здесь описывать не нужно. Незачем говорить и об их борьбе за интеллектуальную свободу. Восточногерманское Восстание интеллектуалов, польский Октябрь 1956 года, Венгерская революция 1956 года, Пражская

* Эта статья уточнена и дополнена специально для «Континента».

весна 1968 года — везде писатели играли первостепенную роль. Всюду в Восточной Европе они разочаровались в навязанных им «революционных» режимах. И это относится и к писателям, настроенным революционно.

В Польше до войны революционная литература была незначительной. Произведения трех видных коммунистических поэтов, восхваляющих революцию, были опубликованы в двадцатых годах под заголовком «Три залпа». Трагикомично, что название этого сборника было почти пророческим, хотя и не в имевшемся в виду смысле: из трех авторов два были убиты Сталиным; Вандурский — в 1932, а Станде — в 1938 году. Третий, Брониевский, в 1940 году тоже был арестован в Советском Союзе. Он был отправлен в концентрационный лагерь, но затем смог покинуть Советский Союз с армией генерала Андерса. После войны он вернулся в Польшу, а позже написал свою низкопоклонническую «Оду Сталину», включенную в школьные учебники. Он запил горькую и умер совершенно сломленным человеком. Его канонизировали как революционного барда, а его стихи о советских лагерях (как позднее и «Оду Сталину») осторожно прятали. Другой видный польский коммунистический писатель, Бруно Ясенский, был одним из основоположников футуризма в польской литературе. Во Франции он написал роман „Je brûle Paris“ (параллель „Je brûle Moscou“ Поля Морана), печатавшийся с продолжениями в «Юманите». Он эмигрировал в Советский Союз, где стал редактором «Литературы мировой революции» — органа Международного объединения революционных писателей (МОРП), а затем — редактором советской газеты на польском языке «Культура масс»; он написал роман «Человек меняет кожу», содержащий лирические страницы о перевоспитательной роли НКВД, но в 1937 году был обвинен Павлом Юдиным и арестован. Он умер в концентрационном

лагере в 1941 году. Другой польский революционный поэт, Александр Ват, хотя и не состоявший в партии, но бывший редактором польского коммунистического «Литературного ежемесячника», был арестован советскими властями во Львове в 1940 году. Он вернулся в Польшу после войны с совершенно подорванным здоровьем — результат пережитого в советских лагерях. Он умер в изгнании, в Париже. Три других коммунистических писателя пережили войну и стали весьма известными в Народной Польше: Анджей Ставар, Станислав Выгодский и Игорь Неверлы. Однако — первый из них умер в Париже, где написал для эмигрантского ежемесячника «Культура» книгу, критикующую коммунистический строй. Второй отправился в Израиль, подвергшись в 1968 г. чистке как сионист. Третий стал одним из руководителей либеральной интеллектуальной оппозиции в период Гомулки и Герека¹. Аналогичные случаи наблюдались и в других восточноевропейских странах. В Венгрии перед войной порвал с коммунистической партией большой поэт Атила Йожеф, позже покончивший жизнь самоубийством. В Чехословакии в 1948 году был арестован как троцкист и позднее казнен коммунистический поэт и писатель Завис Каландра. Испытав на себе жизнь в коммунистических странах, разочаровывались все новые и новые писатели. Списки сотрудников «Иродальми уйсаг» и «Литерарни новини» (позднее — «Листи») говорят об очень многом.

Этот происходящий в восточноевропейских странах процесс утраты иллюзий не ограничивался писателями старшего поколения, приветствовавшими революцию, такими, как упомянутые польские писатели или, например, Тибор Дери в Венгрии. Он захватывает и более молодых писателей — воспитанных уже при

¹ Он был кандидатом оппозиции на пост председателя Союза писателей на Съезде польских писателей в феврале 1972 года.

коммунизме: Хласко и Мрожек в Польше, Бирман в Восточной Германии, Кундера и Хавель в Чехословакии и многие другие. В послесталинский период разочарование часто приводило к цинизму. Цинизм стал характерен для писателей, находящихся на революционной колеснице, но не могущих больше заставить себя верить в орвелловскую «новомысль».

Позиции интеллигенции на Востоке и Западе иногда бывают схожи, но контраст между ними куда более характерен, чем какое-либо сходство. Собственный опыт ничем нельзя заменить. Писатели, стиснутые между революцией и утопией, знают, что практически у них только один выбор: интеллектуальная проституция или мученичество. Они знают, как трудно избежать этого выбора. Большинство вынуждено прибегать к разного рода компромиссам и рационалистическим построениям — от самообмана до «новоречи». Немногие герои, выбирающие мученичество, — как Солженицын — исключения. Поразительно, что героизм «честных писателей» сводится к необходимости делать то, что, по сути дела, кажется самой нормальной вещью: писать искренне. Эта необходимая предпосылка литературного творчества требует почти сверхчеловеческого мужества, включающего в себя вызов государству, которое надевает на автора идеологическую смирительную рубашку и диктует ему обязательность восприятия.

Когда Мэри Маккарти или Грэм Грин отмечают (не без зависти), что в коммунистических странах, не в пример Западу, писателей «по крайней мере принимают всерьез», то они не видят, что происходит это потому, что там писатели представляют собой потенциальную возможность распространения настроений, основанных не на официальном, а на подлинном личном восприятии, то есть то, что для западного писателя само собою разумеется.

Контраст между интеллигенцией Востока и Запада действительно поразителен. Больше всего они различаются по жизненному опыту: знание из первых рук в одном случае, теоретические знания — в другом. В то время как у Сьюзен Зонтаг «неразборчивая идея революции» вызывает большой энтузиазм, писатели, вынужденные жить при осуществлении этой идеи, гораздо менее восторженно относятся к «революционной неразборчивости». Можно привести много примеров, но, с интеллектуальной точки зрения, ничего не было более смешного (или патетического), чем встреча представителей Новой левой и Пражской весны. Первые интересовались идеей революции, вторые — отсутствием «человеческого лица» в ее практике.

Конечно, не случайно, что в настоящее время революционная идея искренне приветствуется среди писателей и интеллектуалов только там, где она не восторжествовала, там, где послереволюционную практику можно игнорировать с безопасностью для себя. Находясь в Стэнфордском университете, в наши дни верить в революционный миф гораздо легче, чем, например, в Чехословакии или Польше, а поэтому «подлинно верующих» в революцию в Стэнфорде больше, чем в этих обеих странах вместе взятых.

Однако более серьезен вопрос, почему столь постоянно привлекательность революционной идеи. Все превратности и метаморфозы этого явления невозможно объяснить никакими «законами истории», постулированными историческими закономерностями или сознанием — ни гегельянскими или марксистскими, ни ленинскими или сталинскими, ни маоистскими или маркузовскими. Как и в случае других религиозных или мифологических идей, понятия «исторического материализма» не дают объяснения.

Понятие социальной революции впервые появилось в шестнадцатом столетии. Оно основывалось на

метафорическом применении знания о влиянии цикличности движения небесных тел на общественные беспорядки² („De Revolutionibus Orbium Caelestium“ — название трактата Коперника). В таком смысле этим понятием уже пользовался Монтень, но свое современное значение оно приобрело только после Победоносной революции, в которой идеологические устремления еще выражались в религиозных терминах. Солдаты Кромвеля маршировали с Библией в руках, радикалы Пятой монархии занимались теологическими спорами. В период между Победоносной и Французской революциями революционные и утопические устремления приняли светские формы. Поиски Града Господня, Нового Иерусалима, уступили место поиску Града человеческого, или, говоря словами Мельвина Ласки, «идея революции перешла от астрономии к социологии, а идея утопии — от теологии к политике». В девятнадцатом веке идея революции претерпела дальнейшие изменения. Теперь она была связана с идеей истории, заменившей идею Бога. У Вико историей еще управляло Провидение, у Гегеля «проблема истории — это проблема сознания», у Маркса история становится естественным процессом, подчиненным научным законам. У Вико история еще циклична, у Гегеля она уже прогрессивна (благодаря диалектическому развитию мирового духа), у Маркса она тоже развивается диалектически, но в историческом материализме Маркса Гегель поставлен на голову.

Энгельс утверждал на похоронах Маркса, что тот сделал для истории то же, что Дарвин для биологии, но каково бы ни было сегодняшнее положение дарвинизма, не может быть сомнения в том, что первоначальный интеллектуальный багаж Маркса должен был быть отброшен. В своем историческом распространении он пережил такие теоретические мутации, что

² Мельвин Ласки описал все подробности в «Рождении метафоры», «Энкаунтер», февраль-март 1970.

привлекательность марксизма как революционной веры можно понять лишь в связи с его мифопоэтическим призывом, но не исходя из его познавательных ценностей.

Сначала это была теория социальных перемен как результата развития производительных сил. Но вместо того, чтобы снять оковы с производительных сил в странах, где они должны были развиваться, если только пролетарская революция сбросит «капиталистическую оболочку», марксизм, вопреки собственным же предсказаниям, стал распространяться во все большем количестве неразвитых стран. История западных индустриальных стран не подтвердила социальные и политические ожидания многих поколений марксистов, начиная с самого Маркса. В России марксизм был народнически-волюнтаристически перевернут Лениным, который сделал первый революционный шаг от ортодоксального марксизма, решив перепрыгнуть марксистские стадии экономического развития. Начиная с 1917 года, революционные «марксисты» все увеличивали размеры таких исторических «прыжков». Теперь больше нет страстных доктринерских споров о том, «созрела» страна для «социализма» или нет. Социализм может появиться на свет из разных «утроб», от кочевнической Народной республики Монголии до племенной Народной республики Конго (Браззавиль). При Сталине марксизм фактически превратился в доктрину насильственной индустриализации отсталой экономики — это вряд ли ортодоксальная марксистская точка зрения.

По мере распространения марксистского евангелия, оно все время теряло свой первоначальный интеллектуальный характер, приспособляясь к местной обстановке, ведущей к русификации, китаизации, латинизации марксизма, что сопровождалось и эрозией его общих теоретических обещаний. Идеологическое единство пришло к концу. Как и другие ереси,

каждая из отколовшихся крупных полицентрических сторон утверждала, что лишь ее собственная ортодоксальная доктрина — единственно пригодна для всего мира.

Видоизменение интеллектуальных предсказаний самого Маркса, при помощи выдергивания отдельных цитат, достигло полного абсурда. В Китае Лю Шао-ци подвергся нападкам за антимарксистскую ересь, которую официальная маоистская печать называла «реакционной теорией производительных сил,.. считающей социальное развитие лишь естественным результатом развития производительных сил, главным образом развития средств производства»³. Можно прекрасно представить себе, что случилось бы с Марксом, если бы он выступил со своей теорией в сегодняшнем Китае!

Если переходить от Дальнего Востока к Дикому Западу, то поражает возрождение марксизма в индустриальных странах, но в смысле интеллектуальном это явление имеет очень мало общего с теориями самого Маркса. Западный марксизм сохраняет существование как «критическая теория» при помощи усиленных впрыскиваний гегельянства; Маркузе вернулся не только к Гегелю, но и к Руссо. В своем «Эросе и цивилизации» он писал: «От Платона до Руссо единственным ответом была идея воспитательной диктатуры, осуществляемой теми, кого считают приобретшими знание об «истинном благе». Этот ответ был забыт». Они — Лукаши, Брехты, Маркузе — знают все лучше всех: светские избранники предопределенной истории, гегельянское *illuminati* и марксистское *cognoscenti* исторического процесса. Но существуют Ленины, Сталины и Мао, определяющие, что есть «истинное благо».

³ «Пекин ревью», 10 сентября 1971.

Маркузе, как с восторгом отметил Люсьен Гольдман⁴, «вернул «критическую теорию» (термин, которым Маркузе обозначает марксизм) назад к Утопии». Но насколько марксистска и насколько критична эта новая версия «критической теории»? Маркс вряд ли признал бы ее своим детищем или потомком. Гольдман заверяет нас, немного защищаясь, что «для Маркузе конкретная форма принципа реальности в современном обществе, это — принцип производительности». Вопреки утверждению Гольдмана, сформулированному фрейдовским языком, сам Маркузе не склонен к столь реакционным отклонениям от марксизма а-ля Лю Шао-ци; наоборот, он снял марксистские производительные силы с их пьедестала в центре теории. Но сделал он это, конечно, по другим причинам, чем Мао: Маркузе удручает не медленное развитие «производительных сил» в Китае, а их бурный рост в Америке. Для него главная задача состоит не в вопросе высвобождения производительных сил в капиталистическом обществе, как это было для Маркса, а в освобождении человека от «добавочного подавления» в ненавистном ему обществе изобилия, созданном капитализмом. Подобно Максу Штирнеру — святому Максусу, которого так резко критиковал Маркс в «Немецкой идеологии», — Маркузе мечтает о полном высвобождении инстинктивных порывов, о «состоянии неподавленного удовлетворения» и «сублимации без давления».

⁴ Люсьен Гольдман, «Понимая Маркузе», «Партизан ревью», № 3, 1971. В интервью («Политик гебло», 2 декабря 1971) Маркузе заявил: «Грядущая революция, революция двадцатого и двадцать первого веков, требует в качестве введения в нее радикального изменения потребностей, понятия совести и восприятия чувствительности... Появление нового восприятия чувствительности приведет, вероятно, как первое следствие, к понижению продуктивности...»

Революционная идея сделала, таким образом, еще один поворот: на сей раз от экономики к психоанализу, от Маркса к Фрейду (и далее), от социологической к психологической утопии⁵. Маркузе скептически относится к тому, что он называет «материалистической концепцией разума в истории», и, отбросив «производительные силы» как аналитический «гвоздь» своей теории, отвергает и выбранный Марксом класс — промышленный пролетариат — в качестве исторического орудия революционного освобождения. Больше того, он всецело отрицает классовый анализ Маркса: «Сегодня силы отрицания не сконцентрированы в каком-либо одном классе. Политически и морально, рационально и инстинктивно — это хаотическая, анархическая оппозиция; отказ от участия и игры какой-то роли, отвращение ко всему благополучному, обязанность протестовать»⁶.

Он, однако, не указывает, как же можно согласовать освобождение внутреннего «Я» (фрейдовского **Id**)

⁵ Но «психологические радикалы» — Норман О'Браун, Герберт Маркузе, Р. Д. Лейнг — не могут дать солидную основу утопической идеологии, вдохновляющую социальное движение. Их мысли слишком неясны для непосвященных и из-за этого, вероятно, будут эфемерны. Массы могли не читать «Капитал», но экономическую категорию «прибавочной стоимости» легко можно было перевести на понятный всем язык словом «эксплуатация». Как можно это сделать с психологической категорией «прибавочное угнетение»? Даже новым революционным сторонникам Маркузе — студентам и неграм, люмпен-пролетариату и люмпен-интеллигенции — нелегко понять его идеи и действовать согласно им. Неудивительно, что «новые революционеры» больше не особенно привержены к Маркузе. Как и он, они верят в диктатуру меньшинства, но они не заинтересованы в таких выкрутасах, как «прибавочное угнетение».

⁶ Герберт Маркузе, «Концепция отрицания в диалектике», «Телос» № 8 (лето 1971), стр. 132.

с экологическим равновесием, или всеразрешающее общество — с воспитательной диктатурой. Когда будет отменена «подавляющая толерантность», «революция без террора», бесспорно, очень легко решит эти простые проблемы. Сегодня лицемерие — это дань, которую революция платит либерализму.

Но марксистские теоретические ренегатства противоречивы только в интеллектуальном плане; революционные и утопические элементы, подчеркивающие призывную силу марксизма, достигаются постоянством и упорством. Только так можно объяснить их постоянство и распространение, да и само возникновение. В этой перспективе тяга к Утопии у Маркузе аналогична тяге его прометейского предшественника. Вот что писал Маркс в «Экономических и философских рукописях» о коммунизме: «Это определенное разрешение антагонизма между человеком и природой и между человеком и человеком. Это подлинное разрешение конфликта между существованием и сущностью, между объективизацией и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидуумом и видом. Это решение загадки истории и оно само знает, что оно есть это решение».

То, что Маркс называл «эмпирической историей» или «действительным движением истории», вряд ли приблизило к осуществлению эти возвышенные цели в каком-либо из пореволюционных обществ. Однако интеллектуальные рационалистические объяснения вековых утопий поистине связаны с «действительным движением истории»: они строятся на базе современной реальности и, как все фантазии, включают в себя некоторые ее элементы и в какой-то мере ограничены ею. В доиндустриальную эпоху Руссо идеализировал примитивного человека, начало индустриализации положило основу Марксову «научному» видению будущего, а «поиндустриальное общество» создает базу для «пситопии» или «эупсихии» Маркузе. Как и во всех

утопиях, здесь не только видение будущего, но и возвращение к прошлому: от «благородного дикаря» Руссо к «примитивному коммунизму» Маркса (возвышенному до «построенного коммунизма» при более высоком технологическом уровне развития) и до почти детских инстинктов развращенного капиталистическим влиянием человека — у Маркузе. Таким образом, здесь происходит конвергенция благословенного будущего с невинным прошлым — Утопии и Аркадии⁷.

Девятнадцатый и двадцатый век видели также дальнейшую конвергенцию утопических и революционных идей. Как тонко подметил П. Б. Струве, революция сама становится утопией. Смешиваются средства и цель: эмоции, вызываемые видением идеального общества, переносятся на механизм, который должен его создать. Для революционных мечтателей неясное будущее становится будущим, четко предпи-

⁷ Однако при всех своих иллюзиях Руссо и Маркс были гениальными мыслителями, которые не просто бежали от действительности. Маркузе, с другой стороны, поднял «инфантильное упадничество» на уровень идеологии. Трудно представить себе, как можно взяться за осуществление такой идеологии. По-видимому, и после революции в основу действий людей все еще «сначала» будут заложены их «испорченные» инстинкты, которые не отомрут вместе с падением «капиталистического общества». В коммунистических странах было сделано открытие, что создать нового человека мешают еще якобы оставшиеся «пережитки капитализма в человеческом сознании». Как будут относиться наши новые освободители к таким «пережиткам» в человеческом подсознании после победы народа в 1984 году, когда будет необходимо осуществлять от его имени «воспитательную диктатуру»? Не придется ли Красной психической гвардии работать над «прибавочным угнетением» на Народных психоаналитических койках? Польский сатирик Станислав Йерси Леш писал: «Не раскрывайте свои мечты. Что если к власти придут фрейдисты?»

санным. Таким образом они могут сохранить свою квазирелигиозную тягу к грядущему спасению, сконцентрироваться на борьбе за власть и отложить мысли о тех реальных проблемах, перед лицом которых стоит любое правительство, — до пореволюционного наступления утопии. Для «истинно верующих» *in partibus infidelum* разочаровывающий характер пореволюционного опыта усиливает, а не ослабляет смещение их мифопоэтического фокуса. Веру сохраняют, игнорируя опыт и эмоционально концентрируясь на революционных средствах, а не на утопических целях. Но если постоянство революционной идеи объясняется теми психологическими факторами, которые порождают «эффект Фестингера» (см. ниже), то распространение ее также зависит от влияния этой идеи не на «истинно верующих», а на другие категории людей. Это влияние разнится не только в зависимости от социальных условий. Политические и культурные традиции, равно как и правдоподобие самой революционной идеи, играют важную роль в специфических исторических случаях успеха или неуспеха революции. В наше время Новая левая сама перерезала пуповину, соединявшую экономические и классовые условия с появлением революционной ситуации в традиционно-марксистском понимании. Режи Дебре развил ленинский «волюнтаризм» от использования революционной ситуации к ее созданию. Теперь новые революционные технические приемы должны привести если не к тысячелетнему царству, то к диктатуре меньшинства, нужной для его достижения. Исторически, стремление к мирскому спасению ведет к прогрессивному сужению пропасти между мечтой и ее осуществлением. Если революция — сокращенный путь к утопии, то революционное нетерпение сначала укладывается в «буржуазную» и «социалистическую» революции, потом отменяет «буржуазную революцию» в качестве необходимой предпосылки для «социалистической», а

в конце концов больше не должно даже ждать революционной ситуации для ее осуществления: террор сокращает путь к революции, разжигаемой лесными и городскими партизанами. Все старые «теоретические» споры, в которых проводили жизнь поколения марксистских революционеров, резонерствуя и споря о мелочах по поводу той или иной формулировки, в которых был пролит океан чернил из-за правильной постановки запятой в мириадах документов, анализирующих революционные перспективы, в конце концов оказались неуместными. Исторически, единственной реальностью после этих упражнений оказалась революционная воля, захваченная революционным мифом. В этом отношении, действительно, нет большой разницы между Лениным и современными «новыми революционерами», за исключением того, что в их случае фиговый листок теории еще более прозрачен; они стремятся просто к революции, без всякого прилагательного, но с заглавной «Р».

Стремление к революционному возрождению произошло на Западе тогда, когда революционный миф перестал ассоциироваться с Советским Союзом. Слово «революция» снова приобрело в рядах западной интеллигенции свое мифическое звучание, особенно среди той ее части, которая, по Сартру (и Гегелю), считает себя интеллектуалами из-за своей *conscience malheureuse*. Но большинство видных писателей не так-то легко поддались искушению. И это объясняется не только тем, что обжегшийся на молоке дует на воду (хотя и это играло свою роль), и не только тем, что писатели, бывшие в молодости левыми, повзрослели и поправились (хотя было и это); но они прошли весь опыт революционной эпохи. В литературе это началось с разочарований Кестлера, Оруэлла, Силоне, Шпербера. Это оказало значительное влияние, но, впрочем, под воздействием самой современности большинство се-

годняшних выдающихся писателей стали без восторга относиться к революционным событиям и к роли писателей в них. «Поэты уже не представляют собой непризнанных законодателей мира, — сказал Оден незадолго до своей смерти, — ими становится тайная полиция»⁸. Не менее характерны и слова Сола Беллоу в «Планете мистера Саммлера»: «Он не мог вспомнить ни одной революции, которая не делалась бы во имя справедливости, свободы и просто всего хорошего. Их последняя стадия была всегда более нигилистична, чем первая».

Даже старые коммунистические писатели на Западе высказывают то же разочарование, хотя и сохраняя лояльность к партии. Арагон заявил в одном интервью⁹, что он «всегда был против социалистического реализма» и что он никогда не вступил бы в коммунистическую партию, если бы до этого прочел «Цемент» Гладкова. Тот самый Арагон, который написал „Pour un réalisme socialiste“, теперь заявлял:

«Действительно, для людей, вроде меня, сталинизм создал условия легковерия, но нельзя утверждать, что я был сталинистом в том смысле, в каком это слово звучит для меня теперь».

Вот что можно сделать в отношении ретроспективного перетолкования при помощи семантической ловкости. Но, конечно, показательно, что с такими заявлениями выступает писатель, создававший в тридцатые годы панегирическую поэму о ГПУ и обрушившийся на Пикассо за недостаточно почтительный портрет Сталина после смерти любимого вождя.

Арагон не одинок. С аналогичным заявлением выступил ныне покойный Пабло Неруда, автор «Оды Сталину», жаловавшийся, что сталинисты принесли ему «величайшее зло»¹⁰.

⁸ «Гардиан», 9 октября 1971 года.

⁹ «Экспресс», 20-26 сентября 1971 года.

¹⁰ «Нувель обсерватер», 25 октября 1971 года.

Но если эти два сталинистских литературных ветерана были вынуждены выступить с такими заявлениями, то ясно, что Советский Союз, с точки зрения революционного идеала, умер и погребен. Более того, из всех видных коммунистических писателей или (прежних) «попутчиков», упомянутых в этой статье, только семеро приводятся в цитированной ранее советской книге о литературе и революции* в качестве представителей социалистического реализма. Шесть из них — Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Генрих Манн, Арнольд Цвейг, Поль Элюар и Бертольд Брехт — спокойно спят в могиле. Седьмой — Луи Арагон. Можно сомневаться, что его имя останется в следующем издании книги, которая, бесспорно, снова откроется словами: «Великая Октябрьская Социалистическая Революция оказала решающее влияние на мировую литературу».

Что же касается марксистской литературной эстетики, то ничто не может лучше иллюстрировать ее полное банкротство, чем *boutade* Лукаша, что «Один день Ивана Денисовича» — единственная советская книга, написанная в духе социалистического реализма. За этим кроется большее, чем парадокс бывшего сталинского теоретика искусства, обладающего буржуазными литературными вкусами. Он совершенно серьезно утверждал, что Солженицын пишет методом социалистического реализма и что любимую концепцию Лукаша о конкретных универсалиях можно полностью применить к «Ивану Денисовичу». Но даже если правда (хотя Лукаш дословно этого не сказал), что концентрационные лагеря представляют собой «конкретные универсалии» сталинской России, это еще не помогает нам понять, в чем состоит художественное превосходство Солженицына, например, над Дудинцевым, в «Не хлебом единым» поставившим

* А. И. Пузиков, В. П. Щербина, Я. Е. Эльсберг, «Великий Октябрь и мировая литература» (Москва, 1967).

проблемы, тоже составляющие «конкретные универсалии» в Советском Союзе.

Мы отошли от тех времен, когда марксистская эстетика объясняла «Дон Кихота» при помощи зачисления Сервантеса в представители интересов обедневшей *hidalguia*¹¹, или когда «Крымские сонеты» Мицкевича считались отражением изменения цен на зерно на Одесской бирже. Но несмотря на доблестные усилия Люсьена Гольдмана и Ролана Барте, при решении центральной проблемы — как избежать низведения эстетики к социологии — марксисты все еще заходят в тупик. „*Le Dieu Caché*“ может научить нас многому интересному, но не тому, чем продолжает увлекать нас Расин. Маркс честно признал свои трудности, встав перед этой проблемой в связи с греческим искусством. Он считал, что «материальные преобразования могут быть определены с точностью естественных наук», но в том же «Очерке критики политической экономии» он писал:

«Трудность не в том, что ...греческие искусство и эпика связаны с определенными формами социального развития. Трудность в том, что они до сих пор доставляют нам художественное удовлетворение, а в какой-то мере и представляют для нас норму и недостижимый образец».

Однако Маркс никогда не решил противоречия между своим отношением к искусству просто как к отражению разных социальных формаций и своей верой в непреходящую ценность греческого искусства. Он старался справиться с этой трудностью, говоря, что греческое искусство представляет «детство человечества», которое «излучает свою прелесть, как нечто, что никогда не вернется». Но это слабое объяснение. Не только греческое, но всякое великое искусство имеет эту непреходящую ценность, что сви-

¹¹ Людмила Букетова-Туркевич, «Сервантес в России», (Принстон юниверсити. пресс, 1950).

детельствует о независимости интеллекта от марксистской экономической базы.

В конечном счете, Маркс был столь же беспомощен в своем анализе революции, как и в своем анализе искусства и литературы. Он написал несколько черновиков ответа Вере Засулич, спросившей его, может ли Россия добиться социализма, не проходя через стадию капитализма, но, по-видимому по фрейдовским причинам, так и не отослал письма. Вера Засулич еще ждет ответа.

Строительство «социализма» в столь многих неразвитых странах все еще ставит тот же безответный вопрос перед теми, кто исходит в своем анализе из марксистских обещаний. Какие бы добавочные определения ни вводились в теорию Маркса, они не могут ответить на этот вопрос, как невозможно объяснить само распространение марксизма (или христианства, или буддизма, или ислама), используя категории связи между экономическим базисом и идеологической надстройкой.

Литературу и непреходящую прелесть великого искусства нельзя объяснить каким-то историзмом. Пастернак заявил, что поэзия и история — разные миры: первая существует в вечности, вторая — во времени; поэт же — «вечности заложник у времени в плену». Мальро писал, что «вечность сохранена в произведениях искусства», а Блейк — что «вечные принципы или свойства человеческой жизни проявляются у поэтов всех веков». Ясно, что существует достаточно универсальности в человеческих проблемах всех времен и, при всех изменениях стиля и формы, достаточно общего между великими писателями и художниками и публикой всех эпох, чтобы раскрыть пустоту любой теории эстетики, которая пытается свести анализ искусства к изучению исторических и социологических относительностей. Относительность вкусов — важный, но не решающий вопрос в эстетике.

Один из современных марксистов — Арнольд Хаузер — все еще пытается спасти марксистскую эстетику, настаивая на идеологической природе мышления, на относительности знаний и их соответствии классовому и социальному происхождению. Но Люсьен Гольдман, используя тот же подход, во вступлении к „*Le Dieu Caché*“, признает, что вопрос Маркса о греческом искусстве все еще не разрешен. Его собственный ответ противоречит основным предпосылкам марксистской эстетики и вряд ли служит попыткой честно решить эту проблему: «Философская концепция или произведение искусства могут сохранять свою ценность вне времени и места их создания, только если они отражают определенную человеческую ситуацию, и перенося это в план больших человеческих проблем, порожденных взаимоотношениями людей между собой или человека с миром».

Это столь же слабое объяснение, как и Марксово «детство человечества», и, во всяком случае, это объяснение практически сдает позиции, уходя из исторической сферы в неисторическую сферу объяснений. Маркс и марксисты всегда отрицали наличие вечных ценностей и говорили об исторической относительности, однако литература занимается не только социальными, но и человеческими условиями, а это означает, что она не может отказаться от важнейших занимающих человека вопросов во имя эрзац-религии, которая не считается с тайной человеческого бытия, запрещает метафизику и, идолизируя феномен революции, не может его объяснить. Маркузе говорит об «эстетической антропологии» Маркса, но лучше, вместе с профессором Руфусом В. Матьюсоном-младшим, назвать ее «антропоморфическим позитивизмом девятнадцатого века». В ограниченной перспективе она не может удовлетворительно решать ни эстетических вопросов, касающихся литературы, ни антропологических, касающихся религии, ибо она отворачивается от

того, что для людей, фактически, составляет вопрос жизни и смерти. Попытка навязать обществу эту сухую, позитивистскую перспективу неизбежно ведет литературу к банальности. При упорном навязывании она приводит к измельчанию мыслей и чувств. В результате — не могут быть созданы ни «Божественная комедия», ни «Человеческая комедия», а только — «Оптимистическая трагедия».

Дешевку такого сочетания слов — как название пьесы Вишневского — мог бы превзойти только Голливуд, если бы он снял фильм по «Царю Эдипу» или «Антигоне» со счастливым концом. Такие сочетания сводят мотивы и основания человеческих страданий и трагедий к бессмыслице. Оптимистическая трагедия столь же бессмысленна, как метафический позитивизм и гедонистический трансцендентализм. У пьесы Вишневского нет даже счастливого конца, а есть только обещание неизбежного светлого будущего. Она, конечно, отражает мирскую прогрессивную веру в «научное» развитие истории как подъёма к чему-то более высокому и лучшему, но все это вряд ли соответствует понятию трагедии.

Для писателей, менее поверхностно смотрящих на человеческие трудности, преуменьшение роли человеческих проблем и их литературного освещения — вещи более важные, чем внешняя цензура их творчества. Таково положение, когда чувства писателя должны быть принесены в жертву господствующей идеологии. Если же писатели пытаются действовать в соответствии с указанной линией, им приходится отказываться от своего собственного «я». Цензура мешает только свободе выражения мнения; обязательность взглядов и самоцензура — творчеству вообще. Сильнее других страдают поэты, так как они больше других подчинены в своем творчестве невольной, подсо-

знательной мысли¹². Если им удастся самоцензура, они не могут больше творить; если она им не удастся, они ставят себя под политический удар. Именно из-за этого среди них особенно много жертв.

Неслучайно призыв к «искренности в литературе» (Померанцев) был первым требованием перемен в культурной жизни Советского Союза после смерти Сталина. Затем последовало настойчивое стремление восстановить подлинный смысл слов. Самиздат появился потому, что ни то, ни другое не было допущено. Свобода мысли неотрывна от свободы ее выражения, но в Советском Союзе первая особенно важна.

Особенно ярко это проявляется в характере официальной «реабилитации» ранее запрещенных авторов. Этого часто не понимают на Западе, где в этой «реабилитации» видят прямое доказательство либерализации и распространения свободы мысли в среде советских интеллектуалов. В какой-то мере это, может быть, так, если творчество реабилитированных ранее не было доступно. Но реабилитация производится таким образом, что суть сказанного авторами искажена и выхолощена. Проиллюстрируем это на примере двух писателей — Кафки и Достоевского. Оба были «реабилитированы», несмотря на опасное направление их мыслей. Но как их представили? Кафка подвергся критической переоценке¹³, во время которой нападки на него продолжались, а в отзывах, хваливших его, совершенно пропала сама суть беспокойства Кафки о судьбах человечества. Что можно сказать о следующей оценке?

«В творчестве Кафки очень сильно критическое начало. Однако Кафка проецировал характерные черты буржуазного общества на общество в целом; он

¹² Стенли Бурншо, «Паутина без швов», стр. 51.

¹³ Ги де Майак, «Кафка в России», «Рашен ревью», январь 1972, стр. 64-73.

абсолютизировал и почти обоготворял злую силу капиталистической бюрократии»¹⁴.

Представит ли себе какой-либо читатель, что «Зáмок» может иметь отношение к советской бюрократии, а «Процесс» — к сталинским чисткам? Забудьте об этом. Речь идет исключительно о «буржуазном обществе» и о «капиталистической бюрократии». Нет «вечной правды», литература только «отражает» свое собственное время и общество. Из-за этого Кафка может только «отражать» ужасы австро-венгерской административной практики, но к нему нельзя прибегать при изучении советского общества, QED (доказано!). Возможно, что несмотря на все это, «реабилитация» Кафки и других «некошерных» писателей означает, как говорит Макс Хейворд, «постепенное расширение сферы советского сознания», но следует также принять во внимание официальные попытки точно определить его границы. То же касается Достоевского. После многолетнего поругания автор «Бесов», по случаю 150-летия со дня его рождения, удостоился похвал. Прежнее мнение об его «архиреакционном мышлении» было забыто, и в день его юбилея (11 ноября 1971 года) «Правда» объявила, что нет оснований отдавать реакционерам этого великого писателя. Мы не можем примириться с реакционерами и идеалистами, которые утверждают, что Достоевский — их собственность.

Для того, чтобы признать Достоевского и превратить его в прогрессивного предшественника советской литературы, понадобилось «немножко» его переосмыслить. Ленинские слова, что Достоевский «архискверен», больше не цитируются. «Бесы» уже считаются не «злой клеветой на русское освободительное движение» (БСЭ, том 15, 1952), а «анатомией и крити-

¹⁴ Л. Г. Андреев и Р. М. Самарин, «История зарубежной литературы после Октябрьской революции», том I (Москва, 1969).

кой ультралевого экстремизма» (Б. Л. Сучков в «Литературной газете» от 17 ноября 1971 года). Даже Горький был привлечен в ряды последователей Достоевского! В статье Н. Жегалова «Достоевский и Горький» («Литературная Россия», 12 ноября 1971 года) говорилось о родственности обоих писателей. Статья заканчивается утверждением, что только в социалистическом реализме может быть глубокая, творческая ассимиляция традиций и наследия классиков. В самом деле. Роже Гароди сделал то же, но более тонко в своем „*Réalisme sans rivages*“, однако был отлучен от веры, так что нельзя даже сказать, что без Сталина все дозволено. Даже если остаешься в узких рамках «социалистического реализма». Но то, что разрешили сказать советским литературным критикам, не имеет никакого отношения к сущности гения Достоевского. Более ясно, чем кто бы то ни было, Достоевский видел последствия союза между революционной мифологией и утилитарной этикой в России. Сегодня его прозорливость оценивают так:

«Достоевский был гением прозорливости, но даже он никогда не мог предвидеть, что его романы будут участвовать в строительстве социализма»¹⁵.

Иван Карамазов был прав. Если нет Бога, то все позволено. Однако и он вряд ли мог представить себе, что это поведет к превращению Достоевского в «прогрессивного писателя»! Мог ли кто-либо представить себе автора «Бесов» «участвующим в строительстве социализма» под руководством Брежнева?! Даже Сталин удивился бы, что в то время как Троцкий клеймится в Советском Союзе как контрреволюционер, Достоевского больше таковым не считают. Какой странный результат столкновения литературы (про-

¹⁵ В. Днепров, «Достоевский как писатель двадцатого века», «Иностранная литература» № 11, 1971, стр. 200. См. также «Перевоплощения Достоевского в Советском Союзе», Борис Литвинов, «Контрпуен» № 9, 1973, стр. 129-136.

должающей жить) и революции (выдохшейся)! Пятьдесят семь лет прошло со времени революционного переворота, однако не видно, чтобы средний уровень людей приближался к уровню Аристотеля или Гёте, но Смердяков все еще руководит Агитпропом.

На Западе был возрожден Троцкий, а не Достоевский. Исаак Дейчер, Петер Вайс и Ричард Бартон сделали из него романтического героя. Его перманентная революция проповедывалась «новыми революционерами», многие из них — безупречно буржуазного происхождения, как Тарик Али или Тереза Хейтер — игравшие «Бесов», их не читая.

Волна революционного романтизма шестидесятых годов, конечно, повлияла на западных «прогрессивных писателей», но остальные писатели в общем откликнулись не так, как в тридцатых годах. Готовых подчиниться тому же мифу было гораздо меньше, для тех же, кто симпатизировал «новым революционерам», — уроки тридцатых годов были напрасны. Но они больше не были просоветскими и их приверженность, «революции» не была больше безоговорочной. Она была несколько сдержанной, отражающей моду дня, а не более глубокое чувство. Как обычно, будь то в Нью-Йорке или Париже, на них влияли настроения Гринвич вилледжа или Левого берега, хотя многие из них теперь жили в более фешенебельных районах. Однако, хотя среди воинствующих «прогрессивных» деятелей было меньше писателей, чем в тридцатые годы, и хотя их идеи выражались гораздо менее четко, они были готовы прыгать на революционную колесницу, даже и не совсем уяснив, куда она несется в нашем полицентричном мире, да и несется ли вообще куда-нибудь. Склонность к революционному мифу и прогрессивному призванию за последнее десятилетие была полностью продемонстрирована в

представительном журнале «радикального толка» — «Нью-Йорк ревью оф букс».

Чтобы анализировать разные революции, конечно, нужно знать социальные и экономические условия их времени, состояние политических учреждений, нужды и надежды населения, наличие и характеристику контрэллиты, эффективность воинского контроля и много других факторов, от которых зависит успех революционной идеи. Но сама идея покоится на мифе и, чтобы понять это, нужно вскрыть природу мифов. Это вышло бы за рамки данной работы. Достаточно сказать, что существует фундаментальная амбивалентность концепции мифа, которую можно проследить еще у греческого философа Эвгемера, который первым попытался объяснить мифы как аллегорическую историю. Гегель и Маркс рассматривали мифы в том же свете. Оба они находились под сильным влиянием рационалистической перспективы эпохи Возрождения. Марксова концепция идеологии как маски сильно напоминает оценку мифа как пустой формы, приукрашенной лжесовестью. Фрейд, Юнг, Фрезер и Малиновский пошли дальше этого и взвешивали психологический и социальный характер мифов. Сореля больше всего интересовала их политическая функция. Кассирер изучал в терминах неокантовской гносеологии их отношение к языку и государству. Мирцеа Элиаде и Джозеф Кемпбел анализировали их функции на сравнительной основе, исходя из юнговских посылок, что мифы — мечты общества. Леви-Штраус категорически отвергал мысль о том, что их значение видно в термине «правда», и вместо того в своем структуралистском подходе употреблял критерий «связности». При этом подходе мифы представлены в свете их социальной функции, не исторически, и их значение больше не связывают с вопросом о «реальности». Можно, конечно, утвер-

ждать, что любое эпистемологическое исследование должно в конце концов столкнуться с проблемой «герменевтического круга», но это не означает возможности избежать философских посылок даже в самом искусственном антропологическом анализе концепции мифов. Амбивалентность может быть подразумеваемой или ясной, но она есть. Связный или нет, миф может быть воспринят как мистификация или как более глубокая правда. И это — независимо ни от его функции, ни от того, считается ли он нужным.

Вопрос становится более ясным и менее таинственным, если смотреть на отношение между интересующим нас революционным мифом и литературой. Заложенная в концепции мифа амбивалентность, воспринимаемая или как ложь, или как глубочайшее символическое выражение морали, эстетики и выбора жизненного пути, оправдывающая жизнь и придающая ей смысл, особенно часто проявляется в литературе. И это так потому, что литература особенно заинтересована и в целях, и в средствах, для которых используются мифы. Джон Армстронг так определил это: «Мифы — самые точные средства, которые мог создать человеческий ум, и имеют свою собственную, невероятно сложную структуру и содержание. В основном они носят поэтический характер... Люди создают мифы, потому что сложности нашей духовной жизни нуждаются в более изощренном и тонком средстве выражения, чем может предоставить абстрактный разбор. Помимо того, что абстракции в этом плане недостаточны и не дают объяснения, они оставляют нас холодными». Литературные западные марксисты-ревизионисты, вроде Роже Гароди и Эрнста Фишера, готовы принять эту точку зрения, хотя и подписываются под позитивистским наследием марксизма. Гароди писал, что создание мифов — существенная функция произведений искусства, от Гомера до Сервантеса, от «Фауста» Гёте до «Матери»

Горького, ставящих под сомнение мир и в то же время бросающих вызов мировому порядку во имя того героического образа, который человек всегда придавал своему назначению и своему будущему. Цитируя это в своем «Искусстве против идеологии», Эрнст Фишер «в основном» соглашается с этим, добавляя только, что создание мифов — не единственная важная функция искусства: «Искусство может выполнять одну из своих функций — критику статус-кво, — используя мифы, но также и используя антимифы («Свадьба Фигаро», «Мадам Бовари» и «Анна Каренина», по моему, все абсолютно лишены мифического характера)». В противовес Фишеру, Ролан Барте, связывая семиологию и марксизм, сосредоточивается на узаконении другой функции мифа: он говорит, что миф пропитывает буржуазную реальность и старается скрыть ее, чтобы сохранить статус-кво. Революционное общество не нуждается в мифе, который бы мистифицировал его облик. Раскрытие мифологии для парижских «антисталинских» гошистов — просто вопрос разрушения «обмана буржуазного общества». «Левый миф несуществен». Здесь Маркузе сходится с Барте: первый готов применять принцип толерантности только к левым, второй — концепцию мифа (в плохом смысле) — только к правым. Оба они, в своем упорном политическом манихействе, отрицают не только кантовские универсалии, но и взгляды самого Маркса на человека и историю. Но разве может кто-либо, серьезно занимающийся проблемой современных мифов, игнорировать революционный миф? Пока существуют такие «антисталинисты», как Барте, которые утверждают, что сталинский миф «несуществен», мы не нуждаемся в старых сталинских аппаратчиках из Агитпропа, чтобы продлить его жизнь. Изоцрненной слепоты гошистских интеллектуалов самой по себе достаточно, чтобы понять еще один элемент постоянности мифов: необходимость рационали-

зировать свое кредо, если предсказание не исполняется (ранее я назвал это «эффектом Фестингера», вспомнив книгу профессора Фестингера на эту тему). И Барте, и Гароди, несмотря на их противоречивые взгляды на концепцию мифа, идеологически одинаково подходят к нему: для первого миф — отрицательное явление, ибо он сохраняет «буржуазный» статус-кво; для второго он — положительное явление, ибо приводит к изменению статус-кво. Это и доказывает, что оба остаются пленниками революционного мифа, поскольку готовы идеализировать перемены как таковые, вне зависимости от их ценности.

С этой точки зрения, революция теряет свой мифический характер и становится проблемой политических и социальных перемен, которые должны быть достигнуты с учетом их последствий и того, во что они обходятся. Революцию можно рассматривать также и не только как механизм политических и социальных перемен (как ее обычно себе представляют), но и как сложный процесс, при котором одни учреждения и нормы поведения меняются, а перемены в других не допускаются или задерживаются. Можно утверждать, например, что без Революции индустриализация Франции шла бы скорее; что без нее реформа избирательной системы была бы проведена в Англии раньше; что без Октябрьской революции автократия в России была бы ослаблена, а не усилена (со всеми последствиями этого, включая задержку развития во многих областях: от сельского хозяйства до технологического обновления, от свободы печати до законности). Клио мстит, когда ее насилуют: во всех странах, где произошли крупные революции и (или) вводились значительные революционные изменения, через какое-то время непрерывная связь истории утверждалась с удвоенной силой. Может быть для того, чтобы вновь утвердить свою индивидуальность, такие общества более упорно держатся за свои тра-

диции, если их нормальное развитие было прервано революционным «скачком». Это больше мешает изменению традиций, чем способствует отмене тех из них, которые уже нежелательны. Это усиливает и национализм этих обществ, как бы в насмешку над утверждениями революционеров о дружбе народов.

Но, вероятно, самый характерный новый фактор, вводимый мессианистическими революциями, проистекает из смешения идей революции и утопии. Он означает, что легитимность новой власти, установленной революцией, зависит от осуществления утопии, а это требует перманентной революции, если не отказаться от идеи утопии или не лишить ее смысла семантически-идеологическими перетолковываниями. Но спрыгнуть с тигра невероятно трудно; это подрывает революционную легитимность и вызывает вопли о «преданной революции». Цена нормализации обычно очень высока. Во Франции «царство разума» закончилось термидором и брюмером, и только наполеоновские войны и реставрация восстановили эволюционное равновесие. Постройка бесклассового общества — в коммунистической утопии — делает задачу прекращения революционных перемен в обществе еще более трудной, особенно оттого, что эта идея дает легитимность не только одной власти, но властям в разных странах, и служит также основой интернационального движения. Насильственная коллективизация и сталинский террор, Великий скачок и Культурная революция Мао — только пример того, к чему прибегают, чтобы осуществить утопию при помощи перманентной революции. Диалектика исторической непрерывности и исторических перемен носит иной характер в эволюционных и революционных перспективах.

Цена, которую приходилось платить за все революции и их последствия, находится в поразительном противоречии с надеждами революционной интелли-

генции. Она познает на практике, что во всех случаях представляет собой жертву революции и подлежит ликвидации как социальная группа. Революция пожирает не только своих детей, но и своих отцов, а также и внуков, если они проявляют независимость духа. Перед глазами писателей, которые составляют часть вскормленной утопией интеллигенции, мелькает реальность, и они начинают писать антиутопии. Мечты превращаются в кошмары, эксплуатация не исчезает, гнет становится хуже, чем прежде. Что же касается интернационализма, то стоит только обратить внимание на словарь китайско-советской полемики, послушать радио Тираны или подумать над тем, что редактор советского журнала «Дружба народов» — воинствующий антисемит¹⁶.

Когда задумываешься над судьбой писателей в революционных движениях и при пореволюционных режимах (а внимательное изучение показывает, что слишком часто революция была орудием их уничтожения), то даже у тех, кто хочет сохранить лояльное отношение к утопии, напрашивается грустный вывод¹⁷:

«Мы научились понимать, что попытка насильно вести людей к утопии приводит к варварству, но мы также знаем, что жизнь без представления об утопии может убить нашу способность воображения. Есть ли путь для нас, извилистый путь для людей дисциплинированной надежды?»

¹⁶ См. речь Григория Свирского на встрече московских писателей в 1965 году (воспроизведена в «Монд» 28-29 апреля 1968) и его «Письмо друзьям», распространенное Самиздатом в ноябре 1971 года и воспроизведенное в «Сёрвей» № 83, 1972.

¹⁷ Ирвинг Хов, «О чем беспокойство?», «Диссент», октябрь 1971, стр. 471.

Другие еще верят в la fécondité de l'Utopie¹⁸: „L'Utopie ce n'est pas le malheur, mais ce n'est pas plus le mensonge ou l'illusion“.

Очевидно, есть люди, для которых выступать против утопии политически столь же бессмысленно, как, по выражению Томаса Молнара, отвергать наличие мечты. Это особенно верно для революционных фундаменталистов, которые настолько ненавидят реальность, что, как некоторые итальянские «новые революционеры», задумывают для осуществления своей утопической мечты «апокалипсическую стратегию». Так мы приходим к мини-утопии для умеренных и макси-утопии для радикалов.

В наш век, когда на горизонте маячит угрожающий 1984 год и опасность предстоящей гибели человечества, речь, однако, идет не о спасении утопии, а о спасении человечества от утопического подхода к политике. Это не означает гибели способности воображения: она может применяться во многих других сферах. Надежда не должна отождествляться с революцией, как у Эрнста Блоха. Более того, нужно иметь воображение, чтобы представить себе, как отделить их друг от друга в период возродившегося революционного романтизма и юношеской глупости «новых революционеров». Экклезиаст говорит, что без видения люди погибают. Это верно, но мы знаем и то, что люди гибнут от излишества видения. Прошлый опыт политического осуществления мифа спасения — в религиозной или гражданской форме — должен служить предупреждением для современных «видящих», которые должны считаться с тем, что теперь это можно совместить с современной технологией и современными методами контроля. Если правда, как говорит Макс

¹⁸ Жан Даниэль, «Наступление утопии», «Нувель обсерватор», 3 января 1972 года. Заявление о «la fécondité de l'Utopie» отражает замечание Мальро, сделанное в 1935 году, что «le communisme rend à l'individu sa fertilité».

Вебер, что, «по свидетельству всей истории, человек не достиг бы возможного, если бы снова и снова не стремился к невозможному», то так же верно, что «невозможное» ныне должно быть выражено в менее утопических терминах, или (что сводится к тому же самому), что концепцию утопии нужно радикально переосмыслить в свете нашего опыта ее осуществления. Означает ли это отказ от идеала во имя реальности? Необязательно. Человечество все еще состоит и всегда будет состоять и из Дон Кихотов, и из Санчо Пансо; политическая философия (или литературное видение), которая исключила бы тех или других, сама стала бы утопической. Но в разные времена различные типы видения обладали разными вдохновляющими способностями и разной степенью правдоподобия. В наше время, не в пример временам Томаса Мора, утопия больше не правдоподобна для людей политически зрелых; она воодушевляет только политически неразвитых. Кампанелла писал в «Городе солнца», что «весь мир сошел с ума», а Герберт Маркузе откликнулся на его слова, говоря о современном «взрыве сумасшествия». Но Кампанелла также предложил построить вокруг своего города семь стен (в Берлине построили только одну), чтобы защитить нравственность его граждан, в то время как Маркузе пишет об «освобождении» и о конце «порабощения». Ясно, что, как минимальное условие, определение здравого смысла для толкования утопии должно отличаться от предложенных Кампанеллой, Маркузе или Р. Д. Лейнгом.

Иногда утверждают, что для сохранения утопии надо сохранить и иллюзии, или, как сказал Сорель, «будущее принадлежит тем, кто еще не потерял своих иллюзий». Но синтетические иллюзии, как и синтетические мифы, неправдоподобны, как это узнал сам Сорель на примере своего личного синтетического мифа. Для того чтобы воодушевлять, надежда должна быть подлинной, а не покоящейся на искусствен-

но стимулированном оптимизме, обусловленном подавлением исторического опыта. Но будущее действительно принадлежало, в определенном смысле и в определенный период, тем, кто не потерял своих иллюзий, тем, кем Сорель восторгался как людьми, вдохновленными мифами: коммунистам и фашистам. Однако именно такое будущее должно пугать людей, желающих сохранить надежду, не основанную на иллюзиях. Писатели, которые, как свидетельствует их прошлый опыт участия в революционных движениях, часто объединяют в себе склонность к мифотворчеству с политической наивностью, должны остерегаться соблазнительной аргументации такого рода. Судьба их коллег, принявших революционный миф, должна предупредить их против любой попытки оправдывать его искусственными рассуждениями и продлевать этот миф путем волевого самообмана.

Это не обязательно повлияет на судьбу самой литературы (она — крепкое растение), но это может отразиться на судьбе писателей и, что особенно важно, на судьбе человечества. Великая литература может рождаться из великих страданий, но нельзя делать из Солженицына аргумент в пользу существования концентрационных лагерей. Писатели, избегающие ненужных иллюзий и казуистического самообмана, помогут сделать 1984 год неапокалипсическим.

Запад — Восток

Николас Бетелл

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

(Насильственная выдача русских в 1944-47 годах)

В конце мая 1944 года, за несколько дней до высадки союзных войск, генерал Эйзенхауэр и его штаб получили сведения от разведки, что большое количество русских было послано немецким командованием на западную линию береговой обороны во Франции — к так называемому «Атлантическому Валу», который собирались атаковать союзные войска. Это сообщение вызвало большую тревогу в Великобритании и Соединенных Штатах. Было известно, что с момента немецкого вторжения в Советский Союз 22 июня 1942 года несколько миллионов русских стали пленниками нацистов. Среди них были и те, кто добровольно сражался на стороне врагов, но гораздо большее число советских граждан отказалось от статуса военнопленных и надело немецкую форму под влиянием голода, непосильной работы и угрозы немедленной смерти. Советский Союз не был членом Женевской Конвенции. Советские военнопленные в Германии не получали продуктовых посылок от Международного Красного Креста. Нацисты смотрели на них как на низшую расу и обращались с ними ужасно. Конечно, требовалось огромное мужество и незаурядный патриотизм, чтобы в таких условиях отказаться от работы в немецких трудовых батальонах, где питание и содержание были несколько лучше.

28 мая 1944 года британский посол в Москве Арчибальд Кларк Кер писал сталинскому наркому иностранных дел:

«Дорогой господин Молотов, я узнал из Лондона, что Главный Англо-Американский Объединенный Штаб обладает сведениями, показывающими, что значительные силы русских вынуждены вместе с немецкой армией сражаться на Западе. Верховное командование Экспедиционных войск союзников считает, что следовало бы сделать заявление с обещанием амнистии этим русским или лояльного к ним отношения при условии, что они при первой возможности сдадутся войскам союзников. Это обещание не должно распространяться на тех, кто по доброй воле совершил акт предательства, а также на добровольцев и сотрудничающих с войсками СС, а должно относиться к тем русским гражданам, кто действовал по принуждению. Сила такого заявления заключалась бы в том, что оно побуждало бы русских дезертировать из немецких вооруженных сил и вызывало бы недоверие немцев ко всякого рода военному сотрудничеству с русскими».

Сам факт этого письма показывает, насколько глубоко было непонимание западными союзниками истинной природы сталинской России. Советское правительство не могло бы простить никого из советских граждан, кто так или иначе сотрудничал с нацистской Германией. С его точки зрения, подобные действия не могли быть оправданы никакой степенью насилия, угроз или лишений. Человек, виновный в этом, был не только предатель, которого следовало наказать в пример другим; тот, кто выпал на какое-то время из-под контроля тоталитарного государства и, следовательно, мог выработать в себе нелояльное отношение к нему, кто повидал за границу и сравнительное благополучие, в котором жило население Германии даже во время войны, представлял собой явную опасность для советского государства. В течение более чем десятилетия Советский Союз был закрытой страной, очистившейся

от некоммунистических влияний и оппозиции. Тот факт, что такое количество простых советских людей провели ряд лет за границей, сам по себе вызывал мучительное беспокойство узколобых, одержимых шпиономанией людей, которые управляли страной. Для их полицейских мозгов все они казались опасными, каждый в отдельности, даже те, кто устоял перед соблазнами и угрозами нацистов и остался в концлагерях на голодном пайке. Сталин решил изолировать их от общества: как невиновных, так и виноватых, как сохранивших верность системе, так и предавших ее.

Во всяком случае, его тайная полиция не выработала никаких точных критериев оценки коллаборационизма. Конечно, те, кто воевал на стороне Германии, были виновны, но как быть с теми, которые преодолели все искушения и остались военнопленными? Разве немцы не могли держать в лагерях предателей для слежки за остальными? Тысячи могли оказаться завербованными. Потребовались бы десятки лет, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и оправдать каждого бывшего военнопленного. И кроме того, разве простой факт сдачи в плен не был доказательством недостаточного патриотизма по отношению к Советской России? Почему он не сражался до конца? Вероятно, он хотел сдаться в плен. Аппарат МВД мог бы, конечно, расследовать детально каждый случай, собрать доказательства, опросить свидетелей, провести процессы. Зная свое дело, его сотрудники могли бы в конце концов отделить овец от козлищ. Ну, а если произойдет ошибка и иностранный агент проскользнет сквозь пальцы? Сталин и его люди пришли к заключению, что существует более простой и более эффективный, с точки зрения госбезопасности, способ: поголовное заключение в лагерь.

Письмо посла содержало и другую ошибку. С одной стороны, было совершенно очевидно, что «значительные силы русских» сражались на Западе в составе

немецкой армии, но с другой, для советского правительства было абсолютно невозможно признать этот факт. Подобного рода признание снизило бы роль Советского Союза в глазах союзников и поставило бы коммунистическое правительство в неудобное положение перед собственным народом. Ведь трудно было представить, чтобы отряды американцев или англичан сражались на стороне немцев. Почему же это делали русские? Почему только среди советских военнопленных немцам удалось склонить к предательству такое количество людей? Дело принимало щекотливый оборот для Сталина и он решил поступить классическим для диктатора образом: притвориться, что ситуации не существует вовсе.

31 мая Молотов ответил Керу:

«Согласно информации, которой обладает советское руководство, число подобных лиц в немецких вооруженных силах крайне незначительно, и специальное обращение к ним не имело бы политического смысла. Руководствуясь этим, советское правительство не видит особой причины делать рекомендованное в Вашем письме заявление ни от имени И. В. Сталина, ни от имени советского правительства».

Тем не менее, когда 6 июня американские и английские войска высадились во Франции, они обнаружили, что число русских, одетых в немецкие формы, было весьма «не незначительно». В сообщении английской разведки от 17 июня говорилось, что среди захваченных и отправленных в Англию пленных около 10% составляют русские. Вместе с другими лицами ненемецкого происхождения они составляли особые батальоны и под командованием немецких офицеров посылались для подкрепления воюющих частей. Эти иностранцы не концентрировались на одной территории, а были разбросаны на всем протяжении западного французского побережья от Голландии до Пире-

неев. Немецкое командование не верило в надежность иностранных соединений и боялось, что они поднимут восстание, если будут представлять собой концентрированную силу.

Русские охотнее сдавались в плен, чем немцы. В английских сообщениях отмечалось, что когда союзники начали бомбардировку побережья, русские «просто сидели и ждали, что произойдет дальше». На допросах они рассказывали англичанам и американцам одну и ту же трагическую историю о том, как они оказались в лагере врагов своей страны.

Проработав много месяцев на строительстве дорог и укреплений в качестве военнопленных в России, они стали посылаться группами от 50 до 150 человек во Францию, где продолжали выполнять ту же самую работу. Их никогда не спрашивали, хотят ли они вступить в немецкую армию, а просто одевали их в немецкую форму и снабжали винтовками... Русские считали себя военнопленными и никем больше. Говоря только по-русски, они были полностью отрезаны от остального мира. С другой стороны, будучи спрошенными, хотят ли они вернуться в Россию, большинство проявляло равнодушие к этому вопросу или давало отрицательный ответ. Казалось, что никто из них не имел никаких политических убеждений. Большинство было для этого слишком неграмотным. Многие из них, очевидно, чувствовали, что прослужив в немецкой армии, даже не по своей воле, они будут рассматриваться как предатели и их, по всей вероятности, расстреляют.

20 июля 1944 года министр иностранных дел Великобритании Антони Иден (теперь лорд Эйвон) письменно информировал советского посла в Лондоне о том, что тысячи советских граждан попадают в плен во Франции и отсылаются в Великобританию. Он указывал также, что пленные из Франции переправляются через Атлантику в американские лагеря и советовал послу как можно скорее принять какое-нибудь

решение. Ибо очевидно, что чем дальше будут отправляться советские граждане, тем больше времени понадобится для их возвращения.

17 июля Британский Военный Кабинет в принципе согласился с тем, что пленные должны быть выданы, если это будет соответствовать желанию советского правительства. Они не рассматривали проблему в деталях и не интересовались, что произойдет, если многие военнопленные откажутся возвращаться на родину. Однако это решение могло бы обрести силу, если бы тогдашний министр военной экономики лорд Селборн не выразил в письме к Идену и Уинстону Черчиллю свой резкий протест. «Я глубоко потрясен решением Кабинета», — писал он Идену. Его письмо премьер-министру начиналось так:

Я глубоко сожалею о решении Кабинета отослать этих людей обратно в Россию. Для них это означало бы верную смерть. Многие тысячи русских, а также меньшее количество поляков и чехов, служили в немецкой армии во Франции, и я думаю, что если бы у них была надежда на человеческое к ним отношение в будущем, то они присоединились бы к Маки. Некоторые из них так и сделали. Мои служащие допросили 45 таких пленных и их истории оказались схожими в своей основе. После недель ужасного обращения и такого голода, что каннибализм перестал быть необычным явлением в лагерях, их моральные силы были в достаточной степени сломлены. Их выстраивали и немецкие офицеры предлагали им вступить в немецкие трудовые отряды. Каждого спрашивали, согласен ли он с предложением. Первый, ответивший отрицательно, был тут же расстрелян. Другие согласились ради спасения жизни. Как только они оказались в трудовых отрядах, им вручили оружие и сказали, что теперь они — солдаты немецкой армии. Никто из них не сомневается, что если их вернут в Россию, они будут расстреляны, а их семьи лишены прав и репрессированы.

Реакция Идена последовала немедленно и отличалась радикальностью по отношению к затронутому

вопросу. 22 июля он начертил на письме Селборна: «Здесь не учитывается то обстоятельство, что если этих людей не отправить в Россию, то куда они денутся? Нам они не нужны». Реакция Черчилля была мягче. Он писал Идену: «Я думаю, что мы рассматривали этот вопрос в Кабинете слишком суммарно и что точка зрения министра военной экономики должна, конечно, быть поставлена на обсуждение. Даже если мы пойдем на какой-нибудь компромисс (с советским правительством), следует пустить в ход машину всевозможных проволочек. Я думаю, что на долю этих людей выпали испытания, превосходящие их силы».

Иден ответил Черчиллю 2 августа. «В последнее время я неоднократно обдумывал этот трудный вопрос», — писал он. Однако он приходил к твердому убеждению в жизненной необходимости согласиться с первоначальным решением и отослать всех русских домой, хотя бы они этого или нет, применяя, если требуется, силу. В отличие от Селборна и Черчилля, Иден проявлял минимум симпатии по отношению к русским. «Они были взяты в плен во время службы в военных или военизированных немецких частях, чьи действия во Франции часто были отвратительны.» Его вывод заключался в том, что «мы не можем позволить себе сентиментальности в этом».

В приводимых Иденом аргументах была своя логика. Он отмечал, что в восточной части Германии и в Польше содержалось довольно много американских и английских военнопленных. Красная Армия быстро продвигалась к этим районам и было весьма вероятно, что вскоре она вторгнется в них и освободит пленников. Эта ситуация беспокоила многих. Иден писал: «Очень важно, чтобы с ними хорошо обращались и вернули их как можно скорее. Поэтому мы должны во многом положиться на добрую волю Советов, ибо если мы будем ставить препятствия для возвращения их собственных граждан, я уверен, что это будет способ-

ствовать их нежеланию помочь нам получить наших военнопленных».

Тем не менее Черчилль решил снова поставить вопрос на обсуждение Кабинета. Между тем, 23 августа Министерство иностранных дел получило письмо от советского посла М. Гусева, в котором тот сообщал, что его правительство выражает настоятельное желание получить военнопленных и просит Великобританию как можно скорее подготовить суда для их транспортировки. Антони Идену было поручено подготовить отчет Кабинета, который и был готов 3 сентября. Он писал, что количество советских военнопленных в Великобритании достигло теперь 3750 и что необходимо принять срочное решение об их будущем. В отчете Идена гуманистический аспект проблемы затрагивается лишь мимоходом. Многие, пишет он, вступили в немецкую армию лишь «под огромным давлением» и возможно, что «по возвращении в Россию к ним будут применены жестокие меры». Но этот пункт балансируется повторением его прежнего заявления, что все они были взяты в плен во время службы в немецких частях, «чье поведение часто было отвратительно».

Здесь Иден не совсем точен. Некоторые пленные не служили в каких бы то ни было военных частях. В частности, русские женщины, поток которых в Англию все возрастал, служили лишь в качестве домашних работниц и obsługi. Правда, что поведение некоторых русских было отвратительно, но правда и то, что другие вели себя в высшей степени достойно. Иден пытался возложить на русских коллективную ответственность, заставить их платить за немногих своих соотечественников — людей, которые во всех случаях действовали по приказу и под угрозами.

Нежелание сеять рознь между Советским Союзом и другими союзниками во многом определяло атмосферу того времени. Именно поэтому американские и английские политики были склонны преуменьшать

или игнорировать вовсе некоторые неприятные стороны советского режима, такие, как незаконные и массовые репрессии. Дискуссия, которая последовала после обнаружения следов массового убийства в Катынском лесу в апреле 1943 года, показала, что в некоторых подобных дискуссиях западные союзники были готовы встать на советскую точку зрения. Это был вопрос не справедливости, а военной реальности. Осенью 1944 года, так же, как и весной 1943, Красная Армия принимала на себя главный удар войны. Было нелепо обвинять советское правительство в негуманности.

Именно это побудило Идена заявить, что Англия «не имеет ни юридического, ни морального права» вмешиваться в то, как Сталин обращается с людьми, воевавшими против него. Он просил свое правительство нарушить английскую традицию предоставления убежища преследуемым и гонимым, передать тысячи людей для наказания, которое, как он, безусловно, знал, было бы смертным приговором, причем без различия невиновных и виноватых. Имея много компетентных советников, он должен был также знать, какого рода справедливость существует в сталинской России, что судебное разбирательство сведется к простейшей пародии на процесс, после которого невинные и виновные будут осуждены на смерть или на многие годы убийственного содержания в лагерях.

Будучи спрошенным в 1973 году об этом деле, Иден ответил, что «он не может помнить всех сопутствующих обстоятельств». Он отказался отвечать на вопросы, а когда получил копию своего отчета Кабинету, то не пожелал прокомментировать его. Но несомненно, что в 1944 году именно он, невзирая на резкий протест Селборна и первоначальное сопротивление Черчилля, провел через Британский Кабинет политику насильственной репатриации. 4 сентября Военный

Кабинет одобрил предложение Идена «после короткой дискуссии».

Британские военные власти подготовили ряд посещений лагерей русских военнопленных высшими офицерами Красной Армии, аккредитованными при советском посольстве. В лагере, расположенном в графстве Сари, к военнопленным обратился полковник Горский. «Теперь вы можете считать себя полноправными советскими гражданами, несмотря на то, что вы были вынуждены вступить в немецкую армию», — сказал он им. Он всячески старался скрыть от них страшное будущее, которое ожидало их в России. Если бы он смог убедить их, они поехали бы домой без колебаний.

Не столь гладко прошло посещение йоркширских лагерей военным атташе при советском посольстве в Лондоне генералом Васильевым. Генерал советовал военнопленным не бояться последствий их вынужденного сотрудничества с немцами: «Советская власть никогда не преследует людей оптом. Мы разберемся, кто из вас виноват, а кто нет. А эти немецкие формы, которые вы носите, — мы бросим их в печку». «Да, и нас вместе с ними», — ответил один из военнопленных.

Генерал много говорил также об англо-советской дружбе, очевидно, давая понять, что не следует доверять англичанам и надеяться на политическое убежище. Васильев обещал многое, и это не звучало как пустые слова, так как страна нуждалась в рабочих руках для послевоенной реконструкции. У многих военнопленных хватало оптимизма, чтобы поверить ему, но среди тех, кто знал, что их ожидает по возвращении домой, росло отчаяние.

Чеслав Есман, английский офицер польского происхождения, служивший переводчиком в одном из лагерей, рассказывал, что после этого визита «еще больше солдат стало мне говорить, что они покончат с собой, если их вернут в Россию». До этого большинство военнопленных сохраняло единство перед лицом

англичан, чьи язык и обычаи лишь немногие из них хоть в какой-то степени понимали. После таких визитов они стали подозрительными и начали делиться на группы. Они решили, что существуют только два способа спасти себя: выявить либо лояльность к Советскому Союзу, за которую их бы простили, либо предельную ненависть к нему, чтобы англичане прониклись к ним жалостью и не выдворили бы их насильно.

25 сентября Иден получил письмо от М. Гусева, в котором утверждалось, что «отношение некоторых союзных властей к освобожденным советским гражданам отличается рядом нарушений установленных правил». Гусев перечислял эти нарушения: с советскими гражданами обращаются как с военнопленными, условия их содержания неудовлетворительны, многие из них отсылаются в Америку без разрешения советских властей, в лагерях ведется антисоветская пропаганда и предпринимаются попытки вербовки заключенных в иностранные армии. Все это, писал Гусев, «не соответствует принципам международного права и тем более духу соглашений между союзниками». По справедливому замечанию Идена, это было «грубое заявление».

Грубость его оттенялась дружеским тоном телеграммы Сталина Черчиллю и Идену, датированной 30 сентября, в которой он приглашал Черчилля и Идена запланировать в октябре визит в Москву. Два британских лидера прибыли в Москву 9 октября в 10 часов и в тот же вечер были приняты в Кремле Сталиным и Молотовым. Это была та самая знаменитая встреча, во время которой Черчилль на листке бумаги набросал «проценты влияния» России и Запада в балканских странах: 90/10 в пользу Англии в Греции, 90/10 в пользу России в Румынии, 75/25 в пользу русских в Болгарии. Сталин синим карандашом поставил галочку и протянул бумагу назад Черчиллю. «Это заняло не больше времени, чем написать эти слова», — пишет

Черчилль в своих воспоминаниях. 11 октября он сообщал президенту Рузвельту: «Мы нашли здесь необычайно доброжелательную атмосферу». В тот же вечер Сталин принял приглашение на ужин в английском посольстве. В этой ситуации нудная проблема советских военнопленных и грубости Гусева казалась мелкой и неактуальной.

Тем не менее Иден решил поднять этот вопрос. 12 октября он телеграфировал из Москвы:

Во время прошлого ужина с маршалом Сталиным разговор коснулся вопроса русских военнопленных в Англии. Маршал сказал, что он был бы крайне признателен, если бы была достигнута договоренность об их возвращении. Я сказал, что мы будем рады сделать все, что возможно, и хотя существуют весьма серьезные трудности с морской транспортировкой, мы сейчас пересматриваем наши возможности... Маршал повторил, что он был бы нам очень обязан, если бы мы пришли к соглашению по этому вопросу. Я заверил его, что мы окажем в этом любую возможную помощь, и выразил уверенность, что его правительство, в свою очередь, сделает все возможное в отношении английских военнопленных в Германии, когда Красная Армия освободит немецкие лагеря, где они содержатся. Маршал сразу же сказал, что, конечно, это будет сделано. Он возьмет на себя личную ответственность и дает мне слово, что к нашим людям будет проявлено всяческое внимание и забота.

Этот короткий неофициальный разговор произвел большое впечатление на Идена. Он еще больше убедился в том, что теперь не придется «выкупать» английских военнопленных или обменивать их на русских, находящихся в Великобритании. В дальнейшем будет достаточно напоминать советским официальным лицам о словах Сталина, сказанных за ужином. Идену не приходило в голову, что Сталин мог обмануть его и дать своим подчиненным менее обнадеживающие указания. Как отмечал двумя месяцами позже в своем

дневнике Гарольд Никольсон: «Он (Иден) питал настоящую симпатию к Сталину». Как-то за выпивкой он сказал Никольсону: «Сталин никогда не нарушает данного слова». Эта вера в честность советского диктатора в последующие несколько месяцев не раз приводила к ошибкам Идена и других руководителей союзных держав.

17 октября Иден снова обсуждал этот вопрос, на этот раз с Молотовым, который отнесся к нему более конкретно. Впервые упоминалась возможность, что Великобритания будет вынуждена репатриировать военнопленных силой. Иден писал:

Господин Молотов сказал, что советское правительство действительно желало бы узнать в принципе, — ибо оно еще не получило нашей точки зрения по этому вопросу, — согласно ли правительство Его Величества с тем, что все советские граждане без исключения должны быть как можно скорее отправлены в СССР. Он настаивал на том, что эта проблема заключается не просто в транспортировке (ранее в разговоре он выразил удовлетворение моим заверением, что в ближайшем будущем будет возможно переправить 11 тысяч человек), но в том, согласно ли правительство Его Величества репатриировать в СССР всех советских граждан, независимо от желания отдельных лиц, которые в некоторых случаях не хотели бы возвращаться, потому что сотрудничали с нацистами. Советское правительство настаивает на этом как на своем праве.

Переговоры завершились соглашением и, как сообщал Иден Молотову, 31 октября 10 000 военнопленных отчалили из Англии в Мурманск. 7 ноября находящийся в Мурманске английский майор С. Дж. Крегин видел военнопленных сразу же после выгрузки с корабля «Скифия». Не было никакой заранее подготовленной торжественной встречи, никаких «комфортельных» условий для их приема. Вместо этого они были построены в колонны и под вооруженной охраной промаршировали в лагерь, находящийся за горо-

дом. Американский дипломат Мелби, наблюдавший подобную сцену, сообщал, что военнопленных «сначала приветствовали в порту с духовым оркестром, а потом строем под усиленной охраной отправили в неизвестном направлении». Крегин был удивлен необходимостью такого усиленного сопровождения: на каждые 10-15 человек приходился один охранник. Правда, некоторые из них были взяты в плен в немецкой форме, но другие на протяжении всей войны сохраняли верность Советскому Союзу даже перед лицом невероятных трудностей. Для приема таких людей более подходила бы торжественная встреча, чем вооруженная охрана.

Но сотрудники Министерства иностранных дел в Лондоне не усмотрели ничего странного в отчете Крегина. Джеффри Вильсон говорил, что недостаток вежливости — явление обычное для России. Вероятно, он не знал, что это шествие в близлежащий лагерь и сопровождавший его обыск для всех этих людей, как для тех, кто сохранил верность, так и для тех, кто помогал немцам, было лишь прелюдией ко многим годам принудительного труда в лагерях, где невыносимые голод и холод превращали жизнь в бесконечный кошмар, вынести который могли лишь наиболее физически сильные и духовно устойчивые.

До конца 1944 года проблема русских военнопленных касалась главным образом Англии, потому что именно сюда они попадали после сдачи в плен или освобождения. Но у американцев тоже имелись аналогичные лагеря, где за четыре месяца после высадки союзников собралось 28 тысяч русских в немецкой форме. Особое раздражение советских властей вызывали сведения, что часть их граждан переправляется через Атлантику; именно этот пункт отмечался в списке претензий, посланном советским послом в Вашингтоне Андреем Громыко государственному секретарю

Эдварду Стеттиниусу 23 сентября. По тону он напоминал «грубое заявление», посланное Гусевым Идену.

Американцы поняли довольно рано, что проблема обещает быть трудной. Когда генерал Эйзенхауэр попросил у состоящего при нем для связи советского офицера совета, что делать с советскими гражданами, надевшими немецкую форму, тот ответил, что «такого вопроса не существует, потому что не существует русских, работающих на немцев». Заявление было нелепым, но никто не требовал немедленных действий, и в течение нескольких месяцев Америка рассматривала советских военнопленных как немцев.

2 ноября начальник штаба Рузвельта адмирал Ли писал Стеттиниусу: «Поскольку британские Военное министерство и Министерство иностранных дел пришли к выводу о возвращении советским властям всех без исключения советских граждан,.. для правительства Соединенных Штатов было бы нецелесообразно предлагать советскому правительству какое-либо иное решение в отношении лиц данной категории». 20 сентября Стеттиниус телеграфировал: «Политика Соединенных Штатов в этом вопросе заключается в том, что все те, кто объявляет себя советскими гражданами, должны быть переданы советскому правительству вне зависимости от того, хотят они этого, или нет».

Существовало явное противоречие в терминах «советские граждане» и «объявляющие себя таковыми». Разница заключалась в том, что американцы считали немцем всякого пленного в немецкой форме, пока он не заявлял о своей принадлежности к другой стране. Так они интерпретировали Женевскую Конвенцию. Явно русских спрашивали об их национальности. Если они называли себя советскими, их направляли в один из трех специальных лагерей: в Форт Дикс (Нью Джерси), Винчестер (Виргиния) и Руперт (Айдахо). И уже на ранней стадии Государственным Департаментом (но еще не Военным) было решено, что

всякий, «объявляющий себя советским гражданином», будет возвращен в Советский Союз вне зависимости от его желания.

Но если советский гражданин, взятый в плен в немецкой форме, утверждал, что он немец, американцы считали его таковым и он попадал под защиту Женевской Конвенции. Однако офицерам в лагерях казалось странным относиться как к немцу к человеку явно советского происхождения и не говорящему по-немецки. Они обратились с этим вопросом к генералу Брайану, и 21 декабря он издал следующий приказ: «Спрашивайте их в первую очередь, считают ли они себя русскими гражданами? Если они считают себя русскими гражданами, тогда они поедут назад. Если они не считают себя русскими гражданами, они не поедут... Другими словами, если парень достаточно умен, он скажет: «Нет, я немец». И тогда он немец».

8 ноября Стеттиниус ответил на ноту Громыко. Он не может еще сказать, писал он, сколько военнопленных, содержащихся в американских лагерях, «объявило себя советскими гражданами». Всего здесь находилось 300 000 человек и пока еще не было возможности опросить каждого из них. Но как только это будет сделано, они будут переданы советским представителям для отправки в Россию. В настоящее же время они работают и получают по 80 центов в день. Проблема советских граждан, которые не отрицали свое гражданство, на этой стадии не ставилась.

Государственный департамент и отдел Военного министерства, который возглавлял Брайан, пришли к соглашению, что хотя не следует применять против этой группы огнестрельное оружие, **«необходимо принять определенные меры для предотвращения бегства и, если необходимо, применять силу для выдачи этих лиц советским представителям»**. Надо было отделить 1000 военнопленных и послать для их охраны специальные войска. Через неделю были предприняты шаги

для посылки военнопленных в Россию. Е. Томлин Бейли из Отдела Специальных Военных Проблем докладывал: «Среди 1100 человек, погруженных на корабль, только около семидесяти не хотело возвращаться. Очевидно, эти семьдесят объявили о своем гражданстве, не предвидя последствий, которые их ожидали. Трое из них пытались покончить с собой, один повесившись, другой поранив себя ножом, третий — пытаясь разбить голову о балку в своем бараке. В конце концов все трое были доставлены в порт». 29 декабря советский корабль «Урал» отчалил из порта Сан-Франциско, имея на борту 1179 русских, включая и этих троих.

Военный секретарь Генри Стимсон выражал свои опасения по поводу подобного рода политики. Он писал: «Я полагаю, что перед тем как выдавать кого бы то ни было Советам, мы должны быть уверены, что не выдаем его для казни или наказания». Удивительно, что ни он, ни Генеральный Прокурор Генри Джексон (оба — члены Кабинета Рузвельта) не знали о соглашении по этому вопросу, уже заключенному Англией и принятому Америкой. 11 января Стимсон информировал Джексона о ситуации и объяснил ему, что Советы настаивают на том, чтобы советских военнопленных рассматривали на той же основе, как и американцев, освобожденных Красной Армией в Европе. Русским было указано, писал Стимсон, на нелогичность одинакового отношения к этим двум группам, но они не высказали намерения изменить свою позицию. И в основе этой позиции лежала определенная угроза: «Отказ передать советскому правительству граждан, признавших свое советское гражданство, даже вопреки их желанию, может повлечь за собой задержку выдачи наших собственных военнопленных, содержащихся в русских лагерях».

Для кремлевских руководителей было невозможно признать, что миллионы их граждан дезертировали

из Красной Армии и сражались на стороне Германии. Молотов перед высадкой западных союзников категорически заявил Идену, что число русских, борющихся на стороне врагов, «весьма незначительно». Несколькими днями позже Иден писал Министерству иностранных дел: «Я не думаю этого». Но даже на этой ранней стадии он чувствовал для себя необходимость добавить: «Я склонен думать, что было бы совершенно бесполезно возобновлять спор. Советское правительство никогда не признает правду по этому вопросу».

Таким образом, правительства Америки и Англии, не в первый раз за время войны, чувствовали себя обязанными принять за правду то, что навязывалось им советскими властями и что на самом деле было ложью, причем каждая из трех сторон знала, что это ложь.

Январь был для Красной Армии месяцем триумфального шествия через Польшу и восточную Германию. Восхищение англичан и американцев русскими бойцами было искренним и легко переходило в восхищение советским правительством и Сталиным. И в самом деле, как можно было не преклоняться перед человеком, который направлял эту благородную силу? Правда, антикоммунисты и эмигранты обвиняли его в самых зверских жестокостях. Но ведь эти обвинения могли быть неверными или сильно преувеличенными. А что касается этих несчастных военнопленных, то разве можно было представить себе, что Сталин будет наказывать их всем скопом, миллионами? Такая идея казалась заведомо абсурдной.

(Продолжение следует)

БЕТЕЛЛ Николас — английский журналист, член Палаты Лордов и Европейского Парламента. Родился в 1938 году, окончил Кембриджский университет по специальности «востоковедение». Параллельно изучал русский и другие славянские языки. Занимался переводами польской и русской литературы, в частности, в Англии вышли в его переводах произведения А. Солженицына («Раковый корпус» и «Олень и шалашовка»), И. Бродского, С. Мрожека. В 1969 году в Англии была опубликована написанная им биография Владислава Гомулки, в 1972 году вышло в свет его историческое исследование «Война, которую выиграл Гитлер», посвященное политике союзников и разгрому Польши в первые месяцы второй мировой войны. Его книга «Последняя тайна» была опубликована в 1974 году английским издательством «Андре Дейч».

Когда верстался этот номер, мир облетело скорбное известие: умер кардинал Миндсенти. Жизнь этого замечательного человека современности неразрывно связана с историей борьбы против коричневого, а затем красного тоталитаризма. В самом деле, этот человек сидел при Гитлере, сидел при Сталине и вновь жестоко преследовался властями уже в эпоху так называемой «либерализации». У нас нет нужды излагать здесь его биографию, даже вкратце: слишком ярко и слишком подробно она описана им самим в его воспоминаниях, которые мы заканчиваем печатать в этом номере.

Поэтому нам остается только присоединиться к той скорби, которой исполнены сейчас сердца миллионов венгерских верующих и всех тех, кто чтит в покойном его поистине подвижническую и чистую жизнь.

Мир праху его!

Редколлегия «Континента»

ИСТОКИ

† Кардинал Миндсенти

ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

(Окончание)*

На улице Андраши 60

Колонна полицейских автомашин остановилась перед домом номер 60 на улице Андраши. Мне приказали вылезти из автомобиля. Через двойной строй тесно сомкнувшихся рядов полицейских меня ввели в это пользующееся столь дурной славой здание. Здесь венгерские выученики гитлеровского Гестапо еще в период германской оккупации создали страшное место пыток, прямо-таки — центр устрашения. Уже в те времена прохожие, бывавшие в этих краях, старались обойти это здание стороной, или, проходя мимо него, отворачивались. В глаза бросались главным образом снувшие в разные стороны машины для арестованных и полицейские автомашины. Количество арестов росло в устрашающей степени. Все здания, прилегающие к этому дому, тоже были превращены в части тюремного комплекса. Вспомнил я тут добрых венгров, которых турецкие паши некогда бросали в Семибашенный замок в Истамбуле, где им была суждена гибель, подумал и о тех, кого теперь, в эти дни, кидали в ад Чека. Вспомнил я и о лаби-

* Мемуары печатаются в сокращенном виде.

ринте Миноса, в недрах которого пленников ждала смерть.

Кровожадные паши имелись и в доме на этой улице. Одним из них был генерал-лейтенант Габор Петер, главный начальник всех органов террора. Я не был знаком с Габором Петером, но мне предстояло познакомиться с ним весьма основательно. Звали его когда-то Бене Аушпитц. В молодости он успел обучиться портняжному ремеслу и с тех пор приобрел сноровку держаться тонко, не шуметь и вести себя в обществе как полагается, или, короче говоря, проявлять свою человечность перед людьми. Он был способен и пойти кому-то навстречу, и выполнить какую-то просьбу, в которой его товарищи обычно отказывали.

После портяжного дела он прошел курс обучения в партийной школе, где его как следует подготовили к новой профессии. Этот человечек небольшого роста превратился в фигуру гораздо большего интеллектуального уровня, чем так называемая «московская аристократия». Если верить Дьердю Палоци-Хорвату, женат он был на Йоланде Шимон, долголетней личной секретарше Ракоши. Режиму служил ретиво. Русские это знали, потому и назначили его начальником пресловутых «органов». Он и по отношению ко мне пытался скрыть свое истинное лицо, представить себя с наилучшей стороны. С чувством повествовал он мне о своей бедной матери, для которой он в молодости рубил дрова, чтобы ей не приходилось сидеть в холоде.

Подлинный же портрет Габора Петера нарисовал Дежё Шуйок: «Когда зимой 1947 года парламент, под нажимом советских лишил права неприкосновенности тех своих депутатов, которых обвинили в 'заговоре против республики', Габор Петер явился в парламент собственной персоной. Подстерегая добычу, он ждал минуты, когда сможет броситься на этих несчастных

при выходе из здания парламента. Самолично надевал он выданным ему на расправу лицам в подъезде парламента наручники. Это был уже не услужливый портной, а исполненный садизма дикий зверь, с наслаждением бросавшийся на своих жертв». После процесса Райка Ракоши сказал о Петере: «Он поработал неплохо». Правда, впоследствии, когда его прижал к стене Тито, Ракоши принял на себя роль Пилата, заявив: «Ответственность за всё это лежит на банде Габора Петера».

Итак, у Габора Петера был кабинет на улице Андраши. Вероятно, доносились и до него по ночам крики и стоны пытаемых, их предсмертный хрип. Знал он, что обвиняемых избивали дубинками, отбивая им почки и половые органы, что под ногти им загоняли иголки, папиросами спаливали им брови, применяя то отупляющие, то возбуждающие средства, разрушали их нервную систему, не давали заснуть, чтобы сломить их, заставить подписать признание; конечно — признание, нужное режиму.

Но истязали до смерти венгерских патриотов не только на улице Андраши. Особыми казармами и тюрьмами располагал также политический отдел вооруженных сил. В одном только Будапеште таких тюрем было несколько. Исполнителями считались венгры, но система была советской. Я не сомневаюсь в том, что из-за кулис советские власти руководили всеми мероприятиями наших венгерских палачей, приобщенных ими к своей дьявольской науке.

Первая ночь

Кто никогда не содержался под арестом, не подвергался допросам на улице Андраши, тому трудно представить себе все ужасы, которые там происходили. Даже полицейские, дежурившие в этом здании, знали далеко не все. Там боялись свидетелей, которые

то ли будучи подкупленными, то ли в случае бегства за границу смогли бы слишком много рассказать о жестокой действительности. А те, кому удавалось живым выйти из этих подвалов, — что бывало редко, — хранили молчание по вполне понятным причинам. Правда, среди народа ходили слухи о всех этих ужасах, но к ним время от времени искусственно подмешивали «хорошие известия», чтобы затуманить истину, отвлечь внимание общественности. Так, например, в книге одного венгра, вышедшей на английском языке, появилось утверждение: «В течение двух дней с доктором Закаром, секретарем, с самим Примасом и с сопровождающими его лицами очень хорошо обращались на улице Чоконаи. Только после этого их перевели на улицу Андраши». Автор говорит, что такие сведения он получил от офицера полиции, который служил на улице Андраши, а впоследствии бежал.

Это не соответствует действительности. Только изредка бывало, чтобы заключенного, при условии «хорошего поведения» и удовлетворяющих следователя признаний, отпускали на свободу, обычно взяв с него обязательство секретного сотрудничества. Бывало, что такому отпущенному на волю заключенному оплачивали и обед в ресторане. Но режим умел заставить и попоститься. От архиепископа Грёса я слышал, что во время его пребывания под арестом ему как-то в течение 48 часов ничего не приносили есть: якобы по забывчивости.

Меня, во всяком случае, доставили прямо на улицу Андраши, отвели в холодное полуподвальное помещение, где немедленно собралась целая толпа полицейских, желавших поглазеть, как с меня будут сдирать одежды. Меня схватили какой-то майор полиции и хромой полицейский, сорвали подрясник, а затем, под громкий хохот собравшихся, остальную одежду, в том числе и нижнее белье. Мне дали широкий, пестрый, восточный шутовской халат. Некоторые плясали во-

круг меня, а майор орал: «Эх, собака, долго мы ждали этого часа. Дождались наконец!» Говорят, этот коротенький пухленький офицерик раньше был коммерсантом. Впоследствии, во время одной из «проработок» он хвастался передо мной, что за последние 20-25 лет только дважды повидал церковь изнутри, но и то — кратко и поверхностно. Подлизываться он умел, как кошка, но по натуре своей был гиеной. Называли его — уменьшительно — «Дьюла Бачи». Кстати, настоящие фамилии офицеров полиции и палачей оставались неизвестны, так как они обычно пользовались кличками и носили форму с не соответствующими действительности знаками различия.

В доме номер 60 на улице Андраши у меня отняли не только мой Молитвослов, четки, книгу «О подражании Христу»*, нательную иконку Девы Марии, но также часы и уголовный кодекс. Кодекс я взял с собой, чтобы, за отсутствием адвоката, самому ссылаться на соответствующие статьи и обличать тюремщиков в их беззаконии. Мне было ясно, что защищаться мне придется только своими собственными силами.

Меня отвели на один из верхних этажей. Из узкого, низкого коридора открывалась дверь в предоставленное мне помещение. Размеры его были приблизительно четыре на пять метров. Помещение выглядело темноватым, хотя окно и выходило во двор. Вместо кровати я увидел потрепанный диван. Но я понимал, что сну я все равно отдаваться не смогу. Ведь в этом доме работают главным образом ночью. Мою камеру, в которой почти всегда находилось несколько человек, вначале вообще не проветривали. Потом ее проветривали два раза в неделю неподолгу. Они опасались, как бы из противоположного крыла здания не увидели, кого в эту камеру поместили. Надзиратель, в прошлом — каменщик, почти все время

* «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. — Перев.

оставался в помещении. После окончания первой мировой войны он выдержал боевое испытание как коммунист, а в 1920 г. ему пришлось отбывать наказание за это в лагере Залаэгерсег. Мне он решил мстить за то, что я в те времена был настоятелем одной из церквей этого города. Он окончил партийные курсы и с видом убежденного сединами профессора университета разглагольствовал о преимуществах материалистической философии и недостаточности идеалистических философских систем. Впоследствии я как-то столкнулся с ним в тюрьме города Вац, — он уже стал майором. При нем вертелось несколько молодых охранников, которые без умолку вели наглые речи и похабничали. Младший из них хвастался тем, что больше не ходит к исповеди, да и вообще не ходит в церковь, а также тем, что у него всегда бывает в кармане достаточно денег для «лучшего» времяпрепровождения, каковым он считал свои похождения в домах терпимости. За стеной царила гробовая тишина. Лишь время от времени доносились до моей камеры издали, из застенка, крики пытаемых. Вероятно, было около 11 часов, когда раздались громкие шаги. Меня повели на первый допрос. По коридору надо было пройти в какую-то боковую комнату. В ней стоял письменный стол. За ним расположился юрист от большевизма полковник полиции Дьюла Дечи. По бокам от него расселось пятеро других офицеров полиции. За пишущими машинками восседали, с папиросами во рту, два товарища женского пола. Все они находились между собой в близких отношениях, обращались друг к другу на ты, одна из секретарш называла следователя по имени в уменьшительной форме.

Дьюла Дечи спросил: «Как вас зовут?» Я сказал ему это. «Где и когда вы родились?» Я ответил. «Какова ваша профессия, кем вы были до того, как пор-

вали с венгерским народом и сделались врагом родины?». И так далее, и тому подобное...

Затем был заготовлен протокол. Но в нем не оказалось того, что я говорил. Поэтому я отказался его подписать. На это Дечи заметил: «Зарубите себе на носу: здесь обвиняемые признают свою вину по той форме, которой желаем мы». Он подал знак, который означал: «А ну-ка, научите его признаваться!».

Майор отвел меня обратно в камеру. Было около трех часов ночи. Два охранника отодвинули стол, стоявший посреди помещения. Майор закричал на меня, чтобы я разделся. Я не выполнил его приказа. Он дал знак своим подручным. Вместе с ним они сорвали с меня шутовскую одежду. Они вышли в коридор и что-то судорожно там искали. Вдруг в камеру ворвался коренастый старший лейтенант: «Я был в партизанах!» Сказал он это по-венгерски, но не венгерским было его дикое, исполненное ненависти лицо. Я отвернулся от него. Он отошел в сторону, а потом с разбега нанес мне со всей силы удар сапогом. Мы оба ударились о стену. С дьявольским смехом он закричал: «Это — самый счастливый миг моей жизни». Он мог бы и не произносить этого, его чувства достаточно ярко выражались на его искаженном лице.

Вернулся майор, «партизана» выслали. Майор принес с собой резиновую дубинку. Он придавил меня к полу и начал избивать. Сначала бил только по ступням, потом начал осыпать непрерывными ударами все тело. Удары сопровождались громким садистским хохотом, доносившимся из коридора и из соседних помещений. Очевидно, там собрались следователи мужского и женского пола, среди них был, вероятно, и Габор Петер. Майор тяжело дышал, но ударов не прекращал. Несмотря на напряжение, они доставляли ему очевидное наслаждение.

Я стискивал зубы, но мне не удалось остаться вовсе немым и беззвучным. От боли я тихо стонал.

Потом я потерял сознание и пришел в себя только после того, как меня облили водой. После этого меня подняли с пола и бросили на диван. Сколько времени избиение это продолжалось, я сказать не в состоянии. Часов у меня больше не было, да если бы и были, мне не дали бы на них взглянуть.

Затем от меня вновь потребовали, чтобы я подписал протокол. Я опять отказался, заявив: «Это — не мои показания». Дечи в бешенстве приказал: «Повторить». Опять началось избиение. В третий раз потребовали от меня подписи — и опять безуспешно. Еще раз попытались они добиться своего неослабными ударами резиновой дубинки под глумление и хохот зрителей. Потом опять потребовали подписи. Я опять ответил: «Как только мне будет предложен протокол, в котором будет изложено то, что я сказал на самом деле, я ваше пожелание выполню». И опять я получил в ответ: «В чем признаваться, — это здесь решает полиция, а не обвиняемый».

Прошло много времени, начало светать. Утомились, по-видимому, и следователи. Меня отвели обратно в камеру.

Первый день моего предварительного заключения

Майор отвел меня из кабинета следствия в мою камеру, или, точнее, в комнату, где, помимо меня, в густом табачном дыму, при спертom, испорченном воздухе продолжала оставаться охрана численностью в пять человек: произведенный в начальники по камере каменщик и четверо его подручных. В полосатом шутковском одеянии я растянулся на диване, но заснуть не мог. Старался не слушать обращаемых ко мне похабных вопросов. Размышлял над проведенной ужасной ночью. Хотя бы в первую ночь им не удалось заставить меня подписать полный подтасовок и неправды протокол.

В восемь часов приносят воду для мытья. Сами они догола раздеваются и моются при мне. Я ограничиваюсь тем, что умываюсь не снимая надетого на меня шутовского одеяния. После этого они мне приказывают вынести грязную воду. Один из молодчиков следует за мной, в то время как комендант камеры и остальные провожают меня громогласным хамским хохотом.

Затем они являются с баландой и требуют, чтобы я съел всё. Но я беру лишь несколько ложек, чтобы омочить свои высохшие, потрескавшиеся губы. Еще несколько раз они пытаются заставить меня съесть всё, и уносят посуду лишь убедившись в том, что я им не подчиняюсь. Заглядывает и майор с резиновой дубинкой, — вероятно, заботясь о том, как бы я о нем не позабыл. Наконец часть охранников поддается сну и в помещении наступает тишина. Это позволяет мне поразмыслить. Тем для размышлений у меня много.

Мне приходит на ум, что Ракоши, вероятно, требует отчет об этой прошедшей ночи. Может быть, пошлет телеграмму Сталину. Рисую себе, как лихорадочно сейчас работают в возглавляемом Кадаром Министерстве внутренних дел, какое оживление царит в Министерстве юстиции, где распоряжается Иштван Риес, и какие новые указания и полномочия по отношению ко мне получает Габор Петер со своими подручными. На меня, беснуясь, надвигается красный тоталитаризм и я чувствую, как растлевающая сила большевизма пронизывает мою душу, мое тело, мою нервную систему и мои кости. Они готовят показательный процесс, на который с крайним напряжением будет взирать весь мир. Поэтому не надо ждать ни передышки, ни пощады. И мне, и им предстоит пройти по своему пути до конца.

Близится полдень. Спрашивают, что принести на обед. Коротко отвечаю, что мне это безразлично. Явно

ломаю комедию, они утверждают, что принесут, мол, обед из ресторана. Я им, конечно, не верю; наоборот, я не сомневаюсь в том, что они предложат мне еду, приготовленную на улице Андраши, подмешав к ней дурманные, ломающие волю средства. Мне давно известно, какими способами здесь заставляют сломиться даже очень сильных людей. Общественность уже знала тогда, что применяются фармацевтические средства двух видов: одними пользуются, чтобы развязать язык подследственного, а другими, — чтобы ввергнуть его в состояние полного безразличия. Зная всё это и подозревая их в таких же намерениях по отношению к себе, я вначале почти не прикасаюсь к еде.

Первый мой обед состоит из супа, куска мяса, овощей. Съедаю лишь ничтожную часть, так как на опыте прошедшей ночи заключаю, что меня будут «препарировать» для допросов и показательного суда. Никаких сомнений в этом у меня не остается, когда совершенно неожиданно, без предварительного сообщения об этом, ко мне являются трое врачей. После обеда они входят в мою камеру и, не представившись, начинают меня исследовать. Прощупывают подвергшуюся ранее операции щитовидную железу, проверяют глаза, выслушивают сердце, легкие, пульс, измеряют давление. Руководит осмотром серьезного вида пожилой человек, лет 55 или 60. Оба младших, которым лет по 35, с почтительной внимательностью исполняют его указания.

Врачи уходят, оставив медикаменты, которыми в дальнейшем распоряжается охрана, следя за тем, чтобы я принимал их в предписанной дозе. Вряд ли приходится сомневаться в том, что охрана имела на этот счет соответствующие указания. Я же старался уничтожить даваемые мне таблетки. В большинстве случаев мне удавалось просто растереть их между пальцами и высыпать на остатки еды. Если же охранник оказывался прямо передо мной, то я клал таблетку

в рот, но почти не пил при этом воды, что позволяло мне не проглотить лекарство. Потом я его незаметно выплевывал. Если к тому времени остатки еды уносились, то я прятал лекарство в ботинки.

Впоследствии я, конечно, сам почувствовал, что вынужден что-то есть, и им, таким образом, все-таки удалось подвергнуть меня воздействию фармацевтических средств, подмешанных к еде. Об этом я мог заключить хотя бы из того, что врачи, которых неизменно бывало трое, являлись ко мне каждый день либо непосредственно во время еды, или же сразу после. Но бывали дни, когда они подвергали меня осмотру еще и в промежутках между едой. Со мной они не разговаривали, вопросов мне не задавали и никаких указаний мне не делали. Но из их поведения было ясно, что они проверяют действие применяемых ими фармацевтических средств, а также определяют, до какой степени ко мне применимы избиения и физические пытки, не откажет ли сердце. Их задача заключалась в согласовании дозировки фармацевтических средств со степенью душевных и физических мучений, которым меня подвергали. Им необходимо было довести меня до состояния, позволяющего безбоязненно вести открытый показательный суд, перед толпой любопытных. Поэтому их так занимали последствия моей базедовой болезни и операции, ослабившей сердце.

После ухода врачей я ложусь на диван, но заснуть не могу. Слишком много шума кругом. На несколько мгновений закрываю глаза и дремлю. Но тут же появился комендант камеры и разбудил меня. Насильственная бессонница — тоже один из видов пытки, составная часть дьявольских махинаций, направленных на то, чтобы сломить волю обвиняемого. Охране строго приказано не давать заключенным ни отдыха, ни сна.

Вечером меня спрашивают, что бы я желал по-

лучить на ужин. Как и перед обедом, я отвечаю, что мне это безразлично. Мне опять говорят, что для меня еду якобы приносят из ресторана. В шесть часов подают миску с капустой и пару сосисок. Ем лишь немного, чем они, видимо, недовольны. Лекарства мне удается уничтожить до появления врачей. Как и в обед, они проводят свои обследования молча.

Затем в помещении наступает тишина, способствующая размышлениям, которая длится вплоть до начала нового допроса, то есть приблизительно до одиннадцати часов.

Обвинения — обвинительные материалы — опровержение

В эту ночь допрос опять начался в одиннадцать часов. Меня привели в тот же зал, что и накануне, и присутствовали при моем допросе всё те же лица.

Полковник Дечи внимательно оглядел меня. После этого он сухим, бесцветным голосом огласил заготовленный протокол. В нем многословно излагались мои так называемые «признания», сводившиеся к следующим главным положениям:

1. заявление мною премьер-министру Золтану Тильди протеста против введения республиканского строя;

2. установление мною связи с Оттоном Габсбургским и осуществление встречи с ним летом 1947 года в Соединенных Штатах;

3. составление мною списка членов правительства будущего венгерского королевства;

4. установление мною связей с американским посольством в Будапеште с целью развязывания третьей мировой войны;

5. предотвращение мною возвращения в Венгрию короны святого Стефана, вызванное моим намерением короновать ею Оттона Габсбургского.

Было уже за полночь, когда Дечи закончил чтение «протокола». Он предложил мне подписать его. Я заявил, что не сделаю этого.

Дечи не пожелал даже выслушивать мои возражения. Он подал знак майору. Меня отвели обратно в камеру и заставили раздеться, чтобы вновь могла вступить в действие резиновая дубинка. Так же, как и в предыдущую ночь, издевательский хохот охранников побуждал бесчеловечных мучителей к нанесению жестоких ударов по особо чувствительным местам. Я потерял сознание. После того как я пришел в себя после этих мучений, натянул на себя белье и предоставленный мне шутовский костюм, меня вновь отвели к Дечи. Изрыгая проклятия, он вновь потребовал моей подписи: ему нужно мое признание, точно соответствующее заданным мне вопросам. Вновь повторился уже установившийся ритуал: мой отказ подписать протокол увод в камеру, избиение, на рассвете — возвращение в кабинет следствия, новый разговор с изрыгающим проклятия и настаивающим на своем Дечи. И вторая ночь не дала ему желаемого.

Будни без перемен

Наконец меня отвели назад в мою прокуренную, непроветренную комнату, положили, поскольку я сам был совершенно без сил, на мой продавленный диван и повернули лицом к стене. И тут я заметил на спинке дивана маленький стаканчик вина. Значит, в этом месте мучений и ужасов нашелся человек, который понял, каким утешением для находящегося здесь священнослужителя может оказаться совершение святой литургии. От принесенного мне на завтрак хлеба я отломил кусок и спрятал. Когда охранники ушли, оставив меня одного, я перелил половину вина в мой стакан для воды, произнес над хлебом и вином слова молитвы о пресуществлении и причастился. Таким

образом, мне удалось совершить литургию дважды. Потом никто мне вина не ставил. На третье утро опять появился «партизан». Он обшарил все помещение и унес как стаканчик из-под вина, так и стакан для воды. Быть может, они рассчитывали на то, что я сам попрошу о возможности совершать литургию. Но я остерегался этого и так и не попросил об этом в течение всех 39 суток, проведенных в этом помещении, так как мне было ясно, что мне пойдут навстречу только в том случае, если я в порядке «благодарности» соглашусь подписать протокол.

Распорядок дня оставался всё тем же. Я не спал вот уже 48 часов. Как только я опускал веки, являлся молодчик из охраны и тряс меня, чтобы я не спал. После обеда явился полковник Дечи и стал «жаловаться», что я не иду ему навстречу. Ведь моё дело почти целиком в его руках. Я ему ответил, что не намерен просить ни о каких поблажках, а ожидаю всего лишь корректного проведения следствия в соответствии с уголовным кодексом и процессуальными правилами. Я указал, что по закону я имею право требовать, чтобы на моих допросах присутствовал защитник, и сказал, что соответствующими полномочиями располагает доктор Йозеф Гро, адвокат, ведающий делами епархии. Я отметил также, что составлять обвинительный акт может лишь прокурор, но тоже не на основании пустого подозрения, а лишь опираясь на требуемые законом доказательства. Если доказательств, как это было и в моем случае, не существует, то закон предписывает освобождение задержанного. Если же меня тем не менее решат оставить в заключении, то я требую немедленного перевода в обычную тюрьму, состоящую в ведении государственного прокурора.

Дечи только пожал плечами и хотел было идти. Но я заметил, что о положении дел я желал бы уведомить Габора Петера. Он не только не возразил про-

тив этого, но сразу же приказал двоим охранникам отвести меня в кабинет Габора Петера. Испытывая после избиения боль во всем теле, я с трудом спустился по лестнице вниз. Хозяин дома на улице Андраши сидел в своем просторном, хорошо обставленном кабинете за письменным столом. Он внимательно оглядел меня и после этого предложил сесть напротив себя. Приветливым тоном он спросил: «Как вы поживаете? Как вы себя чувствуете?» Я ответил: «Точно так, как поживает человек в ваших руках, ровно так, как он может себя у вас чувствовать». Он: «Вы очень уж неприятливы к нам и ваше поведение не свидетельствует о готовности примирения». Я: «Во всей Венгрии сейчас велеречиво трубят о правах и свободах граждан. Но в вашем доме об этом очевидно и не слышали. Здесь обвиняемого обрабатывают пинками ног и резиновыми дубинками, его лишают сна, его заставляют принимать фармацевтические средства, добиваются того, чтобы он подписывал протоколы, составленные до того, как состоялся допрос. Следователи подчеркивают, что признаваться следует не в том, что соответствовало бы действительности, а в том, что необходимо властям. Привлечение защитника не допускается». Габор Петер бросил на меня острый взгляд и сказал: «Мы с вами еще не то проделаем, если вы и далее будете упорствовать».

Я встал и вышел из его кабинета.

С тех пор, как разыгралась эта сцена, прошли годы, и теперь мне иногда кажется, что Дечи и Петер приняли было мое пожелание о личной встрече с начальником политической полиции как признак того, что моя способность здраво рассуждать уже сдала. Мое пожелание могло показаться им лишенным логики и противоречащим моему характеру и моему поведению на допросах: ведь должен же я был знать, что всё, что со мной делали, делали по приказу Петера. На самом же деле причиной того, что я высказал

пожелание лично поговорить с Габором Петером, было нечто близкое к скуке, к желанию испытать что-то новое, переутомленность однообразием следственного ритуала. Как Петер, так и Дьюла Дечи были, конечно, озлоблены тем, что я всё еще не был сломлен. Но это не помешало министру внутренних дел Яношу Када-ру на следующий же день передать в печать сообщение, будто собранный полицией обличительный материал принудил меня к признанию в том, что я участвовал в заговоре, был шпионом и занимался валютной спекуляцией, и что я якобы сломлен.

При одном из дальнейших допросов я этого коснулся и обратил внимание следователя на то, что газеты на меня клеветают. Дечи догадался, что мне об этом стало известно, потому что охранники так читали газеты, что заглядывать в них мог и я. После этого им запретили вообще читать газеты в моем присутствии.

Пытки заставляют сломиться любого заключенного. Часто это бывает уже через несколько дней. Я подписал предложенный мне протокол только через две недели, но протокол, в котором не было ни признания себя виновным в том, в чем меня обвиняли, ни выражения благодарности и признательности по адресу режима. Подобного заявления они не добились от меня и после 39 суток заключения. Но надо всё-таки сказать, что физические пытки ко мне применялись более сдержанно и осторожно, чем это делалось в отношении многих других заключенных. Меня они стремились сломить прежде всего психически, с тем, чтобы я мог бы сыграть предназначенную для меня роль на показательном процессе. Но враги мои не подумали, что ведь каждый должен будет себя спросить, почему же меня больше месяца продержали на улице Андраши, если я на самом деле под впечатлением предъявленных мне «улик» на второй день после ареста сломился и «во всем сознался».

Когда темнеет, мне приносят миску с ужином, к которому я почти не притрагиваюсь. Отламываю только кусочек хлеба и жую его. Как только вижу перед собой еду, по-прежнему думаю о том, какое притупляющее или ослабляющее волю средство они к ней подмешали. Если чувствую чуждый, подозрительный запах, то вовсе не прикасаюсь ни к супу, ни к овощам. Да и в дальнейшем я хлебал немного супа лишь в том случае, если он был прозрачен и чист и если на поверхности его тоже не было никакой подозрительной накипи. Но случалось, что из страха быть отравленным я оставлял нетронутым и мясной бульон, хотя я обычно его и съедал. Вспоминая об этом теперь, после многих лет, я не могу не улыбнуться при мысли о том, что ведь на улице Андраши бульон мог оказаться таким же препарированным, как и любой другой суп, любое другое блюдо.

Когда меня повели на четвертый ночной допрос, я не спал уже 72 часа. Декорации и действующие лица были всё те же. Опять меня начали обвинять в заговорщицкой деятельности и в шпионаже. Подобные обвинения так вдалбливались подследственному, что постепенно можно было и впрямь поверить, что он на самом деле затеял было заговор, ни о чем ином не помышляя, как только — поднять восстание, и всю свою жизнь посвятил одной цели: свержению республиканского порядка. Назывались совершенно неизвестные имена, дни и места каких-то встреч, о которых подследственному тоже ничего не было известно, так что он начинал чувствовать себя марионеткой, движения которой направлялись посредством нитей, сходящихся в руках полиции. В конце концов пленника так запутывали, что он сам начинал помогать далее развивать придуманную для него сказку, подробно описывать эпизоды, совершенные им бессмысленнейшие преступления, которые, казалось бы, ему и во

сне-то не могли присниться, и признаваться в которых он, конечно, не имел ни малейшего намерения.

Когда меня повели в кабинет следователя, я подумал о том, что надо отвечать на все вопросы как можно более спокойно, по-деловому. Но когда против меня выдвинули какое-то совсем уже бессмысленное обвинение, построенное на извращении фактов, я потерял терпение. Полковник заорал на меня: «Вы обязаны признаться в том, что мы от вас желаем услышать». Я: «Если вы здесь не считаетесь ни с какими фактами, если протоколы, допросы и обвинение — это всего лишь ширма, бессмысленная писанина и болтовня, то ни к чему вам и мое признание». За такое «оскорбительное» замечание меня сразу же передали в руки майора. Он увел меня. Вновь по моему обнаженному телу начала отбивать дробь резиновая дубинка, в то время как в коридоре раздавался привычный, сопровождающий эту процедуру издевательский хохот.

Приведя меня опять к следователю, ткнули мне протокол и завопили: «Подписывай!» — «Я подпишу только после того, как будут исправлены места, против которых я возражаю». — «Что вам еще не нравится?» — «Прочтем всё по порядку. Я тогда выскажу свои возражения». Действительно, они стали читать протокол вслух и в ряде мест согласились изменить формулировки или сделать перестановки в тексте. Но на поправки по существу дела они не соглашались. Ярость их разгоралась. Меня вновь подвергли избиению. Только с наступлением рассвета истязания были прерваны. Вероятно, полицейским, работавшим в дневной смене, не следовало знать, что здесь происходило ночью.

Этот новый день не принес с собой изменения обстановки. Похабные разговоры, грубый хохот, раздражающий дым наполняли помещение. При осмотре врач сделал подчеркнуто озабоченное лицо, но ничего

не сказал. После обеда появился у меня старший лейтенант из числа следователей, принес мне винограда. Я не хотел его принимать, но он поставил виноград на стол и попросил меня сделать хотя бы частичное признание. Он мне заявил, что испытывает страдания от того, что ему приходится участвовать в следствии по моему делу, что он якобы — религиозный человек, что у него большая семья, что он вынужден дорожить своим местом, но что его наверняка выгонят со службы, если следствие из-за моего упорства ни к чему не приведет. Я сказал ему, что, к сожалению, ничем не могу облегчить его положения.

Всё это, очевидно, было инсценировано, потому что вскоре после этого Дечи прислал ко мне другого следователя, который поведал, что мой секретарь и профессор Бараньяи якобы дали показания против меня и что поэтому дальнейшее отрицание мною своей вины бессмысленно. Мне прочли их показания и предъявили собственноручные подписи того и другого. Я принял это к сведению, но ответа никакого не дал. Посланец полковника Дечи ушел.

К порядку дня неизменно относятся как ночные допросы, так и препровождение дня в полудремотном состоянии в прокуренном помещении в присутствии пятерых шумных охранников. Но бывают и вариации, когда сменяют друг друга ведущие допрос утомленные следователи. Даже Дечи уступил свое кресло главного следователя майору. В течение двух ночей подряд я оказался один на один с моим истязателем, который теперь, в перерывах между избиениями, допытывался, кто были мои «сообщники». Допросы, которые я помню хорошо, относятся к первым двум неделям моего заключения. Я еще отдавал себе отчет в том, что вокруг меня и со мною делалось, и сознательно противился всякому воздействию на себя. Я сознавал, как глубока пропасть между мною и моими

мучителями. Я не испытывал ненависти к ним, но испытывал при виде их содрогание, желание оттолкнуть их от себя. Я направлял свои взоры поверх их голов и тем самым показывал им, до чего презренной я считаю ту низость, с которой они пытаются осуществить выработанный в Москве план, направленный против венгерского народа и против католической Церкви. Но то, что было после этих двух первых недель следствия, сохранилось в моей памяти лишь частично и только расплывчато.

Уничтожение личности

Ночные допросы выматывали и следователей. Поэтому их часто стали сменять. Только я сам, майор и его резиновая дубинка неизменно фигурировали каждую ночь. Моя физическая сопротивляемость заметно уменьшалась. Я начинал беспокоиться о своем здоровье и за свою жизнь. У меня стали появляться кошмары; мне казалось, что стены покрыты быстро вращающимися ярко раскрашенными обручами, кружающимися также и в самой комнате. Базедова болезнь, лет за десять до этого приостановленная операцией, вновь начинала давать о себе знать. Сердце слабело, меня охватывало чувство полной покинутости всеми и сознание своей совершенной незащитности. Порой я целый день только и размышлял: «Неужели нет никакого выхода, нет никакой защиты?»

Несмотря на свое состояние притупленности, я воспринимал вопли, доносившиеся до меня из других камер с разных сторон. Но моя апатия уже доходила до того, что я переставал обращать на них какое-либо внимание. По-прежнему я почти ничего не ел, опасаясь подмешанных фармацевтических средств, которые бы окончательно сломили мои душевные силы. После еды меня по-прежнему осматривало трое тюремных врачей. Хотя от них никак не могло укрыться

мое плачевное физическое состояние, они за все 39 суток моего пребывания в следственном изоляторе ни разу не распорядились о том, чтобы меня вывели на прогулку или дали бы мне хоть несколько минут подышать свежим воздухом.

Меня начинал давить особый, не испытанный мною до этого страх. Я мучительно боялся за Церковь, дрожал от мысли, что я своим собственным «делом» причинил несчастье и страдание многим другим. Это мучительное состояние постоянного страха вряд ли могло у меня возникнуть без какого-то фармацевтического воздействия. Они достигли того, что панический ужас всё больше начал определять мои действия и решения.

Как-то мрачным январским вечером палачи вновь потащили меня в подвальное помещение. Меня ввели в полутемный зал. В театральных позах ожидали меня там Габор Петер и Дьюла Дечи. Вдоль одной из стен были выстроены как бы кающиеся грешники — небритые и внешне опустившиеся, арестованные еще до меня сотрудники моей курии, мой архивариус, мой секретарь, мой бухгалтер. Нетрудно было догадаться, что пришлось пережить этим священникам — ясно, что обращение с ними было не менее, а скорее более жестоким, чем со мной.

Габор Петер уселся на возвышении и дал им знак рукой, после чего мой секретарь в течение десяти минут читал наизусть заученный им текст. Его поза выражала совершенно непривычную для него неловкость, голос его прерывался и он содрогался от нервной дрожи. Смысл его выступления сводился к тому, что всякое сопротивление лишено смысла, что следовательно всё знают, что в их руках — сила, и что они не преминут этой силой до конца воспользоваться. После этого мой секретарь обратился ко мне с просьбой дать все требуемые властями показания и ответить на все их вопросы.

Я подумал: «Бедный мой секретарь, какие мучения они тебе должны были причинить, прежде чем ты согласился взять на себя такую роль!» Было ясно, что он высказал не свои мысли, а то, что ему было продиктовано при помощи резиновой дубинки или еще более страшных средств воздействия. Но я ничем не проявил своих чувств, а лишь молча с состраданием посмотрел на этого своего сотрудника и на других. После этого меня отвели в мою камеру. На столе появилась жестяная миска с ужином, как всегда, бывали у меня врачи. Оставалось еще немного времени, чтобы поразмыслить над тем, что до сих пор произошло, и о том, что стояло за всем этим, — о физических и душевных страданиях моих священников.

Вскоре за мной явились и повели меня на очередной допрос. Дечи сразу же начал с угрозы: «Если вы попытаетесь вести себя так, как вчера, резиновая дубинка заставит вас заговорить». Несмотря на это, я молчал, вследствие чего в эту ночь до рассвета я был подвержен двукратному избиению.

В последующие ночи допросов вообще больше не было. Мною занимался только палач. Меня приводили в большое пустое помещение, где кроме него и меня никого не было. Кругом царил полная тишина. Быть может, кто-нибудь и слушал за дверью, но открыто не давал о себе знать. После того как майор заставил меня раздеться, он нагло встал передо мной и задал вопрос: «Кто составил «Программу идейно-политического единения»? Этот вопрос был нов и застал меня врасплох. Я подумал, что он подкапывается теперь под благочинного Паля Божика. Чтобы не повредить ему, я промолчал. То, что сделал Божик, в любом демократическом государстве не только разрешено, но и рассматривается как долг перед Церковью, родиной и народом. Майор рассвирепел, взвыл, схватил орудия пытки. В одной руке у него была дубинка, в другой — длинный, острый нож. И он погнал меня, как дрес-

сировщик гоняет лошадей в цирке, то рысью, то галопом. То и дело он бил меня по спине резиновой дубинкой. Временами он выбивал по мне беспрерывную дробь. Потом мы остановились и он начал примитивно и грубо угрожать мне: «Я тебе убью, разорву на кусочки и дам их на съедение псам или выброшу в водосточный канал. Теперь мы — господа». После этого он опять заставил меня бегать. Несмотря на нехватку дыхания, несмотря на то, что босые ноги мне кололи стружки, которыми был посыпан пол, я бежал, сколько было мочи, чтобы уйти от его ударов.

Только около двух часов ночи палач сообразил, что этот метод допроса, хотя и причиняет мне большие мучения и даже может физически совершенно меня сломить, всё же не может привести к желаемому результату: заставить меня сделать нужные ему «признания» и предать других арестованных. Когда меня арестовывали и уводили из архиепископского дворца, этот майор видел, с какой болью прощалась со мной моя мать. Очевидно, он вспомнил теперь эту сцену и закричал: «Если ты не сознаешься, я к утру доставлю сюда твою мать. Покажу ей тебя нагишом. Пусть ее хватит удар. Так ей и надо, ничего другого она и не заслужила, породив тебя на свет. А ты станешь тогда ее убийцей». Вновь заработала резиновая дубинка, вновь я начал бегать по кругу, вновь я молчал. От боли и страха я сначала поверил, что он осуществит угрозу. Было страшно подумать, что мне придется увидеть мать при таких обстоятельствах. Но постепенно я начал понимать, что доставить ее сюда до рассвета совершенно невозможно. До деревни Миндсент было не менее двухсот километров. Это меня немного успокоило, но мучения меня совершенно вымотали. Тот, кто помнил, как я выглядел еще за месяц до этого, меня бы после всех этих беспрерывных пыток просто не узнал. Итак, на другой день я почувствовал себя настолько душевно сломленным,

что решил все-таки дать некоторые показания. И когда мне вновь поставили соответствующий вопрос о «соучастниках», я назвал имена троих. Я знал, что двое из них умерли, а третий бежал за границу. Сдержанно и как бы нехотя назвал я эти фамилии, надеясь, что пройдет по крайней мере неделя, прежде чем им удастся выяснить, что названные мною лица никакому допросу подвержены быть не могут. Правда, майор проявил было бурную радость, но мой «обман» был раскрыт очень быстро и следующая ночь принесла мне такие же страдания, как и все предыдущие. Когда мне впоследствии где-либо, а особенно в каторжной тюрьме, приходилось наступить на какой-нибудь гвоздь или на стружку, я сразу же вспоминал эти ночи мучительного бега и погони за мной моего палача.

Мои усилия защитить благочинного Паля Божика оказались напрасными. Позже, в тюремной больнице, мне дали прочесть книгу о суде над архиепископом Калочским, из которой я узнал, что к суду над архиепископом Грёсом был привлечен и Божик, которого приговорили к суровому наказанию. Впоследствии, уже после моего освобождения, я узнал, что он скончался в тюрьме при доселе невыясненных обстоятельствах. Я всегда относился к этому человеку, верному своим убеждениям, с глубоким уважением.

В конце концов полицейские все же добились своего и заставили меня подписать заведомо грубое искажение истины. Хотя я и был сломлен физически, я еще сопротивлялся. Но сил для борьбы у меня уже не было. От мысли о предстоящем избиении резиновой дубинкой я заранее содрогался. В конце концов я подписал. Подписал с применением небольшой хитрости, к которой некогда прибегали венгры, захваченные в плен турками: после своей подписи я поставил две латинские буквы — C. F. — что значит *coactus feci*, то есть «сделал по принуждению», «подписал, подчи-

няясь насилию». «Что это значит: Йозеф Миндсенти С. Ф.?» — недоверчиво спросил полковник. Я ему ответил, что это — сокращение слов *cardinalis foraneus*, то есть — обозначение провинциального кардинала, в отличие от куриального*. Он успокоился было, обрадовался даже, что наконец добился от меня подписи и велел отвести меня в мою камеру. У него было, чему радоваться. Наверняка он получил от начальства уже не один выговор за то, что не мог от меня ничего добиться, не исключено, что недовольство этим успели уже высказать и Ракоши, и Сталин. Но дело обернулось для меня печально. Следующей ночью полковник в сопровождении пятерых молодчиков ворвался ко мне в камеру. Они начали меня избивать кто кулаками, а кто подшивками документов. «Скотина! — ревел на меня полковник, — думал нас обмануть! Ни перед подписью, ни после подписи не смей ничего добавлять. Ты не кардинал, не архиепископ больше, а всего лишь каторжанин».

Это — последнее происшествие данного периода заключения, сохранившееся в моей памяти со всеми подробностями. Что было позже, после окончания второй недели, то есть между 10 и 24 января 1949 года, память сохранила только отрывочно. Многие только тогда вспомнилось, когда мне пришлось познакомиться с «Желтой книгой» и «Черной книгой». Я допускаю, что в течение второго периода моего заключения меня, быть может, меньше избивали, но более интенсивно обрабатывали фармацевтическими средствами. Слишком уж регулярно являлись врачи, проверявшие мое состояние здоровья. Моя способность оказывать сопротивление заметно понижалась. Я потерял способность чётко аргументировать, перестал отвергать даже самые грубые поклепы и ложь, иногда я даже сдавал-

* Постоянно находящегося при папской курии в Риме.
— Прим. перев.

ся со словами: «Об этом не стоит более говорить, возможно, дело так и обстоит, как это утверждают другие». Так я отвечал обычно в тех случаях, если мне читали отрывки из «протоколов следствия» моих «сообщников» и привлеченных по делу «свидетелей». Я начал подписывать бумаги, не перечитывая их, полагаясь на то, что в них были внесены требуемые мною поправки. Я не соображал, что протоколы печатались в нескольких экземплярах и что на подпись мне давали не те варианты дат и событий, о которых шла речь в экземплярах, которые они мне читали вслух. Я уже был не в силах всё перечитывать еще раз перед тем, как подписать протокол. Я был настолько переутомлен, мне всё настолько опротивело, что я уже не заботился о том, чтобы протоколы во всем соответствовали моим показаниям. Вероятно, они уже добились того, что я как бы превратился в другого человека.

Документы

Впоследствии, много лет спустя, в американском посольстве мне попала в руки так называемая «Желтая книга» с подзаголовками: «Документы по уголовному делу Миндсенти». Большое удивление вызвали у меня опубликованные там протоколы допросов. Еще больше я поразился, ознакомившись с текстом своего «собственноручного признания». Я подумал, что каждый читатель поймет, что всё это — неумело сфабрикованные подделки. Но после ознакомления с выходящими на Западе книгами, газетами и журналами, которые писали о моем деле и высказывались о моем «признании», мне стало ясно, что общественность поверила, что это «признание» на самом деле было написано мною самим, хотя бы даже и в полусознательном состоянии, хотя бы и под воздействием так называемой промывки мозгов. Разбавившие этот документ именно этим и объясняли наличие в нем такого коли-

чества орфографических ошибок и диких формулировок. Они считались с тем, что полицейские эксперты могли внести те или иные изменения в текст, но не могли допустить, чтобы полиция опубликовала в «Желтой книге» документ, целиком ею подделанный. «Желтая книга» вышла в середине января 1949 года, то есть на третью неделю моего заключения и проводимого следствия. В предыдущей главе я описал свое тогдашнее душевное и физическое состояние. Конечно, меня сломили, но все-таки не довели до такого состояния, чтобы я согласился сочинить подобное «признание» или написать его своей рукой под их диктовку. Я соглашался подписать — после внесения в них известных поправок — документы, которых я в нормальном состоянии никогда бы не подписал, но даже во время второго периода следствия мне еще удавалось настоять на изъятии из протокола безусловной лжи и подделок, даже таких, которые были куда менее значительны, чем фигурирующие в «признании». И если после избития резиновой дубинкой я в состоянии сниженной вменяемости и дал бы свое согласие написать «признание» под их диктовку, то ведь у меня в такой момент не могло быть физических сил, чтобы это на самом деле осуществить. Я в такие моменты не только ничего не мог бы написать, но и не был в состоянии сосредоточиться на какой бы то ни было мысли. В своей памяти я не могу обнаружить ничего, что свидетельствовало бы о том, что я действительно участвовал в написании подобного документа. Это — несомненная подделка полиции и имеющих в ее распоряжении экспертов-графологов. Работать им приходилось наспех, в нервной обстановке и потому — не обращая внимания на тонкости. Несомненно, их торопило начальство, для чего у меня тоже имеются данные. Впоследствии мы как-то обсуждали этот вопрос в американском посольстве, и один из сотрудников посольства, который в таких вопросах разби-

рался, подтвердил, что это была подделка. Чета по фамилии Шульнер в июле 1950 года опубликовала соответствующую серию статей в газете «Нью-Йорк геральд трибюн». Статьи эти стали известны и в Будапеште, потому что американское посольство в своей библиотеке в Буде предоставляло желающим возможность читать эту газету. Особенно по воскресеньям жители столицы толпами являлись туда, чтобы без помех со стороны венгерской цензуры узнать, что со мной и как я себя держу. Данные номера газеты вскоре зачитали до дыр. Приходили, чтобы хотя бы посмотреть на фотографии. Если же кто-нибудь достаточно понимал английский язык и начинал переводить вслух, то вокруг него сразу же возникал большой круг слушателей. Через некоторое время Ракоши обратил внимание на этот приток посетителей в посольскую библиотеку и понял, в чем дело. Он объявил посольству, что оно не пользуется правом иметь собственную публичную библиотеку, так что этот источник информации вскоре пришлось закрыть, в частности и потому, что посещение библиотеки становилось опасным для граждан.

Статьи, опубликованные в «Нью-Йорк геральд трибюн», я читал сам. В них сообщалось, что в Будапеште существовало бюро графологической экспертизы, которое принадлежало некоей Ханне Фишоф, а при этом бюро была лаборатория. Ханна Фишоф унаследовала дело от своего отца. После смерти отца она вышла замуж за некоего Ласло Шульнера. Ее отец сконструировал аппарат, при помощи которого можно было из рукописи заимствовать буквы, слова, части слов или предложений, их вновь составлять по своему усмотрению в нечто цельное и так фабриковать новые якобы рукописные материалы. Шульнер стал работать на этом аппарате и научился изготавливать бумаги, которые даже экспертами признавались за подлинные. Даже лицо, чью рукопись при этом использовали,

могло догадаться о подделке только по наличию в новом тексте непривычных для него оборотов.

В сентябре 1948 года Шульнер выступил в Будапеште с докладом для экспертов, среди которых были и сотрудники полиции, рассказав им о разработанном его тестем методе и о так называемом аппарате Фишофа. Через несколько дней после этого в лабораторию Шульнера явились двое офицеров политической полиции с улицы Андраши. Направил их туда Йожеф Саберски, адъютант Петера. Они привезли с собой документы на экспертизу. Один из них якобы был написан обвиненным по моему делу Юстином Бараньяи и представлял собой список лиц, которых я после переворота намеревался-де сделать министрами. Шульнер сразу же установил, что это была подделка. В ходе дальнейшего разговора он сказал, что при помощи своего аппарата сумел бы подделать такой документ гораздо лучше. Ему предложили доказать это. Результаты вполне удовлетворили посетителей, и в сентябре 1948 года он изготовил для них еще один высококачественный «документ», составленный почерком Бараньяи. 30 декабря газеты впервые сообщили о том, будто я под влиянием представленных мне улик во всем признался. Шульнер, к своему удивлению, должен был убедиться в том, что изготовленная им фальшивка фигурировала в качестве одной из этих «улик».

Я всё еще находился под следствием, когда 4 января 1949 года к Шульнеру опять явились офицеры полиции, которые привезли ему несколько связок изъятых у меня при обыске бумаг и потребовали от него, чтобы он при их помощи изготовил якобы написанное мною от руки «признание» согласно привезенному ими напечатанному на машинке тексту. Шульнер испугался, осознав, куда его завело его искусство, пробовал отказаться, но когда ему пригрозили «ликвидацией», согласился выполнить такое задание.

В своих статьях, опубликованных в «Нью-Йорк геральд трибюн», Шульнер признался далее, что и воспроизведенный в «Желтой книге» «документ», касающийся вопроса о земельной реформе, тоже — выполненный им по заданию подделка. Содержание этого «документа» показывает, какими средствами они пытались возбудить против меня крестьян.

Чета Шульнеров призналась еще и в том, что ей пришлось в то же самое время и на материалы, отпечатанные на машинке, наносить поддельные «приписки и примечания, сделанные рукой кардинала». Тем самым «доказывалось», что я действительно имел в руках эти фальшивые документы, читал и изучал их. А речь в них шла о шпионаже и заговоре.

Муж и жена-графологи отмечают в своих статьях, что чиновники понуждали их ко всё более поспешной работе. Шульнеры же привыкли работать тщательно и точно, а это требовало времени. Чтобы ускорить дело, работники полиции сами пытались создавать фальшивые бумаги по методу Шульнеров. Комиссар Саберски даже приказал перенести всё их бюро со всем оборудованием в помещение полиции. Все задания приходилось выполнять прямо на месте, там. Было условлено, что аппарат Фишофа в течение двух недель каждого месяца будет находиться в распоряжении полиции. Таким образом, подделка документов была поставлена на широкую ногу и люди, оказавшиеся в безвыходном положении, вынуждены были работать круглые сутки. Как в лаборатории, перенесенной на улицу Андраши, так и в остатках частной лаборатории Шульнера всё время находились офицеры полиции, доставлявшие туда указания и тексты будущих «документов», дополнявшие их и приводившие их в соответствие с другими документами или приспособлявшие их ко всё новым и новым выдумкам режиссеров готовившегося судебного процесса. Часто изготовленные с большой затратой сил и времени

«документы» неожиданно приходилось заменять новыми, переработанными. Аппаратом вместе с Шульнером, а иногда и без его ведома, пользовались люди, не обладавшие необходимой профессиональной подготовкой, не имеющие никакого отношения к графологии. В результате подобного вмешательства и возникали произведения, совершенно поразительные с точки зрения литературной формы и правописания — такие, как и мое «признание».

6 февраля 1949 года чете Шульнеров удалось бежать за границу. На основании взятых ими с собой микрофильмов Шульнеры могли доказать, что сделанные ими обо всем этом показания соответствуют действительности. В венгерской печати поднялся шум и прошел слух, что Ласло Шульнер погиб при неизвестных обстоятельствах, пав жертвой мести полиции.

Итак, на «документах» подобного рода строилось обвинение. На основании такого рода «улик» меня и приговорили к пожизненному заключению.

Приготовления к показательному судебному процессу

Как уже было отмечено выше, я после первых четырех недель заключения пребывал в состоянии дурмана. В прошлом я несколько раз подвергался операциям под наркозом. И свое состояние к концу моего пребывания на улице Андраши на заключительной фазе следствия я могу сравнить с тем состоянием смятения и дурмана, в котором я пребывал каждый раз непосредственно после прекращения действия наркотика, очнувшись после операции. Мне казалось, что у меня вовсе исчез спинной хребет и другие существенные части моего тела. Подвергали ли меня в те дни побоям или нет, я сказать не могу.

Только о последних двух днях этого периода, о 1 и 2 февраля 1949 года, я могу с уверенностью сказать,

что меня никаким пыткам больше не подвергали. Очевидно, так было решено в связи с тем, что 3 февраля было назначено начало процесса перед народным судом. Вероятно, не подмешивали больше и дурманных средств. Но врачи являлись, как и прежде, и продолжали меня обследовать. Мне даже казалось, что они держали себя более напряженно и более тщательно меня осматривали. Вероятно, они отвечали за то, чтобы я не свалился с ног физически. Ведь, небось, и Сталин и Ракоши желали, чтобы я свою роль в составленной ими пьесе сыграл до конца — испив чашу унижения до полного предела. Этим, вероятно, только и можно объяснить, что я смог в конце концов покинуть дом на улице Андраши живым и даже без неизлечимых последствий для своего здоровья. Но и по сей день, по прошествии четверти века, я иногда испытываю болезненные спазмы, схватывающие всё тело, унаследованные мною от тех дней, исполненных мучениями.

Прочитав «Черную книгу», посвященную судебному процессу над мной, я начинаю вновь припоминать следующее:

23 января 1949 года. Один из членов следственной комиссии, старший лейтенант, явился ко мне в камеру, подсел ко мне, представился как добрый католик и заявил, что он непоколебим в своей вере и в своих христианских убеждениях. Только из опасений за свою судьбу и за судьбу своей семьи ему еще приходится оставаться в обществе всех этих мрачных людей на улице Андраши и участвовать в допросах. Мне он сочувствует и испытывает особое беспокойство от того, что по ходу следствия понял, что мне грозит не какое-нибудь тюремное заключение в четыре или пять лет, а стоит вопрос о жизни и смерти. Поэтому он-де в течение последних дней всё только и думает, как меня спасти, тем более, что его начальник, полковник Дечи, причинил ему много зла и унижений.

Всё это старший лейтенант рассказывал мне тоном честного человека. На меня это произвело впечатление. Я был доведен до такого состояния, что поверил в его сочувствие и почерпнул в этом какую-то надежду. В свете этой надежды он мне даже показался симпатичным. Я начал думать — а не он ли мне как-то поставил вино для совершения литургии? Ведь принес же он мне как-то гроздь винограда; во время допросов он себя держал менее грубо, чем другие, а когда они меня раз избивали все вместе — разве не были его удары слабее, чем удары остальных? И вот, мне показалось, что его сочувствие ко мне — не игра. Это подавило во мне всякое чувство осторожности. Поэтому я спросил его: «Можете ли вы дать мне честное слово, что вы меня не обманываете?». Он встал и торжественно заверил меня в этом честным словом офицера. Он даже вручил мне свою визитную карточку, согласно которой его звали Ласло Ямбором. Потом он опять подсел ко мне и начал объяснять свой план. Это выглядело так: я должен был бежать за границу на том же самом американском самолете, на котором меня некогда возили в Рим. Он сам был готов бежать со мной. Он мне советовал как можно скорее снестись с американским посланником и для этой цели написать ему письмо. Мой гость принес с собой бумагу и помог мне составить соответствующий текст письма. В настоящее время я уже не могу сказать, идентичен ли был этот текст тому, который потом был опубликован на 97 странице «Черной книги». Старший лейтенант взял письмо. Уже на следующий день он опять пришел ко мне и сказал, что американцы согласились мою просьбу выполнить, хотя они, по его словам, и высказали свое неодобрение тому, что я не соглашался принять помощь их посольства ранее. Он сам выразил мнение, что лучше бы было, если бы я бежал, не дожидаясь ареста, а теперь, мол, не так легко справиться со всеми препятствиями к побегу. Но он тем

не менее сделает всё от него зависящее для того, чтобы я менее чем через двое суток мог ступить на свободную землю. Он обещал найти подходящее место, где самолет мог бы меня принять на борт. Из здания же на улице Андраши мы вместе выйдем незаметно и отправимся туда на такси. Честью офицера он заверял меня, что план его обязательно удастся.

При ночных допросах последующих нескольких суток моего офицера больше не было. Но в один прекрасный день он вновь появился у меня в камере в полной офицерской форме. Он оправдывался, говоря, что ничего не мог предпринять, так как его совершенно неожиданно отправили с какой-то полицейской частью на границу. Теперь он вернулся и пришел мне сообщить, что контакты с американцами, которые нам должны помочь, он вот-вот установит.

Вскоре после этого выяснилось, что весь план побега выдумал вовсе не этот «верующий и сочувственно настроенный» офицер, а режиссеры готовившегося против меня процесса. Описываю я этот эпизод только для того, чтобы показать читателю, в какие махинации можно завлечь человека, находящегося полностью во власти аппарата улицы Андраши.

«План побега» должен был сыграть существенную роль на самом процессе. Сначала мой казенный защитник ханжеским тоном заявил о том, что я-де каюсь во всех своих грехах и обещаю исправиться, и что он поэтому просит народный суд, принимая во внимание мое сожаление о содеянном, не подвергать меня всей строгости закона, а ограничиться мягким наказанием. А после этого выступил прокурор и указал, что наличие плана побега свидетельствует о том, что я вовсе ни в чем не раскаялся, а наоборот, остаюсь при своих преступных намерениях.

Здесь следует рассказать о том, что в четвертую неделю моего заключения мне предложили найти себе защитника. Защитника я себе требовал с самого

начала и хотел поручить свою защиту своему другу, адвокату Йожефу Гро. Но оказалось, что его самого тоже арестовали. Тогда я попросил поручить мою защиту председателю коллегии адвокатов. На это полковник Дечи мне сообщил, что тот якобы отказывается меня защищать. Впоследствии я узнал, что моя мать обратилась с просьбой взять на себя мою защиту к Эндре Фаркашу, известному будапештскому адвокату. Но на протяжении всего следствия ему отказывали в доступе ко мне. По прошествии трех недель Дечи, наконец, согласился на то, чтобы я взял себе адвоката, и сам предложил мне пригласить доктора Кальмана Кицко. «Поступайте, как хотите», ответил я ему тогда, находясь уже в совершенно сломленном состоянии духа, и подписал соответствующий формуляр с полномочиями. Это было около 20 января. Но ко мне адвокат явился только в конце месяца, когда вопросы были окончены. Мне он знаком не был, но впоследствии я узнал, что он играл какую-то значительную роль во время первого захвата власти в Венгрии коммунистами. Это показывает, на чьей стороне он был. С таким вот «защитником» я и оказался лицом к лицу в одном из кабинетов на первом этаже тюрьмы. Присутствовал надзиратель. Разговор продолжался около четверти часа. Кальман Кицко рассказал мне, что он родом из Семиградия, что был он в Коложваре* мировым судьей, что теперь работает в Будапеште адвокатом и что его хорошо знают монахи-цистерцианцы в Зирце. Этим он, вероятно, хотел показать, что он — венгерский патриот и добрый христианин.

Со своей стороны, я рассказал ему о ночных допросах, о том, как от меня вымогали подпись под заранее составленными протоколами, как меня мучили резиновой дубинкой и о том, как меня лишали сна. На это он немедленно заявил: «Если вы намерены на суде

* Город Клуж в Румынии. — Прим. перев.

говорить о подобных вещах, то я отказываюсь вас защищать. Ведь вы ничего этого не сможете доказать. Ваше положение станет еще более тяжелым. Если ставить себе целью добиться более мягкого приговора, то о таких происшествиях надо молчать. Это будет умнее». Было ясно, что и защитник обязан был подчиняться режиссуре показательного процесса и что функция его сводилась прежде всего к защите интересов властей. Полагаю, что Кицко моих протоколов не читал и даже не видел. Скорее всего, ему просто велели заучить составленную для него роль. Да и невозможно было бы внимательно ознакомиться с моим делом в столь короткое время.

В те дни нанес мне «визит» и сам полковник Дечи. Он высказал мнение, что меня приговорят самое большее к четырем-пяти годам лишения свободы. Он намекнул, что может позволить себе такое суждение, так как между органами юстиции и полицией — отношения самые лучшие. Но в то же время он выразил и опасения за мою судьбу, сказав, что прокурор будет действовать по указанию партии и что это — фактор, действия которого не поддаются надежному прогнозу. Я сам-де себе навредил тем, что так упорно сопротивлялся «примирению между Церковью и государством». Если же я теперь согласился бы на сотрудничество, то полиция, быть может, могла бы добиться облегчения моей участи. «Не забывайте, — поучал он меня, — что и Ватикан лишит вас вашей должности, если только суд склонится на сторону обвинения и вас осудит. Ведь написано же святым Павлом, что епископу надлежит быть мужу непорочну».

Я слушал всё это со спокойствием и ничего не возражал. Было мгновение, когда я почувствовал, что предо мной — сам великий искушитель. Мне даже показалось, что над головой Дечи заиграли пестрые огни в какой-то раме. Это явление продолжалось минуты две-три. Потом этот феномен не раз повторялся во

время моего пребывания сначала в тюрьме, а потом в больнице. Дечи покинул меня, не получив никакого ответа.

Чуть ли не на следующий же день после этого меня повели к Габору Петеру.

Генерал принял меня чуть ли не сердечно и сделал мне только упрек в мягкой форме. Он заметил, что я к нему отношусь отрицательно и даже не считаю его достойным своего взгляда. Он же относится ко мне благожелательно и добивается добра для меня. Он просит меня принять это к сведению теперь, когда нам предстоит разлука. Он желал бы, чтобы разлука эта произошла под знаком примирения. Я четко улавливал притворство и угрозу, скрытую в его словах. Он продолжал: «Не забывайте — ваша судьба в моих руках. Я могу добиться того, чтобы вам, несмотря на всю тяжесть выдвинутых против вас обвинений, дали не более четырех-пяти лет тюрьмы. А в порядке обмена вы, быть может, уже через восемь месяцев сможете уехать в Рим».

Как и накануне, в разговоре с полковником Дечи, вновь зашла речь о «примирении между Церковью и государством». Он сообщил мне, кажется, со ссылкой на заметку, появившуюся в «Мадьяр немзет», что уже назначены переговоры между правительством и епископатом и что я бы мог принять участие в этих переговорах. Правда, отметил он, представители епископата не проявляют особого интереса к моей судьбе. Совецание епископов якобы постановило в этом вопросе всецело положиться на справедливость и мудрость приговора, который вынесут мне власти. «В доверительном порядке, — добавил Габор Петер, — я могу вам сообщить, что целый ряд епископов вас ожидают».

Он назвал несколько имен. Ясно, что это был всего лишь прием «психологической обработки». Он пы-

тался пробудить у меня чувство полной покинутости. Я промолчал и в ответ на речи Габора Петера.

Тогда меня отвели в камеру и ко мне опять явился Дечи, который заявил: «Мне пришла в голову замечательная мысль. Подайте заявление о том, что ввиду вашего положения вы просите, чтобы ваше дело было изъято из рук народного суда. Но вы должны сами настойчиво об этом ходатайствовать». Чувство омерзения, которое я испытывал по отношению к этому человеку, несколько притупилось, однако настороженность моя не исчезла. Но, как любой другой пленник, я прежде всего помышлял о том, как вернуть себе свободу. Мне показалось, что предложение его заслуживает ближайшего рассмотрения. Но в то же время я спрашивал себя: «А что скажут другие обвиняемые по моему делу, если мое личное дело будет выделено из общего?» Я сказал ему об этих сомнениях. Дечи ответил: «Послушайте, что вам об этом скажет профессор университета доктор Юстин Бараньяи». Меня сразу же повели к нему. Юстин Бараньяи, которого я знал как монаха, всегда излучавшего доброту и тепло, стоял предо мной исхудалый, измученный, апатичный. Я изложил ему этот план, делая вид, что он исходит от меня. Он ничего не возразил на это, даже одобрил этот план и сказал, что в жесте примирения всегда присутствует начало добра. Другие обвиняемые вряд ли подумают, что я их предаю или клевету на них. Напротив, если освободят меня, то это будет в их общих интересах, ибо если будет снято обвинение с главного подсудимого, это может только облегчить судьбу остальных. Таким образом, мы оба сосредоточили свою мысль на выигрышных сторонах предложенного нам полковником Дечи замысла.

На этом мы расстались. Дечи опять явился ко мне. Он уже успел позаботиться о том, чтобы мое ходатайство без замедления было доставлено министру юстиции.

Показательный процесс

Я уже имел представление о том, что такое судебное при тоталитарном режиме — в частности и на основании собственного опыта. После 1945 года мне, уже в качестве примаса страны, пришлось столкнуться с судьбой многих осужденных и по-человечески проникнуться этими судьбами. Я знал, в какое положение они попадали, какую нужду и какие страдания претерпевали. Вновь и вновь возвышая свой голос в защиту человечности, я внимательно изучал все вновь провозглашавшиеся указы и законы власти. Я мог очень скоро убедиться, что все они вводились в действие исключительно в интересах партии. Это именовалось «социалистической законностью». Теперь к этому прибавился личный опыт, показавший мне, как на улице Андраши добиваются признаний вины и фабрикуют протоколы. То, что меня ожидало, не было для меня неожиданностью. Прошло всего около пяти недель, как я уже смирился со своей судьбой и стал видеть свою задачу в том, чтобы принимать на себя страдания и унижения. В момент ареста я всё это ясно предвидел, но постепенно эту ясность мысли утратил. «Планомерная обработка» меня в конце концов настолько сломала и сбила с толку, что я почти полностью лишился способности быстро ориентироваться в том, что со мною творилось. И тем более я не был уже в состоянии быстро принимать ответные решения.

Политические дела рассматривались не обычными судами, а так называемыми «народными», созданными по советскому образцу. Так и процесс против меня был поручен особому народному суду в Будапеште. Судебная коллегия состояла из одного судьи и четверых заседателей. Судья назначался министром юстиции, заседатели избирались по линии политических партий. Председательствующим на моем суде был Вильмош Ольти, бывший член партии «скрещенных стрел», успевший к тому времени стать членом коммунисти-

ческой партии. Темное прошлое заставляло его с особенным рвением выслуживаться перед товарищами по новой его партии. Он был послушным орудием их, всего лишь. Поскольку в гимназические и студенческие годы он был членом конгрегации святой Девы Марии, этим обстоятельством пользовались, чтобы создать впечатление, будто процесс против кардинала-примаса поручен верующему судье.

Наряду с председательствующим заметную роль предстояло сыграть также Дьюле Алапи, которого незадолго до этого сделали генеральным прокурором. И этот выбор был сделан в связи с тем, что в прошлом Алапи был католиком. Родился он в порядочной, верующей семье, окончил, при поддержке церковных организаций, католическую школу, но затем очень скоро выявил себя как легкомысленный и ненадежный молодой человек. После войны он вступил в коммунистическую партию и быстро и легко пошел в гору. Во время суда надо мною ему было всего около тридцати лет от роду, но даже мой защитник воспевал его во время прений как «восходящую звезду» на небосклоне юриспруденции. Величественно восседал он в качестве прокурора на своем кресле между судьями с одной и полицейскими с другой стороны.

Сцена суда представляла собой следующую картину:

Напротив судьи и заседателей сидели мы — обвиняемые. Справа от нас были предоставлены места защитникам, слева — полицейским во главе с Дечи. За спинами судей разместились стенографы. Рядом с ними, но за стеклянной перегородкой, находились радиотехники, обслуживавшие микрофоны и обеспечивавшие передачу «признаний» журналистам. Очевидно, текст наших «признаний» был заранее размножен. Это доказывается наличием не только расхождений между записями на магнитофонной пленке и отчетами, появившимися в газетах, но даже и противопо-

ложными высказываниями в печати и в магнитофонной записи.

Переодевание

Очень беспокоило устроителей процесса мировое общественное мнение. Поэтому со стороны партии была сделана попытка заранее привлечь общественное мнение Запада на свою сторону, и для этого попытались использовать меня самого.

В один из последних дней моего пребывания на улице Андраши мне неожиданно предложили вновь облачиться в кардинальскую рясу. В таком преобразенном виде меня повели в роскошно обставленную приемную генерала Габора Петера. Там меня ждал итальянский сенатор Оттавио Пасторе. Мне представили его как представителя итальянской печати. Он сказал мне, что приехал из Рима, чтобы убедиться в том, жив ли я еще и нахожусь ли я по-прежнему в Венгрии. Якобы на Западе распространился слух, что меня уже сослали в Сибирь. Мне предложили сделать заявление и опровергнуть эти, хотя и не соответствующие действительности, но в то же время и не просто неверные слухи. Я уклонился от этого и не сделал нужного моим преследователям заявления. В том, что я пока еще не в Сибири, мой посетитель мог убедиться сам. Мне предложили воспользоваться для перевода своего заявления услугами одного из врачей, которые меня ежедневно осматривали. Но и врачу не удалось побудить меня нарушить свое молчание.

Впоследствии мне сказали, что этот сенатор был сотрудником коммунистической газеты «Унита». Он не постеснялся откровенно проявить свое отношение ко мне, поместив 6 февраля 1949 года в этой газете, центральном органе итальянских коммунистов, следующий «Репортаж из Будапешта»:

«Примас Венгрии никакой не герой и признания его объясняются вовсе не тем, что его к ним принуди-

ли, как это лживо утверждают его друзья. Просто, Миндсенти — трусливый человек. Списали его со счетов и американцы... Не хочет иметь ничего общего с Миндсенти и его собственный народ: крестьяне, потому что не желают, чтобы у них отняли переданную им землю, рабочие, потому что не хотят, чтобы их вновь эксплуатировали... У него не остается другого выбора, как только заявить о своей отставке и признать свое поражение».

Сенатор сослался при этом на то, что он побывал у меня и не обнаружил никаких признаков, которые свидетельствовали бы о применении ко мне каких бы то ни было физических или психических методов воздействия. Как бы для того, чтобы особенно поглумиться над истиной, он заявил даже, что он застал меня в прекрасно обставленной комнате, по которой я разгуливал, вычитывая молитвы по Молитвослову.

После встречи с итальянским сенатором меня тотчас же отвели обратно в камеру, сорвали с меня рясу и велели переодеться в черный костюм гражданского покроя. Мне было сказано, что полиция пожелала оказать мне любезность, заказав для меня этот костюм. На самом же деле они просто не считали для себя выгодным, чтобы я перед судом на улице Марко предстал в одеянии священнослужителя.

В окружении большого числа полицейских меня теперь повезли с улицы Андраши на улицу Марко. Все они, кроме Дечи и еще нескольких полицейских, переоделись для этого в штатское. Вероятно, не хотели привлекать внимания к нашему кортежу. Но все же полицейские в форме были с автоматами и сразу образовали вокруг меня кольцо, как только мы спустились с лестницы. Я имел основание подумать: «Зачем всё это, если народ действительно отвернулся от своего примаса, как они это утверждают?»

Этот перевод из одной тюрьмы в другую состоялся 2 февраля, на исходе дня Сретения Господня. Как

только наша колонна автомобилей прибыла на улицу Марко, охрана отвела нас в помещения на первом этаже.

На рассвете 3 февраля меня разбудили стуком в дверь. Мне приказали встать и приготовиться к выступлению в инсценируемой ими пьесе. Появился парикмахер, чтобы побрить меня и придать мне более свежий вид. Очевидно, они опасались, что мой новый, с иголки, черный костюм сам по себе еще не произведет должного впечатления.

Выйдя в коридор я с удивлением заметил, что число «заговорщиков», которые должны были предстать суду вместе со мной, успело возрасти с четырех до семи человек. Трое новых были: Ласло Тот, Бела Ишпанки и Миклош Надь. Ни на одном допросе никем даже не были названы их фамилии, а здесь вот они оказались сразу в «самом центре широко задуманного заговора». Но потом в «Черной книге» можно было прочесть, что их дело не имело никакого отношения к моему. Вероятно, их привели на суд лишь потому, что семеро обвиняемых выглядели более внушительно, чем четверо.

Привели на суд и князя Паля Эштерхази, хотя и он к делу о моем «заговоре» тоже не имел никакого отношения. С тех пор как я стал архиепископом Эстергомским, я ни разу не имел случая обменяться с ним даже словом и ничего не посылал ему по почте. Его арестовали, очевидно, только потому, чтобы в его лице посадить на скамью подсудимых бывшего богатого землевладельца.

Группа же настоящих «заговорщиков» состояла, по сути дела, всего из трех лиц: из кардинала-примаса, его секретаря и одного больного монаха. У этих троих не было ни оружия, ни вооруженных сторонников, ни тайных фондов, ни службы информации, ни курьеров, ни даже простого пароля.

Итак, наша процессия тронулась — нас повели в

зал судебных заседаний. Передо мной шествовал мой палач, но на сей раз без дубинки, в полной парадной форме и с сияющей физиономией. Довольно оглядывался он на своих жертв. За ним шел я, затем полицейские и наконец — остальные подсудимые.

Суд продолжался несколько дней, и ритуал этого торжественного марша повторялся. Правда, иногда вносились изменения в порядок шествия.

Хотя коридор был безлюден, майор громким голосом требовал расчистки пути перед нами. Затем нас ввели в зал и указали наши места на скамье подсудимых. Не оборачиваясь я прошептал профессору Бараньяи: «Circus incipit»*. Полицейские сразу же набросились на меня, указывая, что разговаривать здесь запрещается. Можно только отвечать на вопросы.

Народный суд рассмотрел вопрос об отсрочке суда. Мое «ходатайство» было отклонено. Опрос прервали, меня увели из зала и начали опрашивать другого обвиняемого — профессора университета Юстина Бараньяи. В течение его опроса меня держали под строгой охраной в другом помещении.

Обвинения и «преступления»

Меня обвиняли в измене, в недозволенных махинациях с валютой и в создании заговора. Постараюсь объяснить, каким образом обвинению удалось подсунуть мне совершение не только правонарушений, но и таких преступлений, которые караются пожизненным заключением или смертной казнью.

Статья 7 уголовного кодекса 1946 года, введенная с целью «защиты республики», была сформулирована настолько широко, что всего этого можно было достигнуть и при составлении обвинительного акта, и в ходе судебного разбирательства, без каких-либо нарушений так называемой «социалистической законности».

* Цирк начинается. — Перев.

Смысл и значение этого закона в том ведь и состоит, что судья вовсе не должен стремиться к выяснению объективной стороны дела, а обязан думать лишь о том, чтобы служить интересам партии. И над судами господствует таким образом «правда» партийная. Суд — пособник полиции в борьбе против любой оппозиции, вне зависимости от того, представляет ли она действительную опасность для режима или просто кажется ему помехой. Так и при проведении процесса против меня они преследовали одну-единственную цель: расчистить путь к полному единовластию коммунистов.

Народ прозвал статью «о защите республики» «палаческим законом». Этой статьей с самого начала стали пользоваться при проведении политических судебных процессов. Самый законопроект был принят по требованию советских, и лидер партии Мелких землевладельцев, Ференц Надь, человек без всякого юридического опыта, содействовал тогда принятию этого закона. Я уже в другой части этой книги, касающейся «заговора школьников» и связанных с ним действий полиции, указывал на неправомотность применения такого рода «законов».

Обвинение опиралось на такого рода новые законы и дополнительные статьи к прежним законам, которые подвергались прямо-таки акробатическому истолкованию.

Открытые судебные прения длились три дня. В течение этих трех дней суд «убедился» в нашей виновности и присудил всех нас к тяжким тюремным срокам.

Меня приговорили к пожизненному заключению, а Юстина Бараньяи к 15 годам тюрьмы, признав нас за руководителей организации, помышлявшей свергнуть республиканский строй, то есть — в соответствии с деянием, предусмотренным «палаческим законом».

Андраша Закара за соучастие приговорили к 6 годам тюрьмы. Палю Эштерхази дали 15 лет тюрьмы, признав его виновным в том, что он нашу организацию поддерживал материально.

В последующую эпоху мирного сосуществования события, связанные с показательным процессом надо мной и с вынесенным мне приговором, все же доставили некоторое беспокойство Ракоши и его наследникам. Под воздействием общественного мнения в стране режим Кадара считал себя вынужденным реабилитировать кое-кого из тех, кто стал жертвой политических процессов. Но и здесь руководствовались принципами «социалистической законности». Жертв процесса Миндсенти поэтому не реабилитировали. Им только лишь предоставили возможность ходатайствовать об унижающей их достоинство амнистии. Им даже в некоторых случаях прямо предлагали амнистию.

Сам я всегда обуславливал свое согласие на выезд за границу своей реабилитацией. Но по соглашению, заключенному Ватиканом с венгерскими властями в 1971 году, я вынужден был покинуть свою родину не как реабилитированный, но как осужденный. Лишь на чужбине дошло до меня известие о том, что меня амнистировали. По-видимому, они не посмели вручить мне документ об этом в самой Венгрии. Узнав о своей амнистии за границей, я сразу же написал министру юстиции следующее письмо:

«Через несколько дней после того, как я покинул свое отечество, мне стало известно, что режим выслал мне вдогонку сообщение об амнистии. В течение 15 лет я ни о какой амнистии не просил, таковую не принимал, а потому и ныне я ее отвергаю, — со следующим обоснованием: справедливость, попранную судебным преступлением, может восстановить только лишь реабилитация и ничто иное».

В изгнании

23 июня 1971 года кардинал Кёниг сообщил мне, что меня посетит прелат Йозеф Загон из Рима. Он прибыл 25 июня в 10 часов утра в качестве личного уполномоченного Святейшего Отца в сопровождении монсиньора Джованни Кели. Кели передал мне подарок папы (первый том нового Часослова) и привет от кардинала — государственного секретаря, после чего удалился.

Оставшись наедине со мной, монсиньор Загон указал на озабоченность Святейшего Отца и закончил высказыванием в том смысле, что-де, по мнению папы, было бы целесообразно, если я согласился бы покинуть американское посольство. Он изложил мне причины, побудившие Его Святейшество принять такую точку зрения.

У меня создалось впечатление, что мой отъезд из посольства считает желательным — ввиду изменившейся обстановки и моего преклонного возраста — правительство Соединенных Штатов. Монсиньор Загон тоже сослался на мои недомогания, на возможность моей кончины и на осложнения, которые в таком случае возникнут, рассказал мне, что обо всем этом думает папа, и сказал: «Ввиду этого Святейший Отец желает разрешить этот вопрос так, чтобы жертва вашего высокопреосвященства выступила еще в новом свете, чтобы ваше нравственное значение в глазах мировой общественности еще более возросло, чтобы ничто из ваших заслуг не было забыто и, напротив, — послужило бы примером для Церкви в целом. Для достижения этого папа желает предпринять всё, что в его силах».

Личный уполномоченный Святейшего Отца подчеркнул, что и мои воспоминания можно будет убрать и опубликовать только в том случае, если я их сам доставлю за границу и позабочусь об их издании.

Это позволило бы мне оказать ценную услугу Церкви и народу Венгрии к тысячелетию присоединения Венгрии к католицизму. Мое участие в праздновании этого события в качестве примаса среди венгерских эмигрантов окажет содействие возрождению нравственных начал и религиозной жизни среди венгров за рубежом.

Я же, напротив, объявил, что не считаю себя вправе покидать своих верующих и своей Церкви в их столь тяжких обстоятельствах. Я выразил желание и жизнь свою закончить на родной земле посреди своего верующего народа. Мой отъезд принес бы пользу только режиму, а для Церкви он был бы вреден. Изменение в моем положении коммунисты не преминут использовать для своей пропаганды. Поэтому я предложил, чтобы Святейший Престол потребовал от режима — в качестве компенсации за мое устранение и еще до того, как об этом будет принято окончательное решение, — чтобы Церкви было возвращено всё то, что режим у нее отнял.

Монсиньор Загон заверил меня, что Святейший Престол сам позаботится о том, чтобы коммунисты не могли использовать мой отъезд из страны для своих пропагандистских целей. За восстановление же попранных прав Церкви Ватикан будет терпеливо бороться в ходе переговоров, которые позволяют надеяться на разрядку напряженности.

Я указал, что прежде всего необходимо потребовать роспуска движения священников, «борющихся за мир», и восстановления свободы преподавания Закона Божия. Но папский уполномоченный ответил, что на такой успех надеяться невозможно.

После обеда мы продолжили нашу беседу. Я попросил передать Святейшему Отцу благодарность за его благожелательное отношение к Церкви Венгрии и ко мне лично и попросил сообщить мне условия, на которых мне предлагалось покинуть посольство,

а быть может, и родную страну. Загон свел эти условия к следующим положениям:

1. Сан и положение архиепископа и примаса будут за мной оставлены, но я буду лишен прав и обязанностей, относящихся к управлению Церкви на родине, где вместо меня моей епархией будет управлять апостолический администратор, которого назначит Рим. Я попросил в таком случае разрешить мне поселиться в Пазмании* и сохранить за мной юрисдикционные права над этим домом. Кроме того, я попросил о том, чтобы в Папском ежегоднике и впредь после моего имени помещалось примечание «impeditus»**, как это делалось ежегодно, начиная с 1949 года.

2. Второе условие заключалось в том, что мне воспрещалось делать какие-либо заявления или рассылать окружные послания. Мне предписывалось покинуть страну, «не привлекая внимания» с чьей-либо стороны. Рассчитывая на то, что Святейший Престол сам предоставит мировой общественности правдивую информацию о причинах и обстоятельствах моего выдворения, я это условие принял. Загон предложил мне изложить в форме письма причины и обстоятельства моего отъезда из страны. Ватиканское бюро печати на основании моего письма информирует тогда все крупные агентства мира и этим предотвратит возможность ложной интерпретации этого события.

3. Третье условие заставило меня глубоко задуматься. От меня требовалось согласие на то, чтобы и за границей не делать никаких заявлений, «которые могли бы повредить отношениям между Апостолическим Престолом и венгерским правительством или

* Пазманий, или Пазманеум — подворье Венгерской Церкви в Вене, носящее имя кардинала Петера Пазманя, 1570-1637, иезуита и главного деятеля католической контрреформации в Венгрии. — Перев.

** Лишен возможности исполнять свои обязанности. — Перев.

были бы оскорбительными для венгерского правительства или для народной республики». Решительно и однозначно я заявил, что я не могу признать за венгерским коммунистическим режимом, повинном в гибели венгерской Церкви и венгерского государства, права оценки моих выступлений. Это было занесено в протокол. Я решительно отверг условия подобного рода. Единственно, чего я от режима требую, это — своей полной реабилитации и уничтожения всех последствий своей «юридической смерти». Суждение же о том, вредят ли мои возможные высказывания отношениям между Святейшим Престолом и венгерским режимом — область компетенции одного только Святейшего Престола. Это мое добавочное заявление в некоторых кругах Ватикана было впоследствии расценено как принятие мною третьего условия.

4. Четвертое условие касалось моих мемуаров. Меня хотели обязать сохранить мои воспоминания в тайне и их не публиковать. А рукописи я по завещанию должен был отдать в распоряжение Святейшего Престола, который в подходящее для этого время и позаботился бы об их публикации. Я проявил крайнее недоумение; ведь Загон сам, говоря о выгодах, которые могут возникнуть в случае моего выезда за границу, указывал в частности и на то, что в таком случае будут сохранены и смогут быть изданы мои воспоминания. Просмотрев мои рукописи, он сказал — и это тоже было зафиксировано в протоколе, — что он не видит никаких препятствий к тому, чтобы мои воспоминания «или, по крайней мере, существенные выдержки из них» были бы опубликованы еще при моей жизни. Он добавил, что я могу оставить рукописи при себе и в случае своей кончины могу передать их священнику, пользующемуся как моим доверием, так и доверием Ватикана, и даже обещал обеспечить оплату переписчиков со стороны Святейшего Престола.

Наши переговоры продлились трое суток. За это время я успел изготавить, как мне это было предложено, письмо на имя Святейшего Отца, в котором я в нескольких строках упомянул о своих страданиях и высказался по поводу обвинения меня в том, будто я — «главное препятствие для установления нормальных отношений между Церковью и государством». Я продолжил это свое письмо следующим образом:

«Чтобы устранить этот выдвигаемый против меня упрек, чтобы приобрести возможность лучше осветить правдивые факты и положить конец тяготам, вызываемым моим затянувшимся положением гостя для хозяев дома, я заверяю Ваше Святейшество, что я и теперь, как я это неоднократно делал в прошлом, готов подчинить свою личную судьбу интересам Церкви. В духе этих соображений, добросовестно продумав мои обязанности архипастыря, а также в качестве свидетельства моей бескорыстной любви к Церкви я принял решение покинуть здание американского посольства. Остаток своей жизни я желал бы провести на венгерской земле среди своего возлюбленного народа, в каких бы внешних обстоятельствах мне ни пришлось бы при этом жить. Если же это в силу разжигаемых и направляемых против меня страстей или ввиду особых возникающих причин с точки зрения Церкви, не окажется возможным, то я готов принять на свои плечи и самый тяжкий крест своей жизни: я соглашаюсь покинуть свою родную страну и в изгнании страдать за Церковь и за свой народ. Смирненно полагаю я эту жертву к стопам Вашего Святейшества. Верю, что даже самая большая личная жертва становится ничтожной, если соизмерять ее с делом Божиим и делом Церкви».

Это письмо я переслал Святейшему Отцу через нарочного.

Монсиньор Йозеф Загон, личный уполномоченный Святейшего Отца, составил протокол и попросил

меня его подписать. Я отказался. Особенно неприятным мне представилось заключительное предложение протокола, в котором уполномоченный Его Святейшества сводил результаты наших переговоров к тому, что я могу выехать за границу в качестве свободного человека, не связанного никакими обязательствами, «кроме условий, перечисленных в статьях первой по четвертую».

Загон настаивал, чтобы я принял решение, но я остался при том, что мне необходимо время для обдумывания.

После отъезда Загона я письменно информировал о своем положении президента Никсона и запросил его, нельзя ли мне и далее оставаться в американском посольстве. Ответ его поступил неожиданно быстро. Президент советовал мне подчиниться судьбе. Из этого письма президента, выдержанного в вежливых тонах, мне стало ясно, что отныне я на самом деле — нежелательный гость в посольстве. Передо мной оставалось две возможности: уход из посольства и сдача в руки политической полиции или же выезд на Запад в соответствии с пожеланием папы.

Я хорошо понимал, что в посольстве я превратился в нежеланного гостя не только из-за своей хворости, но и потому, что мое присутствие мешало политике разрядки напряженности. Но верно и то, что вновь обострились мои прежние недомогания. Начиная с 1960 года, стала опять давать о себе знать моя базедова болезнь, сопровождавшаяся высоким кровяным давлением и ослаблением сердечной деятельности. В 1964 году у меня испортился желудок, а через год вновь появился туберкулез легких, некогда побежденный врачами печской клиники. Конечно, сообщения о состоянии моего здоровья поступали и в Белый дом. Вероятно, их оттуда пересылали в Ватикан. Управляющим делами посольства в это время стал О'Шонесси, сам болезненный человек, католик ирландско-

го происхождения. В 1965 году он как-то вечером навестил меня. Ссылаясь на диагноз врачей, он хотел уговорить меня отправиться в одну из столичных больниц для лечения. Спокойным голосом я ответил ему, что моя нога не переступит порога большевистской больницы и что для этого у меня достаточно оснований. Если же он опасается, что я могу стать разным, подвергая опасности здоровье сотрудников посольства, то пусть мне не приносят еду в комнату, а ставят перед моей дверью. Я сам буду брать еду в комнату, а потом выставлять посуду. Так могло бы продолжаться, сказал я управляющему делами, до моего выздоровления, или, если на то будет воля Божья, до моей смерти. Он так и распорядился. Уже в тот же вечер ужин мне был доставлен указанным мною способом и так это продолжалось в течение дальнейших четырех-пяти недель.

Врач посольства, доктор Линский, очень тактично выразил просьбу, чтобы я на время болезни перестал причащать посетителей моих богослужений. Поскольку верующие в ближайшее воскресенье явились в ожидании причастия, мне было разрешено их причастить, предварительно еще раз вымыв руки. Во время литургии я предупредил богомольцев, что из-за своей болезни я впредь не смогу никого причащать. Слава Богу, болезнь через несколько недель прошла. О'Шонесси же в 1966 году тяжело заболел, был направлен в одну из больниц столицы и там через несколько суток, к моему глубочайшему сожалению, скончался.

Мои недомогания с 1960 по 1965 год использовались сторонниками так называемой политики разрядки напряженности в качестве предлога, чтобы все время напоминать обо мне. Их не смутило и то, что я полностью поправился, за что я хочу выразить сердечнейшую признательность внимательным врачам посольства, заботы которых обо мне увенчались успехом. В 1965-1971 годы за мной следили врачи: под-

полковник Форрест У. Питтс, полковник Уильям Данингтон, доктор Джеймс Э. Линский, доктор Ричард Рашмор, подполковник Джеймс Дж. Лейн, подполковник Джей Зейберт, доктор Чарльз Э. Клонтц и доктор Дональд Макинтайр. Сужение сосудов, которым я страдал и в 1971 году, не таило в себе никакой опасности, но ноги мои постоянно опухали. Но и это прошло после того, как я, попав за границу, стал больше двигаться и врачи более интенсивно смогли заняться моим лечением. Но чтобы замаскировать подлинные причины моего удаления из посольства, в 1971 году уже начали усиленно распространять сведения о моем якобы тяжком заболевании, каковое будто бы представляет собой угрозу и для состояния здоровья персонала посольства.

Вскоре после получения мною письма президента Никсона получил я письмо и от Святейшего Отца. Оно было помечено 10 июля 1971 года. Святой Отец писал, что он принял к сведению мое согласие покинуть посольство, а через своего личного уполномоченного, который приехал 14 июля и вновь провел в Будапеште четверо суток, попросил меня прибыть в Рим не позже чем к открытию епископского съезда — в сентябре. Монсиньор Загон провел подготовку моего отъезда. Мы договорились, что мне будет выдан дипломатический паспорт Ватикана и что он сам вместе с монсиньором Кели и папским нунцием в Вене приедет за мной в Будапешт на двух автомобилях и отвезет меня в Вену. Наиболее необходимые и важные вещи мы решили взять с собой. Остальное — в том числе и рукопись моих воспоминаний — должно было быть отправлено дипломатической курьерской почтой в американское посольство в Вене. В конце концов мой отъезд состоялся 28 сентября 1971 года.

В 8 часов 30 минут я спустился по лестнице, по обе стороны которой стояли служащие посольства, в нижний этаж. Вместе с посланником Пьюхэном вышел

я из ворот на площадь Свободы. Я подал ему руку и осенил крестом столицу и всю страну. Вместе с монсиньором Загоном я сел в автомобиль венского нунция монсиньора Росси. Во вторую машину сели врач и монсиньор Кели. В сопровождении двух сопровождающих нас полицейских машин мы молча покинули Будапешт. Проехав Дьёр, мы достигли границы. Около Хедьешхалома я через окна автомобиля был потрясен зрелищем «железного занавеса». В век свободы и демократии видеть границу страны в подобном состоянии на самом деле грустно.

Нунций приказал шоферу ехать прямо в венский аэропорт. В 13 часов мы были на борту рейсового самолета, направлявшегося в Рим. Здесь к нам присоединился архиепископ Казароли. В Риме меня встретил государственный секретарь кардинал Вийо, который отвез меня из аэропорта в Ватикан. Там меня у входа в башню святого Иоанна, где меня по-царски устроили, ожидал папа Павел VI. Он меня обнял, снял свой наперсный крест и возложил его на меня, взял меня под руку и ввел внутрь здания. Вместе со мной он поднялся на лифте наверх и провел меня по всей прекрасной квартире, которую мне приготовили. До меня там останавливался патриарх Афинагор. И далее папа почти ежедневно оказывал мне знаки своего отеческого внимания. Я был глубоко тронут, когда мне разрешили сослужить ему, стоя справа от него во время святой литургии по случаю открытия съезда епископов. В своей речи папа тоже коснулся судеб венгерского католицизма и сказал несколько слов и обо мне лично:

«Среди нас находится наш высокопреосвященный брат Йозеф кардинал Миндсенти, архиепископ Эстергомский, который после многолетнего вынужденного отсутствия на днях прибыл в Рим. Он — наш долгожданный гость и сослужил нам, чтобы символизировать единство, в котором вот уже тысячу лет пре-

бывает Церковь Венгрии с Апостолическим Престолом. Но он символизирует собой и нашу духовную связь с теми собратиями, которым не дано поддерживать со своими братьями по вере и с нами нормальные отношения. Он — воплощение непоколебимой силы, коренящейся в вере и в бескорыстной преданности Церкви. Он доказал нам это сперва своей неутомимой деятельностью и своей бдительной любовью, а затем и своими молитвами и своими долгими страданиями. Восхвалим же Господа и единодушно скажем этому изгнанному почтенному архипастырю свое почтительное и сердечное «Ave»*!»

После литургии папа взял меня за руку и под звуки приветствий архиепископов и епископов вместе со мной вышел из Сикстинской часовни.

Посетил я и свой титулярный храм** Сан Стефано Ротондо, побывал в доме венгерских паломников и в четырех главных соборах. В базилике святого Павла ко мне подошел неизвестный мне священнослужитель, взял мою руку, поцеловал ее, выразил мне благодарность за понесенные мною ради Церкви страдания и наконец сказал: «Я — кардинал Сири». Глубокое впечатление произвели на меня также встречи с кардиналами Тиссераном, Оттавиани, Вышинским, Чиконьяни, Зепером, Райтом, Дёпфнером, Хёффнером, Куком и другими. С благодарностью помянул я папу Пия XII, совершив литургию у его гробницы в соборе святого Петра.

По почте ежедневно поступало много писем и телеграмм со всех концов земного шара. Меня поразило, с каким благоговением многие не католики в своих письмах отзывались о католической Церкви. Особенно умиротворяюще на меня действовали письма моих соотечественников. Они убеждали меня в том, что

* «Ave» — латинское приветствие. — Перев.

** Храм, где кардинал Миндсенти считался настоятелем. — Перев.

венгерский дух, вера и верность Церкви и родине продолжали жить. В изгнании это всегда для меня было утешением, лучом света и надеждой.

Мировая печать также проявляла большой интерес к положению католической Церкви в Венгрии и к моей судьбе. Большая часть газет писала об этом благожелательно и объективно. Но были, конечно, и дисконирующие голоса. 28 сентября даже «Оссерваторе романо»* дал моему отъезду из Венгрии такое толкование, будто этим устранялось препятствие на пути к установлению добрых отношений между Церковью и государством. Для меня это было лишь первым огорчением: я вынужден был убедиться в том, что в кругах Ватикана мое условие, зафиксированное в Будапеште в протоколе, просто-напросто не соблюдалось. Вторым разочарованием было известие, почерпнутое мною из газет, согласно которому Святейший Престол через две недели после моего отъезда из страны освободил от наказания священников — «борцов за мир», — до этого они были лишены права подходить к причастию. Кроме того, мне пришлось убедиться в том, что и к моим делам стали относиться с пренебрежением. Я уже в июне объявил, что после выезда за границу я буду жить в Пазманий и предполагал, что дипломатия Ватикана своевременно сообщит об этом австрийскому правительству. Но, очевидно, это не было сделано. Говорят, что даже сам федеральный канцлер Австрии узнал о моем намерении из газет. Кардиналу-государственному секретарю была передана памятная записка с выражением недовольства.

Я намеревался через три недели переехать туда, где я собирался обосноваться на постоянное жительство, в Пазманий в Вене. Многие меня отговаривали от этого, считая, что в Риме мне будет обеспечена большая безопасность. Но я продолжал настаивать на

* Официоз Ватикана. — Перев.

том, чтобы мне дали осуществить мой первоначальный замысел. Согласно моим настояниям, монсиньор Загон начал готовить мой переезд. Тогда ко мне явился австрийский посол при Святейшем Престоле и попытался уговорить меня отсрочить свой переезд. Несмотря на это, я объявил, что перееду в столицу Австрии 23 октября. В этот день я сослужил Святейшему Отцу. Находящиеся в Риме венгерские священники и монахи участвовали в богослужении и пели венгерские церковные песнопения. После литургии мы вышли в ризницу. Папа велел всем присутствующим выйти, обратился ко мне и сказал по-латыни: «Ты — архиепископ Эстергомский и примас Венгрии и ты им остаешься. Трудись и далее, а в случае затруднений с доверием обращай к нам!» После этого он призвал монсионьора Загона и в моем присутствии сказал ему по-итальянски, помимо прочего, следующее:

«Я дарю Его Высокопреосвященству свою кардинальскую мантию, чтобы она защищала его в прохладной стране от холода и служила бы ему напоминанием о любви и уважении, которые я по отношению к нему испытываю».

Монсиньору Загону было поручено заверить меня от имени Святейшего Отца, что моя судьба не будет принесена в жертву никаким иным целям. «Кардинал навсегда останется архиепископом Эстергомским и примасом Венгрии.»

Поздно вечером я в сопровождении монсиньора Загона выехал из Рима в Вену. В аэропорту присутствовал кардинал Казароли, проводивший меня от имени Ватикана. Еще до полуночи я прибыл в Вену и поселился в Пазмании в квартире ректора.

О религиозной и духовной жизни венгерских изгнанников мне уже в Риме предоставили основные данные. В Вене я постарался систематически собрать сведения об условиях, в которых осуществляется религиозная жизнь и культурная деятельность моих со-

отечественников в разных странах мира. Подробную информацию смог я почерпнуть путем переписки и из бесед с моими посетителями. Я убедился в том, что наряду с радостными фактами и утешительными явлениями наблюдается и много недостатков и отрицательных явлений, связанных с самой сущностью эмиграции. Я убедился в том, что не хватает пастырей-духовников, поскольку большинство наших священников поставило себя в распоряжение чужих церковных институций или епархий. Храмы, в свое время сооруженные на трудовые гроши наших верующих, от нас уходят, как это, например, бывает в Америке, и многочисленные группы венгров существуют без собственных приходов, без собственных школ, без своих монастырей или старческих приютов. Даже и теперь, после 2-го Ватиканского собора, духовное окормление на родном языке верующих во многих местах остается еще проблематичным и встречает трудности.

Недостатки в области духовного окормления венгерских эмигрантов, несомненно, объясняются и тем, что Рим с полным основанием лишил совершенно подчиненный коммунистическому режиму венгерский епископат возможности направлять на обслуживание венгерских католиков-эмигрантов своих священников.

Это особое положение заставило меня в конце 1971 года обратиться к Святейшему Престолу с просьбой дать мне возможность в порядке исключения, в качестве главы венгерской иерархии и примаса Венгрии взять на себя исполнение этих обязанностей венгерской иерархии в целом и создать организацию для духовного окормления венгров за рубежом и для представительства католиков Венгрии во всем мире. Одновременно с этим я просил рукоположить для полутора миллионов венгров зарубежья нескольких викарных епископов.

Моя просьба не была выполнена. Очевидно, Ватикан отдавал себе отчет в том, что мои усилия на-

ладить духовное окормление эмигрантов вызовут раздражение будапештского режима, который не без основания мог опасаться, что такое окормление оживит и общественную, политическую и культурную деятельность эмиграции. Это — главная причина того, что режим и ныне, когда я уже нахожусь в изгнании, старается очернить меня в глазах Ватикана, утверждая, будто я под предлогом духовного окормления на самом деле «политиканствую». Недаром подверглось нападкам мое пред рождественское архипастырское послание 1971 года, в котором я позволил себе упомянуть и о «железном занавесе», окружающем нашу родную страну. В Австрии им удалось оказать воздействие на некоторых чиновников и натравить на меня так называемых прогрессивных католиков. Искусственно раздутая кампания печати кончилась только после того, как федеральный канцлер Австрии в парламенте в ответ на ряд запросов заявил, что я в своем архипастырском послании вовсе не касался вопроса об австрийско-венгерской границе, а писал о железном занавесе.

Предложение, которое дало повод к этим нападкам, гласило: «С верою и упованием на Бога переступили мы порог тюрьмы и временную смертоносную границу». Мой секретариат уже при самом начале нападков разъяснил представителям печати, что «временная смертоносная граница», на которой гибнет столько людей, означает не границу Австрии и Венгрии, а железный занавес, который в глазах любого венгра, хранящего верность своему отечеству, не может не быть временным. В ходе этой кампании печати, которая, как всем должно быть ясно, была лишена всякого реального основания, ни одна официальная церковная инстанция за меня не заступилась. Напротив: из Рима я получил указание, чтобы впредь все мои заявления и даже тексты моих проповедей предварительно посылались на утверждение Святейшего

Престола. После соответствующих переговоров и обмена рядом писем я выразил согласие представлять тексты своих заявлений Святейшему Отцу, но только ему одному и только в тех случаях, когда он от меня этого будет требовать.

Не располагая викарным епископом, я начал сам объезжать венгерское зарубежье. Сначала я побывал у венгерских католиков в Европе, потом направился в Канаду, в Соединенные Штаты Америки и в Южную Африку. Во время своих путешествий я, конечно, всюду встречался с местными иерархами с целью обсуждения с ними вопросов религиозной жизни венгерских верующих и обеспечения их священниками.

Прежде всего, я 20 мая 1972 года направился в Федеративную Республику Германии. В Мюнхене меня принял кардинал Дёпфнер, которому я выразил признательность венгерского народа за широкую и прекрасно налаженную помощь, оказанную немецкими католиками в послевоенные годы бедствующим венграм на родине и в изгнании.

Во время второй поездки в Германию я посетил венгерскую гимназию в Кастле. Прибыл я туда 14 июня 1972 года в связи с торжествами по случаю 15-летия со дня основания этого учебного заведения. Епископу Эйхштеттскому и представителям ряда государственных ведомств я выразил благодарность за их многолетнюю заботу о нашей молодежи.

26 августа 1972 года я полетел в Брюссель и пробыл в Бельгии четверо суток. У меня осталось незабываемое впечатление от радушия и гостеприимства, оказанного мне апостолическим нунцием монсиньором Иджинио Кардинале.

17 сентября 1972 г. мы вместе с епископом Стефаном Ласло, с 50 венгерскими священниками и с полутора тысячами венгерских паломников в Мариацелле отметили тысячелетие кончины святого Стефана. Там я совершил литургию и произнес проповедь.

Во всех своих речах, во всех выступлениях по радио и телевидению я касался также и тяжелого положения венгерской Церкви и судьбы нашего многострадального народа. Я вовсе не был удивлен, когда узнал, что венгерский коммунистический режим ведет за всеми этими торжествами критическое наблюдение, протестует в Ватикане против моих высказываний и требует, чтобы против меня были приняты соответствующие меры. Впоследствии из Венгрии в Ватикан направлялись даже епископы, которые, выполняя указания государственного совета по церковным делам, жаловались на мои «вредные» действия за границей. Они указывали, что в ответ на мою деятельность режим мстит католической Церкви в целом, и требовали, чтобы меня заставили полностью замолчать.

В Ватикане к подобным протестам прислушивались, и 10 октября 1972 года — через тринадцать месяцев после моего изгнания — папский нунций в Вене мне сообщил, что Святейший Престол летом 1971 года дал коммунистическому режиму Венгрии гарантию, что я за границей ничего не буду предпринимать, что могло бы оказаться неудобным венгерскому коммунистическому режиму. На это я ответил, что во время происходивших с 25 по 28 июня 1971 года переговоров между мною и личным представителем Святейшего Отца это столь тяжелое для меня обстоятельство не было упомянуто. Если бы мне тогда стало известно о подобном обещании, я, несомненно, — испугавшись последствий такой гарантии и такого соглашения — попросил бы Святейшего Отца аннулировать все шаги, предпринятые им к тому времени, чтобы добиться моего выезда. Ведь было же общеизвестно, что я желал остаться в кругу своего страждущего народа и там и умереть. Я попросил поэтому нунция довести до сведения компетентных инстанций Ватикана, что на родине у меня царит могильная тишина и меня пугает

мысль, что меня могут принудить к молчанию и в свободном мире.

Это увещевание было мною получено накануне моей поездки в Фатиму. Но несмотря на всё это, Святейший Отец не выразил желания, чтобы я представил ему на просмотр текст моей речи, написанной для произнесения в Фатиме. Вместо этого цензуру произвела лиссабонская нунциатура прямо в типографии, у меня за спиной. Был изъят целый абзац, в котором содержались и такие слова: «На Востоке утверждают, что даже самые боевые противники превратились в смиренных ягнят. Не верьте этому! Дерево познается по его плодам. Быть может, в церквах там и бывает больше народа, чем в тех или иных странах Запада, но это заслуга не тамошнего режима, а христиан, согбенных под тяжестью креста»...

Со всем этим оказалось связанным и дело о моих воспоминаниях.

Летом 1973 года мои мемуары — их венгерский и немецкий тексты — уже были приготовлены для набора. В июле я послал рукопись Святейшему Отцу. 30 августа он сообщил мне, что прочел ее с большим интересом и содроганием. Он поблагодарил меня за присылку рукописи, которая дала ему возможность ознакомиться с моей «ценной и исполненной страданий» биографией. Он отметил, что воспоминания мои на самом деле ценны, увлекательны и убедительны. Читатель благодаря им знакомится с моей судьбой, в нем пробуждаются преклонение и сочувствие и укрепляется вера в то, что такие искушения и страдания Бог посылает не напрасно.

Итак, папа не выразил никаких критических замечаний по тексту и ничего не опротестовал. Правда, он предупредил меня, что венгерский коммунистический режим может ответить на мои мемуары двояко: подогреванием прежней клеветы против меня и жестом в отношении всей Церкви Венгрии.

На это я ответил Святейшему Отцу среди прочего и такими соображениями:

1. К непрерывной клевете со стороны врагов Церкви я привык и смирился также и с мыслью о том, что совместно с ними меня подвергают систематическим нападкам также и так называемые передовые и левые католики. Но ведь мое право — как человека, так и епископа — опровергать такую клевету, если только я нахожусь на свободе и могу это делать. Это не только мое право, но и мой долг. Я своих врагов простил, а в воспоминаниях я привожу только лишь факты. Как в этом Святейший Отец имел возможность убедиться лично, в них отсутствует тон провокации или полемики, который мог бы послужить поводом для какой-то мести против меня лично или против Церкви.

2. История большевизма, которая насчитывает вот уже более полустолетия, убеждает нас в том, что Церковь просто не должна отказываться говорить правду, ожидая, что подобный жест побудит коммунистов прекратить преследование религии, связанное с внутренней природой и идеологией большевизма. Ведь и Русской Православной Церкви не удалось побудить их прекратить гонения — ни попытками безоговорочного сотрудничества, ни в период сосуществования, ни даже полным своим подчинением. Опыт переговоров между Будапештом и Ватиканом доказывает ровно то же самое: хотя ватиканские дипломаты, начиная с 1964 года, и ведут переговоры о священниках-«борцах за мир», о восстановлении свободы преподавания Закона Божия и о беспрепятственном духовном окормлении верующих, движение священников-«борцов за мир» именно за эти последние годы начало набирать силу, а преподавание Закона Божия подавляется уже не только в городах, но и во многих сельских местностях. Наиболее одаренных и твердых в вере священников почти безо всяких ис-

ключений разлучают с церковным народом. Показательные переговоры, используемые коммунистами для пропагандных целей, привели только к тому, что Ватикан согласился на рукоположение новых епископов, подобранных государственным советом по религиозным делам из рядов священников-«борцов за мир», что нанесло большой вред церковной дисциплине и религиозной жизни в Венгрии.

Я довел до сведения Святейшего Отца, что решил осенью того же года заключить договор о выпуске своих воспоминаний с крупным европейским или американским издательством. Я указал при этом, что со всех концов света — как от католиков, так и от не-католиков — получаю множество писем, авторы которых торопят меня выпустить свои воспоминания поскорее. После своего выезда за границу мне удалось при помощи нескольких благотворителей основать «Фонд кардинала Миндсенти». Этот фонд расходует средства, в соответствии со своим уставом, на благотворительные цели. Этому фонду я передал все права на свои мемуары, а совет фонда заключил договор с западноберлинским издательством «Пропилеи».

Из всего, что произошло позже, я могу с большой долей вероятности заключить, что папа не смог противиться натиску будапештского режима, который ссылался на существование данных ему Ватиканом гарантий. 1 ноября мне было предложено уйти со своего архиепископского поста. Папа потребовал от меня этого «с горьким отвращением», указав, что он хорошо понимает, что этим он от меня требует новой жертвы и «прибавляет к прежним страданиям новые». Но он-де вынужден считаться с духовными потребностями вдовствующей фактически вот уже 25 лет Эстергомской епархии, которая в противном случае и впредь останется «без непосредственного и личного надзора архипастыря», что вызовет «большой ущерб для пасомых душ и для венгерской Церкви». Письмо

заканчивалось замечанием, что после своего отречения я смогу «более свободно» действовать в вопросе публикации своих мемуаров.

На это папское письмо я ответил после возвращения из Южной Африки, где я находился с 22 ноября по 5 декабря, после зрелых размышлений, 8 декабря 1973 года. Со всем подобающим почтением я сообщил Святейшему Отцу, что принимая во внимание нынешнее состояние католической Церкви в Венгрии, я отречься от своей архиепископской кафедры не считаю возможным. Я послал папе длинный разбор вредоносной деятельности священников-«борцов за мир», написал о насильственно введенной системе государственного надзора над Церковью и перечислил все отрицательные последствия переговоров, которые Ватикан в течение последних десяти лет вел с коммунистами.

Я опасался того, что добровольным своим отречением я сам облегчу коммунистам «узаконение» существующего катастрофического состояния Церкви Венгрии, если после меня будет возведен в ее возглавители угодный государственному совету по религиозным делам кандидат. Я перечислил также все отрицательные последствия моего отречения для религиозной жизни венгров в изгнании, духовное окормление которых я вынужден, не располагая викарным епископом, осуществлять сам. Наконец, я указал Святейшему Отцу и на ту возможность, что в случае моего устранения нападки могут сосредоточиться уже на нем самом.

И после всего этого я с болью в сердце в день 25-летия со дня своего ареста узнал из письма Святейшего Отца, помеченного 18 декабря 1973 года, что он, выражая мне свою признательность и благодарность, объявил архиепископскую кафедру Эстергома вакантной. 7 января 1974 года я написал ему письмо, в котором выразил свою глубокую скорбь, но

в то же самое время разъяснил, что ответственность за последствия ухода со своего поста я не мог взять на себя не из личных соображений и не из властолюбия. Я не мог согласиться с этим, потому что это еще более осложнит положение венгерской Церкви и повредит религиозной жизни, внеся смущение в души верных своим убеждениям католиков и стойких священнослужителей. Я просил папу отменить свое решение. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого именно в день 25-летия показательного процесса надо мной, 5 февраля 1974 года, было объявлено о моем смещении с Эстергомской архиепископской кафедры. На следующий день я счел себя вынужденным с глубокой скорбью передать через свой секретариат следующее заявление для печати:

«Некоторые информационные агентства сообщили о решении Ватикана в такой форме, что создалось впечатление, будто Йозеф кардинал Миндсенти добровольно ушел на покой. Информационные агентства подчеркивают, что папскому решению предшествовал интенсивный обмен письмами между Ватиканом и находящимся в Вене кардиналом-примасом и архиепископом. Из этого можно было заключить, что решение было принято после того, как между Ватиканом и венгерским архипастырем было достигнуто по этому вопросу единодушие. В интересах истины кардинал Миндсенти уполномочил свой секретариат опубликовать нижеследующее:

Кардинал Миндсенти не отрекся ни от своей архиепископской кафедры, ни от своего сана примаса Венгрии. Решение об этом было принято одним только Святейшим Престолом.

Кардинал обосновывает занятую им в этом вопросе после длительных и добросовестных размышлений позицию следующим образом:

1. Венгрия и католическая Церковь Венгрии не свободны.

2. Епархиями руководит церковное управление, созданное коммунистическим режимом и им контролируемое.

3. Ни один архиепископ, епископ или апостолический администратор не может изменить состава или действий упомянутого церковного управления.

4. Кому занимать церковные посты и сколько времени им на этих постах пребывать — решает режим. Режим решает, кого епископы могут рукополагать в священники, а кого нет.

5. Гарантируемая конституцией свобода совести и вероисповедания на самом деле подавляется. Факультативное преподавание Закона Божия — и то уже в школах городов и крупных сел отменено. В настоящее время продолжается борьба за сохранение факультативного преподавания Закона Божия в школах небольших селений. Вопреки воле родителей, молодежь воспитывают исключительно в духе атеизма. Верующие подвергаются ущемлению своих прав во многих областях повседневной жизни. Только что верующих учителей и учительниц поставили перед выбором — или отречение от веры, или потеря работы по профессии.

До тех пор, пока все эти нестерпимые обстоятельства не будут устранены, назначение новых епископов или хотя бы даже только апостолических администраторов проблем венгерской Церкви решить не сможет. Назначение священников-«борцов за мир» на ключевые церковные посты подрывает доверие верных Церкви священников и верующих к высшему церковному руководству.

Принимая во внимание эти веские соображения, кардинал Миндсенти не мог согласиться на добровольное отречение».

Так я вступил на путь изоляции и тотального изгнания.

Наша анкета

Бруно Калниньш родился в 1899 году, в 1916 году поступил в Петроградский университет, в 1917 году основал и возглавил Союз латышской социал-демократической молодежи, с 1918 по 1934 год — член ЦК ЛСДРП. После



переворота 15 мая 1934 года в течение трех лет пробыл в заключении, в 1937 году выехал в Финляндию, но в 1940 году, после оккупации Латвии советскими войсками, вернулся на родину и полтора месяца возглавлял Управление пропаганды латышских частей в составе Красной армии, преподавал в Рижском университете. После нацистского вторжения пробыл полгода в заключении, в 1944 году вновь арестован и доставлен в концентрационный

лагерь Штутхоф. 1945 год — бегство в Швецию, где Бруно Калниньш становится председателем Заграничного комитета ЛСДРП. Он — единственный оставшийся в живых участник провозглашения независимости Латвии в 1918 году, участник всех конгрессов Социалистического интернационала с 1921 по 1972 год. В настоящее время — председатель Заграничного комитета Латвийской социал-демократической рабочей партии и председатель Социалистического союза Центрально-Восточной Европы.

Специальный корреспондент «Континента» провел с ним нижеследующую беседу.

«БОРЬБА ЗА ДЕМОКРАТИЮ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩЕЙ ЦЕЛЬЮ»

Что представляет собой современная общественность Латвии? Можно ли говорить о наличии оппо-

зиционных сил или хотя бы настроений? Как бы вы их охарактеризовали?

Латвийская общественность настроена оппозиционно, латышский народ крайне недоволен полной зависимостью государственных учреждений Латвии и предприятий хозяйства Латвии, а также латышской коммунистической партии от центральной власти и от Политбюро в Москве. Больше всего латыши возмущены систематическим наплывом русских и других нелатышей в Латвию. Латыши составляют сегодня только 40 процентов населения столицы Латвии — Риги и только 56 процентов населения всей республики. Латышская общественность, в особенности — интеллигенция, реагирует остро отрицательно на все эти явления. Оппозицию в Латвии можно охарактеризовать как пассивное сопротивление систематической денационализационной политике Москвы в Латвии.

Существует ли литературный или общественно-политический Самиздат на латышском языке? Распространяется ли в Латвии русский политический Самиздат и как латыши к нему относятся?

Самиздата в Латвии нет, или — очень мало. Есть отдельные листовки с критикой политики власти. Например, в декабре 1973 года в День конституции студенты в Риге расклеили листовку с требованием реализации конституции и в особенности права на отделение Латвии от СССР.

Переброска в Латвию значительных групп населения из других республик, связанная с различными экономическими мероприятиями центрального советского правительства, не может не вызывать у латышей опасения за свою судьбу как отдельного народа со своей особой культурой. Не приводит ли это к обостренному национализму и к слепой ненависти к русским?

Массовая переброска вызывает очень сильные опасения и крайнее обострение национальных отношений в Латвии, а у некоторой части латышского населения также и ненависть к русским, которых считают завоевателями и угнетателями страны. Это — ответ на шовинизм некоторой части русских чиновников-пришельцев в Латвии. Я считаю, что русские диссиденты должны протестовать против этой политики колонизации Латвии и других балтийских стран.

Известны ли населению Латвии имена Солженицына, Максимова? Какой отклик находит их призыв к христианскому возрождению?

Имена оппозиционных писателей известны в Латвии только по передачам зарубежных радиостанций. Наиболее популярным нужно считать академика Сахарова, в особенности благодаря его выступлениям за права национальных меньшинств. Призыв к христианскому возрождению в Латвии не находит особенного отклика.

В 1905 и в 1917 годах как национально настроенные латыши, так и латышские социалисты, считали возможным решать латвийские проблемы только во взаимодействии с общественными силами общероссийскими. Заметна ли сейчас среди латышей тенденция к сотрудничеству с русскими общественными силами в Москве?

Я сам был участником революции 1917 года в Петрограде, а потом и в Латвии, и я тогда активно работал вместе с русскими меньшевиками. Я и сегодня считаю, что борьба против коммунистической диктатуры в Советском Союзе должна вестись во взаимодействии с русской оппозицией. Но предпосылкой для этой общей борьбы является декларация со стороны русских диссидентов о признании ими национальных требований латышей и других нерусских республик, которые борются за национальную свободу и демокра-

тию, а в Латвии — и за право отделения от Советского Союза.

Есть ли за рубежом латыши, готовые сотрудничать с представителями других народов Восточной Европы, в частности — с русскими, чтобы общими усилиями оказывать содействие освободительным процессам в самой Восточной Европе?

Такие латыши имеются за рубежом. Это в особенности — заявляю — латышские социал-демократы и это неоднократно указывается в их ежемесячном журнале «Бривибя», в переводе — «Свобода». Кроме того, латышские социал-демократы участвуют совместно с представителями всех социал-демократических партий в эмиграции в Социалистическом союзе Восточной Европы, председателем которого я состою.

Возглавляемая вами Латвийская социал-демократическая рабочая партия — одна из самых старых социал-демократических партий Восточной Европы. У нее свои традиции, свои корни среди населения Латвии. Считаете ли вы, что в будущем она может стать одним из положительных факторов освободительной политической борьбы в самой Латвии?

Я твердо убежден в будущем латвийской социал-демократии. Основой нашей партии всегда, долгие годы, был рабочий класс Латвии и часть латышской интеллигенции. Обе эти социальные группы существуют и теперь, будут существовать и в дальнейшем. Поэтому, несомненно, социал-демократы будут активным фактором освободительной борьбы в Латвии. Ведь не напрасно же печать, радио, а также издаваемые в советской Латвии специальные книги направлены против социал-демократии и даже лично против меня.

Могут ли латвийские социал-демократы рассчитывать на понимание и поддержку социалистов и соци-

ал-демократов Запада? Как объяснить, что правительства западных стран, возглавляемые социалистами, проявляют особенное рвение в политике угодничества перед советским правительством?

Мы можем рассчитывать на понимание и симпатии социал-демократов Запада и в особенности Социалистического интернационала, членом которого Латвийская социал-демократическая рабочая партия состоит уже с 1904 года. Мы неоднократно получали поддержку социал-демократов Запада против преследований наших сторонников и товарищей в Латвии. Например, когда 85-летний Ф. Мендерс, бывший председатель нашей партии во время независимости Латвии, был в 1969 году в Риге осужден на 5 лет ссылки, то против этого приговора протестовал Социалистический интернационал и некоторые нам близкие партии, в том числе и шведская социал-демократия. Нашу политическую работу за рубежом и издание нашего ежемесячного журнала «Бривибя» («Свобода»), который издается с 1947 года в Стокгольме, материально поддерживает социал-демократическая партия Швеции. Председатель этой партии У. Пальме об этом открыто заявил в интервью с «Дейли экспресс» в Лондоне. Однако некоторые социал-демократические правительства безусловно проводят политику дружественных отношений с СССР. Это объясняется иллюзиями социал-демократов Запада, что такая политика необходима для сохранения мира. Частично это вызвано политикой США, проявляющих особенное рвение в угодничестве перед советским правительством. Тем не менее, социал-демократические партии Запада в своей внутренней политике борются против коммунистов своей страны и в этой борьбе имеют большие успехи. В своей пропаганде против коммунистов они часто упоминают балтийские страны как пример советского империализма и насилия. В заключение считаю необходимым особо указать на важное решение Бюро Со-

циалистического интернационала, принятое 26 октября этого года в Лондоне, согласно которому Интернационал отказывается от всяких сношений с КПСС и с другими коммунистическими партиями Восточной Европы.

Несмотря на свой возраст, на отсутствие средств, вы тем не менее продолжаете активную политическую деятельность, а главное — поддерживаете живую связь с вашими единомышленниками в самой Латвии. Это значит, что внутренне вы не теряете надежды на успех вашего дела. Какие явления современной духовной, общественной или политической жизни — будь то на Востоке или на Западе — больше всего поддерживают в вас веру в успех?

Я верю в успех демократического движения, в основном, исходя из трех факторов: во-первых, наличия общего антисоветского настроения на моей родине — в Латвии — после тридцати лет коммунистической диктатуры; во-вторых, роста оппозиции как среди русской общественности, так и во многих нерусских республиках, в особенности — в соседних: Литве и Эстонии и на Украине. В-третьих — на основании твердого убеждения, что никакая диктатура не может быть вечной и что советская диктатура в будущем так или иначе рухнет так же, как в 1917 году рухнула царская власть. По-моему, будущее Латвии и всей Прибалтики должно быть демократическим. Борьба за демократию поэтому должна быть общей целью всей советской оппозиции, в том числе и оппозиции латышей.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОДИН ГОД

Этим номером завершается год существования «Континента». Можно, как говорится, подвести первые итоги. Становление нового журнала — дело, разумеется, требующее большего времени и дальнейших поисков, хотя уже первые его номера, при всем их несовершенстве и частных срывах, нашли не только своих критиков, но и своего благодарного читателя.

«...Наконец-то первый номер «Континента» появился и в Москве. Успех небывалый. Номер перепечатаывают, перефотографируют, переписывают от руки...» В. С.: Москва.

«О «Континенте» говорят на улицах и в ка-

фе. Это не только событие в литературе Восточной Европы, но и надежда...» С. Б.: Варшава.

«Будем надеяться, что «Континенту» суждена долгая жизнь. Может быть, это самое значительное событие в духовной жизни наших



стран за последнее время...»

«Сейчас многие писатели здесь прямо связывают свою судьбу с судьбой «Континента»...» Н. В.: Москва.

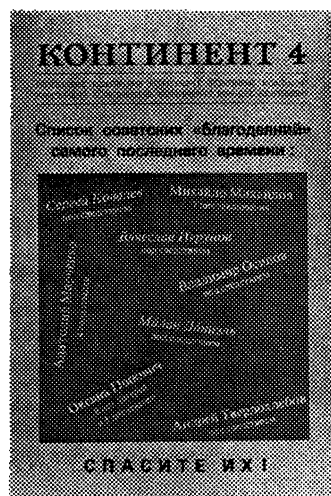
Подобные отзывы не только радуют, но и ко многому обязывают основателей и редакторов журнала. В настоящее время мы завязываем связи с самыми широкими кругами России и Восточной Европы, стремясь объединить представителей различных культурных, общественных и религиозных направлений на платформе духовного сопротивления одному противнику — тоталитаризму.

В любом ответственном начинании неизбежны ошибки, отклонения, неудачи. Это естественные издержки всякого поиска и эксперимента. Поэтому, на наш взгляд, критика



«Континента» не может ограничиваться беспредметной регистрацией недостатков журнала, а должна прежде всего позитивно участвовать в его постепенном становлении, если, разумеется, она — эта критика — вдохновляется добрыми намерениями и благой целью. Страницы нашего журнала в таком случае всегда открыты!

Итак, четыре номера «Континента» позади. Журнал вступает в сле-



дующий год своего существования с ожиданием и надеждой.

В следующем номере

ПРОЗА:

Василий Гроссман • Иржи Гохман

СТИХИ:

Александр Галич

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ:

**Сергей Левицкий • Анатолий Михайловский
Михаил Агурский**

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ:

**Иван Кошеливец • Димитар Бочев
Альгирдас Ландсбергис • Михайло Михайлов**

ЗАПАД — ВОСТОК:

Артур Кёстлер • Карл-Густав Штрём

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ:

**Содман Кульдинов • Кирилл Померанцев
Иоанн Сан-Францисский**

ИСТОКИ:

Николас Бетелл • Йозеф Сморковский

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Книжные новинки

А. Солженицын

БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ

«Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаешь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей, — как велика будет и куда пойдет» (стр. 210).

Этими авторскими словами, пожалуй, лучше всего будет охарактеризовать эти «очерки литературной жизни», а попросту — воспоминания Солженицына. И разбиты эти воспоминания не на части, а по времени написания на первый, к тому моменту исчерпавший свою тему, текст и «дополнения» 1967, 71, 73 и 74 годов; читатель получает таким образом написанный по

свежему следу, еще дышащий жизнью отчет о литературно - политическом пути автора.

Богатый отчет! По-солженицынски ярко обрисован в нем литературный — да и не только литературный — мир нашего последнего десятилетия. Читатель, — а поскольку «Теленок», говоря по-ученому, еще и «ценнейший мемуарный материал», — то и будущий историк найдет в нем немало полезнейших сведений, вскрывающих хитросплетения эпохи; уловит характеристики окружавших Солженицына людей и обстановки; поймет мотивацию их поступков. Читая «Теленка», мы вместе с писателем переносимся в редакцию «Нового мира», на заседания секретариата Союза

советских писателей, на дачу Ростроповича, встречаемся с Твардовским, с Лакшиным (прочтите «не столько достоверный портрет его, сколько этюд о нем», начиная со стр. 252), с Сахаровым, с Лидией Чуковской, с Шафаревичем и, главное, с НИМИ, с теми, с кем бодался теленок-Солженицын, с дубово-недвижными, глыбой навалившимися на Россию, с душегубовыми от Суслова до Воронкова и андроповских стукачей, топтунов и телефончиков.

Нет, в мемуарах своих «теленка» не погрешил примиренчеством! И каждый удар его отнюдь не безрогого лба толкает читателя попробовать и

свои силы, тоже боднуться и тоже ударить. Солженицын рассказал нам историю только своей борьбы и только своего боданья. Но сухая документация 6-го тома собрания сочинений Солженицына (продолженная и приведенная по надобности и в виде приложений к этой книге) оживает в изложении ее главного героя и становится материалом, не только призывающим к борьбе, но ука-зывающим и ее основной тактический принцип: не ремонтировать, не разряжаться и не искать компромиссов, а БОДАТЬ и БОДАТЬ!

Изд-во ИМКА-ПРЕСС,
1975, 629 стр.,
цена 30.50 н. м.

В. Ш т р и к - Ш т р и к ф е л ь д т

ПРОТИВ СТАЛИНА И ГИТЛЕРА

(Генерал Власов и русское освободительное движение)

Автор этой книги балтийский немец Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельдт был личным другом и советником генера-

ла Власова. Посвященные понимали: без него, пожалуй, не было бы никакого власовского движения. До революции офицер рос-

сийской императорской армии, затем «белобандит», сражавшийся против большевиков в Прибалтике, «Штрик», как его коротко называли власовцы, своей мужественной человечностью умел приобрести доверие не только самого Власова, но и тех русских и немцев, которые видели во власовском движении возможность выиграть войну против Сталина, заставив Гитлера отказаться от его самоубийственного отношения к России.

Добиться этого не удалось, и судьба русского освободительного движения, связанного с именем Власова, сложилась еще трагичней судьбы белых армий. Но значит ли это, что попытка была не нужна? Как оценил бы историк Россию XX века, если бы не было в ней людей, всегда и при всех обстоятельствах готовых выступить против большевизма?

Мемуары Штрик-Штрикфельдта не берутся ответить на эти вопро-

сы. Автор просто вспоминает и рассказывает, как и что было, что думали, чувствовали и делали в те годы он сам и его немецкие и русские единомышленники. При крайней бедности полноценных свидетельств его неприятный рассказ весит, однако, больше, чем тонны и тонны пропагандной клеветы, стремящейся выставить любого немецкого офицера как безмозглого и бездушного фашиста, а любого русского антикоммуниста — как предателя и изменника родине.

Оказавшийся тогда в центре событий скромный капитан Штрик-Штрикфельдт знал практически всех немецких военных, так или иначе занятых «русским вопросом» (в том числе и почти всех участников заговора 20 июля) и без исключения всех деятелей власовского движения. В своих воспоминаниях он описывает их живыми людьми, действовавшими в конкретной исторической обстановке, в столкновении

целей, характеров и интересов, идей и стремлений, среди которых не последнее место занимала идея освобождения России от большевизма и стремление послужить ей.

Выход на русском языке книги Штрик-Штрикфельдта, описывающей все главнейшие этапы борьбы за пересмотр восточной политики Гитлера и показывающей, «откуда пошла и стала быть» так называемая «вторая эмиграция», как раз под

юбилейный шабаш, затеянный партией вокруг тридцатилетия окончания войны, как нельзя более своевремен.

Драгоценны и документальные приложения к книге: Манифест КОНР (с его недвусмысленным утверждением гражданских свобод), открытое письмо генерала Власова, сообщение ТАСС о казни и др.

Изд-во «Посев», 1975, 440 стр., цена 28.— н. м.

Ст а н н и к

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

Это сборник стихов, написанных в старой, доброй, легко читающейся классической стихотворной традиции. Это попытка вспомнить, отобрать и таким образом по-новому осмыслить лучшее из всего написанного автором за его некороткий уже путь поэта.

Читатель, не ищущий непременно нового слова и новых открытий в поэ-Стокгольм, 1974.

тической форме, сможет найти в этой нетолстой книжке и интересные, а может быть, и близкие ему мысли и просто и ясно выраженные чувства, просветленные христианским сознанием автора и его восприятием мира и задач человека в мире.

Виктор Р о б с м а н

ПЕРСИДСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Сборник из шести лирических рассказов.

Автор еще до войны бежал вместе с женой через границу из Советского Союза в Иран, прошел персидскую тюрьму и жил в Иране. Об этом и повествуют его рассказы, живые и выразительные зарисовки персидской жизни, жизни древней страны, только-только еще вступающей на путь европеизации.

В предисловии автор пишет, что его «постоянной заботой была нравственная ответственность перед читателем, чтобы личные невзгоды, которые пришлось пережить автору в этой своеобраз-

ной стране, не повлияли на изображение характера ее жизни и людей».

В той же книжке помещено и еще два рассказа из предыдущего (уже разошедшегося) сборника «Царство тьмы»: «Современная история» и «Голодная смерть». Эти рассказы уже никак не связаны с Персией и говорят о России, о том страшном, что принесла в нее советская власть. Они совсем иные, но написаны с тем же талантом и с той же искренностью, с которой, впрочем, только и можно писать рассказы.

Изд-во «Посев», 1975,
152 стр., цена 14,— н. м.

А. С о л ж е н и ц ы н

МИР И НАСИЛИЕ

Этот небольшой сборник с полным основанием назван по занимающей в нем центральное место одноименной статье Сол-

женицына, но содержит также его интервью корреспондентам агентства Ассошиэйтед Пресс и газеты «Монд», письмо в

газету «Афтенпостен», телеинтервью компании «Коламбия Бродкастинг Систем» и речь при получении премии «Золотое клише» Союза итальянских журналистов. Это, конечно, далеко не все высказывания Солженицына, но достаточно ознакомиться со сборником, чтобы создать себе совершенно ясное представление об его взглядах на важнейшие проблемы современного общества.

Читатель найдет здесь и слова Солженицына о том, что «нельзя считать «внутренними делами» события в странах, определяющих мировые судьбы», и его утверждение о неделимости мира, потому что мир «не антивоина, а антинасилия», и достаточно полное изложение его

взгляда на современный кризис как на кризис всего гуманистического наследства европейского Нового времени, и, наконец, призыв к нравственной революции как магистральному пути спасения человечества.

А кроме того, читатель найдет в сборнике и просьбу «считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение нобелевской премии мира», и разъяснения к «Письму вождям Советского Союза», и уточнение взглядов Солженицына на современную демократию и ее возможности. Для стостраничного сборника это немало.

Изд-во «Посев», 1974,
102 стр., цена 8,— н. м.

СОДЕРЖАНИЕ

Ярослав Сейферт — Праге (Венок сонетов)	5
Виктор Некрасов — Записки зеваки	13
Лия Владимирова — Стихи	173
Василий Гроссман — За правое дело	179
Иван Елагин — Стихотворение	217
Иосиф Богораз — «Наседка» (окончание)	219

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Евгений Терновский — Путем истины	263
Абдурахман Авторханов — Закулисная история пакта «Риббентроп — Молотов»	300

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Юлиуш Мерошевский — Российский «польский комплекс» и территория УЛБ	321
От редакции	338
Леопольд Лабедз — Судьба писателей в революционных движениях (окончание)	340

ЗАПАД — ВОСТОК

Николас Бетелл — Последняя тайна	373
---	-----

ИСТОКИ

- † **Кардинал Миндсенти** — Перед лицом новых испытаний (окончание) 393

НАША АНКЕТА

- Бруно Калниньш** — «Борьба за демократию должна быть общей целью» 461

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА 467

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 471

От редакции:

В предыдущем номере нашего журнала, в материале «Пока однажды...», по вине переводчика, в сноске на странице 357 неверно истолкована предполагаемая биография лагерного врача Фустера. Ниже приводим короткую справку о нем, любезно предоставленную нам господином Францем Варкони-Лебером, автором указанного выше материала:

Доктор **ФУСТЕР** — участник гражданской войны в Испании. Затем — студент Московского медицинского института, после окончания которого практиковал в различных медицинских учреждениях Советского Союза. Сразу же после второй мировой войны, т. е. в 1945 году подал заявление на выезд за границу. В результате был арестован и осужден на 25 лет лагерей «за шпионаж». Во время восстания в Кингире все еще отбывал срок. Вскоре затем его реабилитировали, но в связи с нехваткой медперсонала **Фустер** еще некоторое время оставался здесь в качестве вольнонаемного врача. Впоследствии, уже за зоной, заведовал поликлиникой.



Континент

Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском

В журнале принимают участие:

**Раймон Арон, Иосиф Бродский, Александр Галич,
Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Игорь
Голомшток, Милован Джилас, Эжен Ионеско,
Лешек Колаковский, Роберт Конквест, Наум Кор-
жавин, Леопольд Лабедз, Виктор Некрасов, Лю-
дек Пахман, Андрей Сахаров, Андрей Синявский,
Александр Солженицын, Странник, Иозеф Чап-
ский, Зинаида Шаховская, Александр Шмеман,
Карл-Густав Штрём и другие авторы**

На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

Цена номера в розничной продаже - 10 нем. марок
Стоимость подписки на год - 40 нем. марок
Пересылка за счет подписчика

